

Антон Павлович Чехов

ЛУЧШЕЕ ИЗ...

Анна на шее

I

После венчания не было даже легкой закуски; молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал. Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев — поездка на богомолье за двести верст. Многие одобрили это, говоря, что Модест Алексеич уже в чинах и не молод, и шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсем приличной; да и скучно слушать музыку, когда чиновник 52 лет женится на девушке, которой едва минуло 18. Говорили также, что эту поездку в монастырь Модест Алексеич, как человек с правилами, затеял, собственно, для того, чтобы дать понять своей молодой жене, что и в браке он отдает первое место религии и нравственности.

Молодых провожали. Толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала, когда пойдет поезд, чтобы крикнуть ура, и Петр Леонтьич, отец, в цилиндре, в учительском фраке, уже пьяный и уже очень бледный, всё тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще:

— Анюта! Аня! Аня, на одно слово!

Аня наклонялась к нему из окна, и он шептал ей что-то, обдавая ее запахом винного перегара, дул в ухо — ничего нельзя было понять — и крестил ей лицо, грудь, руки; при этом дыхание у него дрожало и на глазах блестели слезы. А братья Ани, Петя и Андрюша, гимназисты, дергали его сзади за фрак и шептали сконфуженно:

— Папочка, будет... Папочка, не надо...

Когда поезд тронулся, Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо.

— Ура-а-а! — кричал он.

Молодые остались одни. Модест Алексеич осмотрелся в купе, разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены, улыбаясь. Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, с длинными бакенами и без усов, и его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов, это свежевыбритое, голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки. Держался он солидно, движения у него были не быстрые, манеры мягкие.

— Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства, — сказал он, улыбаясь. — Пять лет назад, когда Косоротов получил орден святыя Анны второй степени и пришел благодарить, то его сиятельство выразился так: «Значит, у вас теперь три Анны: одна в петлице, две на шее». А надо сказать, что в то время к Косоротову только что вернулась его жена, особа сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. Надеюсь, что когда я получу Анну второй степени, то его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое.

Он улыбался своими маленькими глазками. И она тоже улыбалась, волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее своими полными, влажными губами и что она уже не имеет права отказать ему в этом. Мягкие движения его пухлого тела пугали ее, ей было и страшно, и гадко. Он встал, не спеша снял с шеи орден, снял фрак и жилет и надел халат.

— Вот так, — сказал он, садясь рядом с Аней.

Она вспоминала, как мучительно было венчание, когда казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкви глядели на нее печально: зачем, зачем она, такая милая, хорошая, выходит за этого пожилого, неинтересного господина? Еще утром сегодня она была в восторге, что всё так хорошо устроилось, во время же венчания и теперь в вагоне чувствовала себя виноватой, обманутой и смешной. Вот она вышла за богатого, а денег у нее все-таки не было, венчальное платье шили в долг, и, когда сегодня ее провожали отец и братья, она по их лицам видела, что у них не было ни копейки. Будут ли они сегодня ужинать? А завтра? И ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь без нее голодные и испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери.

«О, как я несчастна! — думала она. — Зачем я так несчастна?»

С неловкостью человека солидного, не привыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексеич трогал ее за талию и похлопывал по плечу, а она думала о деньгах, о матери, об ее смерти. Когда умерла мать, отец, Петр Леонтьич, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил, наступила нужда; у мальчиков не было сапог и калош, отца таскали к мировому, приходил судебный пристав и описывал мебель... Какой стыд! Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок, и, когда хвалили ее

красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слезы и неотвязчивая, беспокойная мысль, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость и что он не перенесет этого и тоже умрет, как мать. Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексеич, не молодой и не красивый, но с деньгами. У него в банке тысяч сто и есть родовое имение, которое он отдает в аренду. Это человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства; ему ничего не стоит, как говорили Ане, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии и даже к попечителю, чтобы Петра Леонтьича не увольняли...

Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Это поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке, а из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра: должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приезжавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места, богач, высокий, полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами навывкате и в странном костюме. На нем была рубаха, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами, и с плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые.

У Ани еще блестели на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро:

— Здравствуйте! Как поживаете?

Она вышла на площадку, под лунный свет, и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке.

— Зачем мы здесь стоим? — спросила она.

— Здесь разъезд, — ответили ей, — ожидают почтового поезда.

Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски, и оттого, что ее собственный голос звучал так прекрасно и что слышалась музыка и луна отражалась в пруде, и оттого, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов, этот известный дон-жуан и баловник, и оттого, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость, и, когда поезд тронулся и знакомые офицеры на прощанье сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылали ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями; и вернулась она в свое купе с таким чувством, как будто на полустанке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что.

Молодые пробыли в монастыре два дня, потом вернулись в город. Жили они на казенной квартире. Когда Модест Алексеич уходил на службу, Аня играла на рояле, или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы, и рассматривала модный журнал. За обедом Модест Алексеич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережет и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность. И, держа нож в кулаке, как меч, он говорил:

— Каждый человек должен иметь свои обязанности!

А Аня слушала его, боялась и не могла есть, и обыкновенно вставала из-за стола голодной. После обеда муж отдыхал и громко храпел, а она уходила к своим. Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода осуждали ее за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нудного, скучного человека; ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их; в ее присутствии они немножко конфузились и не знали, о чем говорить с ней; но всё же любили они ее по-прежнему и еще не привыкли обедать без нее. Она садилась и кушала с ними щи, кашу и картошку, жаренную на бараньем сале, от которого пахло свечкой. Петр Леонтьич дрожащей рукой наливал из графинчика и выпивал быстро, с жадностью, с отвращением, потом выпивал другую рюмку, потом третью... Петя и Андрюша, худенькие, бледные мальчики с большими глазами, брали графинчик и говорили растерянно:

— Не надо, папочка... Довольно, папочка...

И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить, а он вдруг вспыхивал и стучал кулаком по столу.

— Я никому не позволю надзирать за мной! — кричал он. — Мальчишки! Девчонка! Я вас всех выгоню вон!

Но в голосе его слышались слабость, доброта, и никто его не боялся. После обеда обыкновенно он наряжался; бледный, с порезанным от бритвы подбородком, вытягивая тощую шею, он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причесываясь, то закручивая свои черные усы, прыскался духами, завязывал бантом галстук, потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частные уроки. А если был

праздник, то он оставался дома и писал красками или играл на фисгармонии, которая шипела и рычала; он старался выдавить из нее стройные, гармоничные звуки и подпевал, или же сердился на мальчиков:

— Мерзавцы! Негодяи! Испортили инструмент!

По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в казенном доме. Сходились во время карт жены чиновников, некрасивые, безвкусно наряженные, грубые, как кухарки, и в квартире начинались сплетни, такие же некрасивые и безвкусные, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексеич ходил с Аней в театр. В антрактах он не отпускал ее от себя ни на шаг, а ходил с ней под руку по коридорам и по фойе. Раскланявшись с кем-нибудь, он тотчас уже шептал Ане: «Статский советник... принят у его сиятельства...» или: «Со средствами... имеет свой дом...» Когда проходили мимо буфета, Ане очень хотелось чего-нибудь сладкого; она любила шоколад и яблочное пирожное, но денег у нее не было, а спросить у мужа она стеснялась. Он брал грушу, мял ее пальцами и спрашивал нерешительно:

— Сколько стоит?

— Двадцать пять копеек.

— Однако! — говорил он и клал грушу на место; но так как было неловко отойти от буфета, ничего не купивши, то он требовал сельтерской воды и выпивал один всю бутылку, и слезы выступали у него на глазах, и Аня ненавидела его в это время.

Или он, вдруг весь покраснев, говорил ей быстро:

— Поклонись этой старой даме!

— Но я с ней незнакома.

— Всё равно. Это супруга управляющего казенной палатой! Поклонись же, тебе говорю! — ворчал он настойчиво. — Голова у тебя не отвалится.

Аня кланялась, и голова у нее в самом деле не отваливалась, но было мучительно. Она делала всё, что хотел муж, и злилась на себя за то, что он обманул ее, как последнюю дурочку. Выходила она за него только из-за денег, а между тем денег у нее теперь было меньше, чем до замужества. Прежде хоть отец давал двугривенные, а теперь — ни гроша. Брать тайно или просить она не могла, она боялась мужа, трепетала его. Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой, надвигающейся как туча или локомотив, готовый задавить, ей всегда представлялся директор гимназии; другой такую же силой, о которой в семье всегда говорили и которую почему-то боялись, был его сиятельство; и был еще десяток сил помельче, и между ними учителя гимназии с бритыми усами, строгие, неумолимые, и теперь вот, наконец, Модест Алексеич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора. И в воображении Ани все эти силы сливались в одно и в виде одного страшного громадного белого медведя надвигались на слабых и виноватых, таких, как ее отец, и она боялась сказать что-нибудь против, и натянуто улыбалась, и выражала притворное удовольствие, когда ее грубо ласкали и оскверняли объятиями, наводившими на нее ужас.

Только один раз Петр Леонтыч осмелился попросить у него пятьдесят рублей займа, чтобы заплатить какой-то очень неприятный долг, но какое это было страдание!

— Хорошо, я вам дам, — сказал Модест Алексеич, подумав, — но предупреждаю, что больше уже не буду помогать вам, пока вы не бросите пить. Для человека, состоящего на государственной службе, постыдна такая слабость. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта, что многих способных людей погубила эта страсть, между тем как при воздержании они, быть может, могли бы со временем сделаться высокопоставленными людьми.

И потянулись длинные периоды: «по мере того»... «исходя из того положения»... «ввиду только что сказанного», а бедный Петр Леонтыч страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить.

И мальчики, приходившие к Ане в гости, обыкновенно в рваных сапогах и в поношенных брюках, тоже должны были выслушивать наставления.

— Каждый человек должен иметь свои обязанности! — говорил им Модест Алексеич.

А денег не давал. Но зато он дарил Ане кольца, браслеты и броши, говоря, что эти вещи хорошо иметь про черный день. И часто от отпирал ее комод и делал ревизию: все ли вещи целы.

II

Наступила между тем зима. Еще задолго до Рождества в местной газете было объявлено, что 29-го декабря в дворянском собрании «имеет быть» обычный зимний бал. Каждый вечер после карт Модест Алексеич, взволнованный, шептался с чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потом долго ходил из угла в угол, о чем-то думая. Наконец, как-то поздно вечером, он остановился перед Аней и сказал:

— Ты должна сшить себе бальное платье. Понимаешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марьей Григорьевной и с Натальей Кузьминишной.

И дал ей сто рублей. Она взяла; но, заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку (до замужества она пять лет прослужила в гувернантках). Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать напрокат *bijoux*¹ и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться.

Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеич вошел к ней без сюртука, чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и блеском ее свежего, воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакены и сказал:

— Вот ты у меня какая... вот ты какая! Анюта! — продолжал он, вдруг впадая в торжественный тон. — Я тебя осчастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства! Ради бога! Через нее я могу получить старшего докладчика!

Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передняя с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра; пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидела в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая, самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и неволью походкою и манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа несколько не унижает ее, а, наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр и начались танцы. После казенной квартиры, охваченная впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала: «Ах, как хорошо!» и сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляньях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельство, Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах — она познакомилась с ним на Старо-Киевской улице, когда была гимназисткой, а теперь не помнила его фамилии — точно из-под земли вырос и пригласил на вальс, и она отлетела от мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке, в сильную бурю, а муж остался далеко на берегу... Она танцевала страстно, с увлечением и вальс, и польку, и кадрили, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе и быть не могло, она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец, Петр Леонтьич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым.

— Ты очаровательна сегодня, — говорил он, глядя на нее с восторгом, — и никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж... Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но... — он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал: — Я сегодня получил с урока и могу отдать долг твоему мужу.

Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченная кем-то, унеслась далеко и мельком, через плечо своего кавалера, видела, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале.

«Как он мил, когда трезв!» — думала она.

Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером; он важно и тяжело, словно туша в мундире, ходил, поводил плечами и грудью, притоптывал ногами еле-еле — ему страшно не хотелось танцевать, а она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей; глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился всё равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король.

— Bravo, bravo!.. — говорили в публике.

Но мало-помалу и громадного офицера прорвало; он оживился, заволновался и, уже подавшись очарованию, вошел в азарт и двигался легко, молодо, а она только поводила плечами и глядела лукаво, точно она уже была королева, а он раб, и в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как публика вдруг расступилась и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки... Это шел к ней его сиятельство, во фраке с двумя звездами. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался,

¹ драгоценности (франц.)

и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин.

— Очень рад, очень рад... — начал он. — А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. Я к вам с поручением от жены, — продолжал он, подавая ей руку, — Вы должны помочь нам... М-да... Нужно назначить вам премию за красоту... как в Америке... М-да... Американцы... Моя жена ждет вас с нетерпением.

Он привел ее в избушку, к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень.

— Помогите нам, — сказала она в нос, нараспев. — Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?

Она ушла, и Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чаю Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить три чашки. Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз с Ани, он выпил бокал шампанского и заплатил сто рублей, потом выпил чаю и дал еще сто — и всё это молча, страдая астмой... Аня зазывала покупателей и брала с них деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным; никого она уже не боялась в только жалела, что нет матери, которая порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехам.

Петр Леонтьич, уже бледный, но еще крепко держась на ногах, подошел к избушке и попросил рюмку коньяку. Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь неподобающее (ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец), но он выпил, выбросил из своей пачечки десять рублей и важно отошел, не сказав ни слова. Немного погодя она видела, как он шел в паре в grand rond² и в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал, к великому конфузу своей дамы, и Аня вспомнила, как года три назад на балу он так же вот пошатывался и выкрикивал — и кончилось тем, что околоточный увез его домой спать, а на другой день директор грозил уволить со службы. Как некстати было это воспоминание!

Когда в избушках потухли самовары и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повел Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужинало человек двадцать, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост: «В этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешевых столовых, служивших предметом сегодняшнего базара». Бригадный генерал предложил выпить «за силу, перед которой пасует даже артиллерия», и все потянулись чокаться с дамами. Было очень, очень весело!

Когда Аню провожали домой, то уже светало и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула...

Во втором часу дня ее разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за участие в благотворительном базаре. Он, глядя на нее слащаво и жуя, поцеловал ей ручку и попросил позволения бывать еще и уехал, а она стояла среди гостиной, изумленная, очарованная, не веря, что перемена в ее жизни, удивительная перемена, произошла так скоро; и в это самое время вошел ее муж, Модест Алексеич... И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, холопски-почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных; и с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово:

— Подите прочь, болван!

После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеича и тратила его деньги, как свои; и она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записки: «выдать подателю сего 200 р.» или: «немедленно уплатить 100 р.»

На Пасхе Модест Алексеич получил Анну второй степени. Когда он пришел благодарить, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло.

— Значит, у вас теперь три Анны, — сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями, — одна в петлице, две на шее.

Модест Алексеич приложил два пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал:

² большой круг (франц. .)

— Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Осмелюсь просить ваше сиятельство в восприемники.

Он намекал на Владимира IV степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, удачном по находчивости и смелости, и хотел сказать еще что-нибудь такое же удачное, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой...

А Аня всё каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала, и всё реже и реже бывала у своих. Они обедали уже одни. Петр Леонтьич запивал сильнее прежнего, денег не было, и фисгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и всё следили за ним, чтобы он не упал; и когда во время катанья на Старо-Киевской им встречалась Аня на паре с пристяжной на отлете и с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще:

— Не надо, папочка... Будет, папочка...

Ванька

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он. — И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от господ бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65-ти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, шурит глаза на ярко-красные окна деревянной церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:

— Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посребренные инеем, сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потеряли снегом...

Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмеваются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребяенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька pokrивил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, — продолжал он, — богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али

заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пускают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал некоторые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто каждое... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченный орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед кричал, и мороз кричал, а глядя на них, и Ванька кричал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может чтоб не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадрили. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А наемдни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропавшая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумавав немного, он умокнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарьчу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

Дама с собачкой

I

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Берне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по несколько раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпирцем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.

«Если она здесь без мужа и без знакомых, — соображал Гуров, — то было бы не лишнее познакомиться с ней».

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая.

Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

— Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно.

И вот однажды, под вечер, он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь... В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели; но когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.

Он ласково поманил к себе шпича и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпич заворчал. Гуров опять погрозил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.

— Он не кусается, — сказала она и покраснела.

— Можно дать ему кость? — И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: — Вы давно изволили приехать в Ялту?

— Дней пять.

— А я уже дотягиваю здесь вторую неделю. Помолчали немного.

— Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! — сказала она, не глядя на него.

— Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре — и ему не скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом — и начался шуточный, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома... А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж — в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, все равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым, — должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки», — подумал он и стал засыпать.

II

Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов.

По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блеснули. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, но сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

— Погода к вечеру стала получше, — сказал он. — Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

— Пойдемте к вам... — проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: «Каких только не бывает в жизни встреч!» От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких, — как, например, его жена, — которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькнуло на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.

Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению, — так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

— Нехорошо, — сказала она. — Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее плохо на душе.

— Отчего бы я мог перестать уважать тебя? — спросил Гуров. — Ты сама не знаешь, что говоришь.

— Пусть бог меня простит! — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. — Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же, — говорила я себе, — другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда... И здесь все ходила, как в угаре, как безумная... и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

— Я не понимаю, — сказал он тихо, — что же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас... — говорила она. — Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

— Полно, полно... — бормотал он.

Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу

успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.

Нашли извозчика и поехали в Ореанду.

— Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон Дидериц, — сказал Гуров. — Твой муж немец?

— Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный ввиду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек — должно быть, сторож, — посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

— Роса на траве, — сказала Анна Сергеевна после молчания.

— Да. Пора домой.

Они вернулись в город.

Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала всё одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, нисколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.

Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.

— Это хорошо, что я уезжаю, — говорила она Гурову. — Это сама судьба.

Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила:

— Дайте я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало.

— Я буду о вас думать... вспоминать, — говорила она. — Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытие, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание... он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее...

Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный.

«Пора и мне на север, — думал Гуров, уходя с платформы. — Пора!»

III

Дома в Москве уже все было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в Докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сквородке...

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате, и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкапа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее...

И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома — не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

— Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата.

Однажды ночью, выходя из Докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

— Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

— Дмитрий Дмитрич!

— Что?

— А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унижительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры всё об одном. Ненужные дела и разговоры всё об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куца, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!

Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека — и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной улице, в собственном доме, — это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц.

Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскивал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый,

длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь», — думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный и муж, вероятно, дома. Да и все равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу, и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояли, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилося сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.

Он ходил, и все больше и больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал.

«Как все это глупо и беспокояно, — думал он, проснувшись и глядя на темные окна: был уже вечер. — Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным, одеялом, и дразнил себя с досадой:

«Вот тебе и дама с собачкой... Вот тебе и приключение... Вот и сиди тут».

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша». Он вспомнил об этом и поехал в театр.

«Очень возможно, что она бывает на первых представлениях», — думал он.

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад; и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.

Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой, и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

— Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он — за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и всё со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: «О господи! И к чему эти люди, этот оркестр...»

И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!

На узкой, мрачной лестнице, где было написано «ход в амфитеатр», она остановилась.

— Как вы меня испугали! — сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная. — О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

— Но поймите, Анна, поймите... — проговорил он вполголоса, торопясь. — Умоляю вас, поймите...

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты.

— Я так страдаю! — продолжала она, не слушая его. — Я все время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было все равно, он привлек к

себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

— Что вы делаете, что вы делаете! — говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. — Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас... Заклинаю вас всем святым, умоляю... Сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.

— Вы должны уехать... — продолжала Анна Сергеевна шепотом. — Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.

IV

И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни, — и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом.

Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

— Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, — говорил Гуров дочери. — Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.

— Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая — протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, все же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилей, — все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.

— Ну, как живешь там? — спросил он. — Что нового?

— Погоди, сейчас скажу... Не могу.

Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам.

«Ну, пускай поплачет, а я пока посижу», — подумал он и сел в кресло.

Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю; и потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну... Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

— Ну, перестань! — сказал он.

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немислимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и

потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходил, расставался, но ни разу не любил; было все, что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему — первый раз в жизни.

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.

Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...

— Перестань, моя хорошая, — говорил он, — поплакала — и будет... Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избавиться себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видаться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?

— Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову. — Как?

И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.

1899

Дом с мезонином (Рассказ художника)

I

Это было 6–7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и всё жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.

Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал всё, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь.

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоей. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.

А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая — ей было 17–18 лет, не больше — тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с

таким чувством, как будто видел хороший сон.

Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых норах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.

— Вы совсем забыли нас, Петр Петрович, — сказала она Белокурову, подавая ему руку. — Приезжайте, и если monsieur N. (она назвала мою фамилию) захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожелает к нам, то мама и я будем очень рады.

Я поклонился.

Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи и звали ее Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет.

— Интересная семья, — сказал Белокуров. — Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.

Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании.

— Не хорошо, Петр Петрович, — говорила она укоризненно. — Не хорошо. Стыдно.

— Правда, Лида, правда, — соглашалась мать. — Не хорошо.

— Весь наш уезд находится в руках Балагина, — продолжала Лида, обращаясь ко мне. — Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович!

Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла так мисс, свою гувернантку. Всё время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя... Это крестный папа», и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.

Мы играли в крокет и lawn-tennis, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий и прислуге говорили вы, и всё мне казалось молодым и чистым, благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и всё дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко — быть может оттого, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого.

Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.

— Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой, — сказал Белокуров и вздохнул. — Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей, ах как отстал! А всё дела, дела! Дела!

Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал: какой это тяжелый и ленивый малый! Он, когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул «э-э-э-э», и работал так же, как говорил, — медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане.

— Тяжелее всего, — бормотал он, идя рядом со мной, — тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не

встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия!

II

Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы; меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я всё думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом, всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо:

— Это для вас не интересно.

Я был ей не симпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка бурятка, в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади; я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и, пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин.

А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось, например, о том, что в людской загорелась сажа, или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и, когда она прыгала, чтобы достать вишню или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением.

В одно из воскресений, в конце июля, я пришел к Волчаниновым утром, часов в девять. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой, и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай.

Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето.

Пришла Женя с корзиной; у нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо.

— Вчера у нас в деревне произошло чудо, — сказала она. — Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала и прошло.

— Это не важно, — сказал я. — Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо? А сама жизнь? Что не понятно, то и есть чудо.

— А вам не страшно то, что не понятно?

— Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится.

Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком, и она говорила со мной о боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допуская, что я

и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «да, люди бессмертны», «да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств.

Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала:

— Наша Лида замечательный человек. Не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите, — Женя дотронулась до моего рукава пальцем, — скажите, почему вы с ней всё спорите? Почему вы раздражены?

— Потому что она неправа.

Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах.

— Как это непонятно! — проговорила она.

В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трех больных, потом с деловым, озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкаф, то другой, уходила в мезонин; ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю, и весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Всё небо заволочло облаками, и стал накрапывать редкий, мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером.

— О, мама, — сказала Женя, целуя у нее руку, — тебе вредно спать днем.

Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «ау, Женя!» или: «мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились и обе одинаково верили, и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением, и с такою же болтливостью и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны.

Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном; она жила своею особенною жизнью и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который всё сидит у себя в каюте.

— Наша Лида замечательный человек, — говорила часто мать. — Не правда ли?

И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде.

— Она замечательный человек, — сказала мать и прибавила вполголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь: — Таких днем с огнем поискать, хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки — всё это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже двадцать четвертый год, пора о себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет... Замуж нужно.

Женя, бледная от чтения, с помятою прической, приподняла голову и сказала как бы про себя, глядя на мать:

— Мамочка, всё зависит от воли божией!

И опять погрузилась в чтение.

Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и lawn-tennis, потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчаниновых, я уносил впечатление длинного-длинного, праздного дня, с грустным сознанием, что всё кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно и что вся эта милая семья близка мне; и в первый раз за всё лето мне захотелось писать.

— Скажите, отчего вы живете так скучно, так не колоритно? — спросил я у Белокурова, идя с ним домой. — Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело, я всегда беден, я бродяга, но вы-то, вы, здоровый, нормальный человек, помещик, барин, — отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?

— Вы забываете, что я люблю другую женщину, — ответил Белокуров.

Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду, в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года три назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому, навсегда. Она была старше его лет на десять и управляла им строго, так что, отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры; и она переставала.

Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье, а я стал ходить по зале,

испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчаниновых.

— Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как она, больницами и школами, — сказал я. — О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!

Белокуров длинно, растягивая «э-э-э-э...», заговорил о болезни века — пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет.

— Дело не в пессимизме и не в оптимизме, — сказал я раздраженно, — а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума.

Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.

III

— В Малозёмове гостит князь, тебе кланяется, — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. — Рассказывал много интересного... Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малозёмове, но говорит: мало надежды. — И обратясь ко мне, она сказала: — Извините, я всё забываю, что для вас это не может быть интересно.

Я почувствовал раздражение.

— Почему же не интересно? — спросил я и пожал плечами. — Вам не угодно знать мое мнение, но уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует.

— Да?

— Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малозёмове вовсе не нужен.

Мое раздражение передалось и ей; она посмотрела на меня, прищурился глаза, и спросила:

— Что же нужно? Пейзажи?

— И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно.

Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты; через минуту она сказала тихо, очевидно, сдерживая себя:

— На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет.

— Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас, — ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. — По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья — вот вам мое убеждение.

Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль:

— Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобию; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину.

— Я спорить с вами не стану, — сказала Лида, опуская газету. — Я уже это слышала. Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы — правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.

— Правда, Лида, правда, — сказала мать.

В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: правда, Лида, правда.

— Мужичья грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, — сказал я. — Вы не дадите ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете

лишь новые потребности, новый повод к труду.

— Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь! — сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.

— Нужно освободить людей от тяжкого физического труда, — сказал я. — Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности — в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусства, а не эти пустяки.

— Освободить от труда! — усмехнулась Лида. — Разве это возможно?

— Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они ни боялись голода, холода и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов, — сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починают дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и — я уверен в этом — правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти, и даже от самой смерти.

— Вы, однако, себе противоречите, — сказала Лида. — Вы говорите — наука, наука, а сами отрицаете грамотность.

— Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает, — такая грамотность держится у нас со времен Рюрика, гоголевский Петрушка давно уже читает, между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты.

— Вы и медицину отрицаете.

— Да. Она была бы нужна только для изучения болезней как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину — физический труд — а тогда не будет болезней. Не признаю я науки, которая лечит, — продолжал я возбужденно. — Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему, — они ищут правды и смысла жизни, ищут бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, преходящих нужд... У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и всё клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и потеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать, и не буду... Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!

— Мисюська, выйди, — сказала Лида сестре, очевидно находя мои слова вредными для такой молодой девушки.

Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла.

— Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие, — сказала Лида. — Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.

— Правда, Лида, правда, — согласилась мать.

— Вы угрожаете, что не станете работать, — продолжала Лида. — Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить, мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей в свете. — И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном: — Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши.

Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и, чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой.

IV

На дворе было тихо; деревня по ту сторону пруда уже спала, не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить.

— В деревне все спят, — сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные, печальные глаза. — И кабатчик и конокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим.

Была грустная августовская ночь, — грустная, потому, что уже пахло осенью; покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее.

— Мне кажется, вы правы, — сказала она, дрожа от ночной сырости. — Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы всё.

— Конечно. Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет — человечество вырождается и от гения не останется и следа.

Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку.

— Спокойной ночи, — проговорила она, дрожа; плечи ее были покрыты только одною рубашечкой, и она сжалась от холода. — Приходите завтра.

Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми; и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды.

— Побудьте со мной еще минуту, — сказал я. — Прошу вас.

Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги. А ум? Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее воззрений, быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этою природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным.

— Оставайтесь еще минуту, — попросил я. — Умоляю вас.

Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи; она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки.

— До завтра! — прошептала она и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. — Мы не имеем тайн друг от друга, я должна сейчас рассказать всё маме и сестре... Это так страшно! Мама ничего, мама любит вас, но Лида!

Она побежала к воротам.

— Прощайте! — крикнула она.

И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила, милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал всё. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для lawn-tennis, в темноте под старым вязом, и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет, потом покойный зеленый — это лампы накрыли абажуром. Задвигались тени... Я был полон нежности, тишины и довольства собою, довольства, что сумел увлечься и полюбить, и в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и всё ждал, не выйдет ли Женя, прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят.

Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки; георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой.

Когда на другой день после обеда я пришел к Волчаниновым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесется ее голос из комнат; потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды.

— Вороне где-то... бог... — говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя. — Бог послал кусочек сыру... Вороне... где-то... Кто там? — окликнула она вдруг, услышав мои шаги.

— Это я.

— А! Простите, я не могу сейчас выйти к вам, я занимаюсь с Дашей.

— Екатерина Павловна в саду?

— Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете, в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу... — добавила она, помолчав. — Вороне где-то... бо-ог послал ку-усочек сыру... Написала?

Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось:

— Кусочек сыру... Вороне где-то бог послал кусочек сыру...

И я ушел из усадьбы тою же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке: сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее... Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала всё сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами, — прочел я. — Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастья, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем!»

Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь... На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург.

Больше я уже не видел Волчаниновых. Как-то недавно, едуци в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке и, когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашиими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любви Ивановны. Про Волчаниновых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей; мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах «прокатили» Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где.

Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того, ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся...

Мисюсь, где ты?

Драма на охоте

Истинное происшествие

В один из апрельских полудней 1880 года в мой кабинет вошел сторож Андрей и таинственно доложил мне, что в редакцию явился какой-то господин и убедительно просит свидания с редактором.

— Должно быть, чиновник-с, — добавил Андрей, — с кокардой...

— Попроси его прийти в другое время, — сказал я. — Сегодня я занят. Скажи, что редактор принимает только по субботам.

— Он и третьего дня приходил, вас спрашивал. Говорит, что дело большое. Просит и чуть не плачет. В субботу, говорит, ему несвободно... Прикажете принять?

Я вздохнул, положил перо и принялся ждать господина с кокардой. Начинающие писатели и вообще люди, не посвященные в редакционные тайны, при слове «редакция» в священный трепет, заставляют ждать себя немалое время. Они, после редакторского «проси», долго кашляют, долго сморкаются, медленно отворяют дверь, еще медленнее входят и этим отнимают немало времени. Господин же с кокардой не заставил ждать себя. Не успела за Андреем затвориться дверь, как я увидел в своем кабинете высокого широкоплечего мужчину, державшего в одной руке бумажный сверток, а в другой — фуражку с кокардой.

Человек, так добивавшийся свидания со мной, играет в моей повести очень видную роль, Необходимо

описать его наружность.

Он, как я уже сказал, высок, широкоплеч и плотен, как хорошая рабочая лошадь. Всё его тело дышит здоровьем и силой. Лицо розовое, руки велики, грудь широкая, мускулистая, волосы густы, как у здорового мальчика. Ему под сорок. Одет он со вкусом и по последней моде в новенький, недавно сшитый триковый костюм. На груди большая золотая цепь с брелоками, на мизинце мелькает крошечными яркими звездочками бриллиантовый перстень. Но, что главное всего и что так немаловажно для всякого мало-мальски порядочного героя романа или повести, — он чрезвычайно красив. Я не женщина и не художник. Мало я смыслю в мужской красоте, но господин с кокардой своею наружностью произвел на меня впечатление. Его большое мускулистое лицо осталось навсегда в моей памяти. На этом лице вы увидите настоящий греческий нос с горбинкой, тонкие губы и хорошие голубые глаза, в которых светятся доброта и еще что-то, чему трудно подобрать подходящее название. Это «что-то» можно подметить в глазах маленьких животных, когда они тоскуют или когда им больно. Что-то умоляющее, детское, безропотно терпящее... У хитрых и очень умных людей не бывает таких глаз.

От всего лица так и веет простотой, широкой, простецкой натурой, правдой... Если не ложь, что лицо есть зеркало души, то в первый день свидания с господином с кокардой я мог бы дать честное слово, что он не умеет лгать. Я мог бы даже держать пари.

Проиграл бы я пари или нет — читатель увидит далее.

Каштановые волосы и борода густы и мягки, как шёлк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, «шёлковой» души... Преступники и злые, упрямые характеры имеют, в большинстве случаев, жесткие волосы. Правда это или нет — читатель опять-таки увидит далее... Ни выражение лица, ни борода — ничто так не мягко и не нежно в господине с кокардой, как движения его большого, тяжелого тела. В этих движениях сквозят воспитанность, легкость, грация и даже — простите за выражение — некоторая женственность. Не много нужно усилий моему герою, чтобы согнуть подкову или сплющить в кулаке коробку из-под сардинок, а между тем ни одно его движение не выдает в нем физически сильного. За дверную ручку или за шляпу он берется, как за бабочку: нежно, осторожно, слегка касаясь пальцами. Шаги его бесшумны, рукопожатия слабы. Глядя на него, забываешь, что он могуч, как Голиаф, что одной рукой может поднять он то, чего не поднять пяти редакционным Андреем. Глядя на его легкие движения, не верится, что он силен и тяжел. Спенсер мог бы назвать его образцом грации.

Войдя ко мне в кабинет, он сконфузился. Его нежную, чуткую натуру, вероятно, шокировал мой нахмуренный, недовольный вид.

— Извините, ради бога! — начал он мягким, сочным баритоном. — Я врываюсь к вам не в урочное время и заставляю вас делать для меня исключение. Вы так заняты! Но видите ли, в чем дело, г. редактор: я завтра уезжаю в Одессу по одному очень важному делу... Имей я возможность отложить эту поездку до субботы, то, верьте, я не просил бы вас делать для меня исключение. Я преклоняюсь перед правилами, потому что люблю порядок...

«Как, однако, он много говорит!» — подумал я, протягивая руку к перу и тем давая знать, что мне некогда. (Уж больно надоели мне тогда посетители!)

— Я отниму у вас одну только минуту! — продолжал мой герой извиняющимся голосом. — Но прежде всего позвольте представиться... Кандидат прав Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь... К пишущим людям не имею чести принадлежать, но, тем не менее, явился к вам с чисто писательскими целями. Перед вами стоит желающий попасть в начинающие, несмотря на свои под сорок. Но лучше поздно, чем никогда.

— Очень рад... Чем могу быть полезен?

Желающий попасть в начинающие сел и продолжал, глядя на пол своими умоляющими глазами:

— Я притащил к вам маленькую повесть, которую мне хотелось бы напечатать в вашей газете. Я вам откровенно скажу, г. редактор: написал я свою повесть не для авторской славы и не для звуков сладких... Для этих хороших вещей я уже постарел. Вступаю же на путь авторский просто из меркантильных побуждений... Заработать хочется... Я теперь решительно никаких не имею занятий. Был, знаете ли, судебным следователем в С — м уезде, прослужил пять с лишком лет, но ни капитала не нажил, ни невинности не сохранил...

Камышев вскинул на меня своими добрыми глазами и тихо засмеялся.

— Надоедная служба... Служил-служил, махнул рукой и бросил. Занятий у меня теперь нет, есть почти нечего... И если вы, минуя достоинства, напечатаете мою повесть, то сделаете мне больше, чем одолжение... Вы поможете мне... Газета не богадельня, не странно-приимный дом... Я это знаю, но... уж вы будьте так добры...

«Лжешь!» — подумал я.

Брелоки и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба, да и по лицу Камышева пробежала чуть заметная, уловимая опытным глазом тучка, которую можно видеть на лицах только редко

лгущих людей.

— Какой сюжет вашей повести? — спросил я.

— Сюжет... Как бы вам сказать? Сюжет не новый... Любовь, убийство... Да вы прочтете, увидите... «Из записок судебного следователя»...

Я, вероятно, поморщился, потому что Камышев сконфуженно замигал глазами, встрепенулся и проговорил быстро:

— Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но... в ней вы найдете быль, правду... Всё, что в ней изображено, всё от крышки до крышки происходило на моих глазах... Я был и очевидцем и даже действующим лицом.

— Дело не в правде... Не нужно непременно видеть, чтоб описать... Это не важно. Дело в том, что наша бедная публика давно уже набила оскомину на Габорио ц Шкляревском. Ей надоели все эти таинственные убийства, хитросплетения сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той публике, которая читает мою газету. Как называется ваша повесть?

— «Драма на охоте».

— Гм... Несерьезно, знаете ли... Да и, откровенно говоря, у меня накопилась такая масса материала, что решительно нет возможности принимать новые вещи, даже при несомненных их достоинствах...

— А уж мою-то вещь примите, пожалуйста... Вы говорите, что несерьезно, но... трудно ведь назвать вещь, не издавши ее... И неужели вы не можете допустить, что и судебные следователи могут писать серьезно?

Всё это проговорил Камышев заикаясь, вертя между пальцами карандаш и глядя себе ноги. Кончил он тем, что сильно сконфузился и замигал глазами. Мне стало жаль его.

— Хорошо, оставьте, — сказал я. — Только не обещаю вам, что ваша повесть будет прочтена в скором времени. Вам придется подождать...

— Долго?

— Не знаю... Зайдите месяца... этак через два, через три...

— Долгонько... Но не смею настаивать... Пусть будет по-вашему...

Камышев поднялся и взялся за фуражку.

— Спасибо за аудиенцию, — сказал он. — Пойду теперь домой и буду питать себя надеждами. Три месяца надежд! Но, однако, я вам надоел. Честь имею кланяться!

— Позвольте, одно только слово, — сказал я, перелистывая его толстую, исписанную мелким почерком тетрадь. — Вы пишете здесь от первого лица... Вы, стало быть, под судебным следователем разумеете здесь себя?

— Да, но под другой фамилией. Роль моя в этой повести несколько скандальна... Неловко же под своей фамилией... Так через три месяца?

— Да, пожалуй, не ранее...

— Будьте здоровехоньки!

Бывший судебный следователь галантно раскланялся, осторожно взялся за дверную ручку и исчез, оставив на моем столе свое произведение. Я взял тетрадь и спрятал ее в стол.

Повесть красавца Камышева покоилась в моем столе два месяца. Однажды, уезжая из редакции на дачу, я вспомнил о ней и взял ее с собою.

Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать из середины. Середина заинтересовала меня. В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «Конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набежавшую, мучительную мысль... А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая... Мне казалось, что я, не судебный следователь и еще того менее не присяжный психолог, открыл страшную тайну одного человека, тайну, до которой мне не было никакого дела... Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию...

Повесть Камышева не попала в мою газету по причинам, изложенным в конце моей беседы с читателем. С читателем я встречусь еще раз. Теперь же, надолго расставаясь с ним, я предлагаю на его прочтение повесть Камышева.

Эта повесть не выделяется из ряда вон. В ней много длиннот, немало шероховатостей... Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам... Видно, что он пишет первый раз в жизни, рукой непривычной, невоспитанной... Но все-таки повесть его читается легко. Фабула есть, смысл тоже, и, что важнее всего, она оригинальна, очень характерна и то, что называется, *sui generis*³. Есть в ней и кое-какие литературные

³ в своем роде (лат .)

достоинства. Прочсть ее стоит... Вот она:

Из записок судебного следователя

— Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы! Дайте же мне наконец сахару!

Этот крик разбудил меня. Я потянулся и почувствовал во всех своих членах тяжесть, недомогание... Можно отлежать себе руку и ногу, но на этот раз мне казалось, что я отлежал себе всё тело от головы до пяток. Не укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон в душной, сушащей атмосфере, под жужжанье мух и комаров. Разбитый и облитый потом, я поднялся и пошел к окну. Был шестой час вечера. Солнце стояло еще высоко и жгло с таким же усердием, как и три часа тому назад. До захода и прохлады оставалось еще много времени.

— Муж убил свою жену!

— Полно тебе врать, Иван Демьяныч! — сказал я, давая легкий щелчок носу Ивана Демьяныча. — Мужья убивают жен только в романах да под тропиками, где кипят африканские страсти, голубчик. С нас же довольно и таких ужасов, как кражи со взломом или проживание по чужому виду.

— Кражи со взломом... — процедил сквозь свой крючковатый нос Иван Демьяныч. — Ах, как вы глупы!

— Но что же поделаешь, голубчик? Чем мы, люди, виноваты, что нашим мозгам предел положен? Впрочем, Иван Демьяныч, не грешно быть дураком при этакоей температуре. Ты вот у меня умница, но небось и твои мозги раскисли и поглупели от этой жары.

Моего попугая зовут не попкой и не другим каким-нибудь птичьим названием, а Иваном Демьянычем. Это имя получил он совершенно случайно. Однажды мой человек Поликарп, чистя его клетку, вдруг сделал открытие, без которого моя благородная птица и доселе величалась бы попкой... Лентяя вдруг ни с того ни с сего осенила мысль, что нос моего попугая очень похож на нос нашего деревенского лавочника Ивана Демьяныча, и с той поры за попугаем навсегда осталось имя и отчество длинноносого лавочника. С легкой руки Поликарпа и вся деревня окрестила мою диковинную птицу в Ивана Демьяныча. Волею Поликарпа птица попала в люди, а лавочник утерял свое настоящее прозвище: он до конца дней своих будет фигурировать в устах деревенщины, как «следователей попугай».

Ивана Демьяныча я купил у матери моего предшественника, судебного следователя Пospelова, умершего незадолго перед моим назначением. Я купил его вместе со старинною дубовою мебелью, кухонным хламом и всем вообще хозяйством, оставшимся после покойника. Мои стены до сих пор еще украшают фотографические карточки его родственников, а над моею кроватью всё еще висит портрет самого хозяина. Покойник, худощавый, жилистый человек с рыжими усами и большой нижней губой, сидит, выпучив глаза, в полинялой ореховой раме и не отрывает от меня глаз всё время, пока я лежу на его кровати... Я не снял со стен ни одной карточки, короче говоря — я оставил квартиру такой же, какою и принял. Я слишком ленив для того, чтобы заниматься собственным комфортом, и не мешаю висеть на моих стенах не только покойникам, но даже и живым, если последние того пожелают [Прошу у читателя извинения за подобные выражения. Ими богата повесть несчастного Камышева, и если я их не вычеркнул, то только потому, что счел нужным, в интересах характеристики автора, печатать его повесть in toto⁴. — А. Ч.]

Ивану Демьянычу было так же душно, как и мне. Он ерошил свои перья, оттопыривал крылья и громко выкрикивал фразы, выученные им у моего предшественника Пospelова и Поликарпа. Чтобы занять чем-нибудь свой послеобеденный досуг, я сел перед клеткой и стал наблюдать за движениями попугая, старательно искавшего и не находившего выхода из тех мук, которые причиняли ему духота и насекомые, обитавшие в его перьях... Бедняжка казался очень несчастным...

— А в котором часу они просыпаются? — донесся до меня чей-то бас из передней...

— Как когда! — отвечал голос Поликарпа. — Когда и в пять просыпается, а когда и до утра дрыхнет... Известно, делать нечего...

— Вы ихний камердинер будете?

— Прислуга. Ну, не мешай мне, замолчи... Нешто не видишь, что я читаю?

Я заглянул в переднюю. Там, на большом красном сундуке, валялся мой Поликарп и, по обыкновению, читал какую-то книгу. Впившись своими сонными, никогда не моргающими глазами в книгу, он шевелил губами и хмурился. Видимо, его раздражало присутствие постороннего лица, высокого мужика-бородача, стоявшего перед сундуком и тщетно старавшегося завязать беседу. При моем появлении мужик сделал шаг от сундука и по-солдатски вытянулся в струнку. Поликарп соорудил недовольное лицо и, не отрывая глаз от книги, слегка приподнялся.

⁴ без пропусков (лат .)

— Что тебе нужно? — обратился я к мужику.

— Я от графа, ваше благородие. Граф изволили вам кланяться и просили вас немедля к себе-с...

— Разве граф приехал? — удивился я.

— Точно так, ваше благородие... Вчерась ночью приехали... Письмо вот извольте-с...

— Опять черти принесли! — проговорил мой Поликарп. — Два лета без него покойно прожили, а нынче опять свинюшник в уезде заведет. Опять сраму не оберешься.

— Молчи, тебя не спрашивают!

— Меня и спрашивать не надо... Сам скажу. Опять будете от него в пьяном безобразии приезжать и в озере купаться, как есть, во всем костюме... Чисть потом! И за три дня не вычистишь!

— Что теперь граф делает? — спросил я мужика...

— Изволили обедать садиться, когда меня к вам посылали... До обеда рыбку удили в купальне-с... Как прикажете отвечать?

Я распечатал письмо и прочел в нем следующее:

«Милый мой Лекок! Если ты еще жив, здравствуешь и еще не забыл своего всепьянейшего друга, то, ни минуты не медля, облакайся в свои одежды и мчись ко мне. Приехал только прошлую ночью, но уже умираю от скуки. Нетерпение, с которым я ожидаю тебя, не знает границ. Хотел было сам съездить за тобой и увезти тебя в мою берлогу, но жара сковала все мои члены. Сижу на одном месте и обмахиваюсь веером. Ну, как живешь ты? Как поживает твой умнейший Иван Демьяныч? Всё еще воюешь со своим педантом Поликарпом? Приезжай скорей и рассказывай.

Твой А. К.»

Не нужно было глядеть на подпись, чтобы в крупном, некрасивом почерке узнать пьяную, редко пишущую руку моего друга, графа Алексея Карнеева. Краткость письма, претензия его на некоторую игривость и бойкость свидетельствовали, что мой недалекий друг много изорвал почтовой бумаги, прежде чем сумел сочинить это письмо.

В письме отсутствовало местоимение «который» и старательно обойдены дееспричастия — то и другое редко удается графу в один присест.

— Как прикажете ответить? — повторил мужик.

Я не сразу ответил на этот вопрос, да и всякий чистоплотный человек промедлил бы на моем месте. Граф любил меня и искреннейше навязывался ко мне в друзья, я же не питал к нему ничего похожего на дружбу и даже не любил его; честнее было бы поэтому прямо раз навсегда отказаться от его дружбы, чем ехать к нему и лицемерить. К тому же ехать к графу — значило еще раз окунуться в жизнь, которую мой Поликарп величал «свинюшником» и которая два года тому назад, во всё время до отъезда графа в Петербург, расшатывала мое крепкое здоровье и сушила мой мозг. Эта беспутная, необычная жизнь, полная эффектов и пьяного бешенства, не успела подорвать мой организм, но зато сделала меня известным всей губернии... Я популярен...

Рассудок говорил мне всю сухую правду, краска стыда за недавнее прошлое разливалась по моему лицу, сердце сжималось от страха при одной мысли, что у меня не хватит мужества отказаться от поездки к графу, но я не долго колебался. Борьба продолжалась не более минуты.

— Кланяйся графу, — сказал я посланному, — и поблагодари за память... Скажи, что я занят и что... Скажи, что я...

И в тот самый момент, когда с моего языка готово уже было сорваться решительное «нет», мною вдруг овладело тяжелое чувство... Молодой человек, полный жизни, сил и желаний, заброшенный волею судеб в деревенские дебри, был охвачен чувством тоски, одиночества...

Вспомнился мне графский сад с роскошью его прохладных оранжерей и полумраком узких, заброшенных аллей... Эти аллеи, защищенные от солнца сводом из зеленых, сплетающихся ветвей старушек-лип, знают меня... Знают они и женщин, которые искали моей любви и полумрака... Вспомнилась мне роскошная гостиная, с сладкою ленью ее бархатных диванов, тяжелых портьер и ковров, мягких, как пух, с ленью, которую так любят молодые, здоровые животные... Пришла мне на память моя пьяная удаль, не знающая границ в своей шире, сатанинской гордости и презрении к жизни. И мое большое тело, утомленное сном, вновь захотело движений...

— Скажи, что я буду!

Мужик поклонился и вышел.

— Знал бы, не впускал его, чёрта! — проворчал Поликарп, быстро и бесцельно перелистывая книгу.

— Оставь книгу и поди оседлай Зорьку! — сказал я строго. — Живо!

— Живо... Как же, беспременно... Так вот возьму и побегу... Добро бы за дедом ехал, а то поедет чёрту рога ломать!

Это было сказано полушёпотом, но так, чтоб я слышал. Лакей, прошептавши дерзость, вытянулся

передо мной и, презрительно ухмыляясь, стал ожидать ответной вспышки, но я сделал вид, что не слышал его слов. Мое молчание — лучшее и острейшее оружие в сражениях с Поликарпом. Это презрительное пропускание мимо ушей его ядовитых слов обезоруживает его и лишает почвы. Оно как наказание действует сильнее, чем подзатыльник или поток ругательных слов... Когда Поликарп вышел на двор седлать Зорьку, я заглянул в книгу, которую помешал ему читать... Это был «Граф Монте-Кристо», страшный роман Дюма... Мой цивилизованный дурак читает всё, начиная с вывесок питейных домов и кончая Огюстом Контом, лежащим у меня в сундуке вместе с другими мною не читаемыми, заброшенными книгами; но из всей массы печатного и писанного он признает одни только страшные, сильно действующие романы с знатными «господами», ядами и подземными ходами, остальное же он окрестил «чепухой». Об его чтении мне придется еще говорить в будущем, теперь же — ехать! Через четверть часа копыта моей Зорьки уже вздымали пыль по дороге от деревни до графской усадьбы. Солнце было близко к своему ночлегу, но жар и духота давали еще себя чувствовать... Накаленный воздух был неподвижен и сух, несмотря на то, что дорога моя лежала по берегу громаднейшего озера... Справа видел я водную массу, слева ласкала мой взгляд молодая, весенняя листва дубового леса, а между тем мои щеки переживали Сахару.

«Быть грозе!» — подумал я, мечтая о хорошем, холодном ливне...

Озеро тихо спало. Ни одним звуком не приветствовало оно полета моей Зорьки, и лишь писк молодого кулика нарушал гробовое безмолвие неподвижного великана. Солнце гляделось в него, как в большое зеркало, и заливало всю его ширь от моей дороги до далекого берега ослепительным светом. Ослепленным глазам казалось, что не от солнца, а от озера берет свой свет природа.

Зной вогнал в дремоту и жизнь, которую так богато озеро и его зеленые берега... Попрятались птицы, не плескалась рыба, тихо ждали прохлады полевые кузнечики и сверчки. Кругом была пустыня. Лишь изредка моя Зорька вносила меня в густое облако прибрежных комаров, да вдали на озере еле шевелились три черные лодочки старика Михея, нашего рыболова, взявшего на откуп всё озеро.

Я ехал не по прямой линии, а по окружности, какую представлялись берега круглого озера. Ехать по прямой линии можно было только на лодке, едущие же сухим путем делают большой круг и проигрывают около восьми верст. Во всё время пути я, глядя на озеро, видел противоположный глинистый берег, над которым белела полоса цветшего черешневого сада, из-за черешен высилась графская клуня, усеянная разноцветными голубями, и белела маленькая колокольня графской церкви. У глинистого берега стояла купальня, обитая парусом; на перилах сушились простыни. Всё это я видел, и моим глазам казалось, что меня отделяет от моего приятеля-графа какая-нибудь верста, а между тем, чтобы добраться до графской усадьбы, мне нужно было проскакать шестнадцать верст.

На пути я думал о своих странных отношениях к графу. Интересно мне было дать себе в них отчет, регулировать их, но — увы! — этот отчет оказался непосильной задачей. Сколько я ни думал, ни решал, а в конце концов пришлось остановиться на заключении, что я плохой знаток самого себя и вообще человека. Люди, знавшие меня и графа, различно истолковывают наши взаимные отношения. Узкие лбы, не видящие ничего дальше своего носа, любят утверждать, что знатный граф видел в «бедном и незнатном» судебном следователе хорошего прихвостня-собутельника. Я, пишущий эти строки, по их разумению, ползал и пресмыкался у графского стола ради крох и огрызков! По их мнению, знатный богач, пугало и зависть всего С — го уезда, был очень умен и либерален; иначе тогда непонятно было бы милостивое снисхождение до дружбы с неимущим следователем и тот сущий либерализм, который сделал графа нечувствительным к моему «ты». Люди же поумнее объясняют наши близкие отношения общностью «духовных интересов». Я и граф — сверстники. Оба мы кончили курс в одном и том же университете, оба мы юристы и оба очень мало знаем: я знаю кое-что, граф же забыл и утопил в алкоголе всё, что знал когда-нибудь. Оба мы гордецы и, в силу каких-то одним только нам известных причин, как дикари, чуждаемся общества. Оба мы не стесняемся мнением света (т. е. С — го уезда), оба безнравственны и оба плохо кончим. Таковы связующие нас «духовные интересы». Более этого ничего не могут сказать о наших отношениях знавшие нас люди.

Они, конечно, сказали бы более, если бы знали, как слаба, мягка и податлива натура друга моего графа и как силен и крепок я. Они многое сказали бы, если бы знали, как любил меня этот тщедушный человек и как я его не любил! Он первый предложил мне свою дружбу, и я первый сказал ему «ты», но с какою разницей в тоне! Он, в припадке хороших чувств, обнял меня и робко попросил моей дружбы — я же, охваченный однажды чувством презрения, брезгливости, сказал ему:

— Полно тебе молоть чепуху!

И это «ты» он принял как выражение дружбы и стал носить его, платя мне честным, братским «ты»...

Да, лучше и честнее я сделал бы, если бы повернул свою Зорьку и поехал назад к Поликарпу и Ивану Демьянычу.

Впоследствии я думал не раз: сколько несчастий не пришлось бы мне перенести на своих плечах и сколько добра принес бы я своим ближним, если бы в этот вечер у меня хватило решимости поворотить назад, если бы моя Зорька взбесилась и унесла меня подальше от этого страшного большого озера! Сколько

мучительных воспоминаний не давили бы теперь моего мозга и не заставляли бы мою руку то и дело оставлять перо и хвататься за голову! Но не стану забегать вперед, тем более, что впереди придется еще много раз останавливаться на горечи. Теперь о веселом...

Моя Зорька внесла меня в ворота графской усадьбы. У самых ворот она споткнулась, и я, потеряв стремя, чуть было не свалился на землю.

— Худой знак, барин! — крикнул мне какой-то мужик, стоявший у одной из дверей длинных графских конюшен.

Я верю в то, что человек, упавший с лошади, может сломать себе шею, но не верую в предзнаменования. Отдав повода мужику и обивая хлыстом пыль с ботфортов, я побежал в дом. Меня никто не встретил. Окна и двери в комнатах были открыты настежь, но, несмотря на это, в воздухе стоял тяжелый, странный запах. То была смесь запаха ветхих, заброшенных покоев с приятным, но едким, наркотическим запахом тепличных растений, недавно принесенных из оранжереи в комнаты... В зале, на одном из диванов, обитых светло-голубой шёлковой материей, лежали две помятые подушки, а перед диваном на круглом столе я увидел стакан с несколькими каплями жидкости, распространявшей запах крепкого рижского бальзама. Всё это говорило за то, что дом обитаем, но я, обойдя все одиннадцать комнат, не встретил ни одной живой души. В доме царила такая же пустыня, как и вокруг озера...

Из так называемой «мозаиковой» гостиной вела в сад большая стеклянная дверь. Я с шумом отворил ее и по мраморной террасе спустился в сад. Тут, пройдя несколько шагов по аллее, я встретил девяностолетнюю старуху Настасью, бывшую когда-то нянькой у графа. Это — маленькое, сморщенное, забытое смертью существо, с лысой головкой и колючими глазами. Когда глядишь на ее лицо, то невольно припоминаешь прозвище, данное ей дворней: «Сычиха»... Увидев меня, она вздрогнула и чуть не уронила стакан со сливками, который она несла обеими руками.

— Здорово, Сычиха! — сказал я ей.

Она искоса поглядела на меня и молча прошла мимо... Я взял ее за плечо...

— Не бойся, дура... Где граф?

Старуха показала себе на уши.

— Ты глуха? А давно ты оглохла?

Старуха, несмотря на свой преклонный возраст, отлично слышит и видит, но находит нелишним клеветать на свои органы чувств... Я пригрозил ей пальцем и отпустил ее.

Пройдя еще несколько шагов, я услышал голоса, а немного погодя увидел и людей. В том месте, где аллея расширялась в площадку, окруженную чугунными скамьями, под тенью высоких белых акаций стоял стол, на котором блестел самовар. Около стола говорили. Я тихо подошел по траве к площадке и, скрывшись за сиреневый куст, стал искать глазами графа.

Мой друг, граф Карнеев, сидел за столом на складном решетчатом стуле и пил чай. На нем был пестрый халат, в котором я видел его два года тому назад, и соломенная шляпа. Лицо было озабочено, сосредоточено, сжато в складки, так что человек, не знакомый с ним, мог бы подумать, что его мучит в данную минуту солидная мысль, забота... Наружно граф несколько не изменился за время нашей двухлетней разлуки. То же маленькое худое тело, жидкое и дряблое, как тело коростеля. Те же узкие чахоточные плечи с маленькой рыженькой головкой. Носик по-прежнему розов, щеки, как и два года тому назад, отвисают тряпочками. На лице ничего смелого, сильного, мужественного... Всё слабо, апатично и вяло. Внушительны одни только большие, отвисающие вниз усы. Моему другу кто-то сказал, что ему идут длинные усы. Он поверил и теперь каждое утро меряет, насколько длиннее стала растительность над его бледными губами. С этими усами он напоминает усатого, но очень молодого и хилого котенка.

Рядом с графом за тем же столом сидел какой-то неизвестный мне толстый человек с большой стриженной головой и очень черными бровями. Лицо этого было жирно и лоснилось, как спелая дыня. Усы длиннее, чем у графа, лоб маленький, губы сжаты, и глаза лениво глядят на небо... Черты лица расплылись, но, тем не менее, они жестки, как высохшая кожа. Тип не русский... Толстый человек был без сюртука и без жилета, в одной сорочке, на которой темнели мокрые от пота места. Он пил не чай, а зельтерскую воду.

В почтительном отдалении от стола стоял плотный, приземистый человечек с красным, жирным затылком и оттопыренными ушами. Это был управляющий графа, Урбенин. Ради приезда его сиятельства, он нарядился в новую черную пару и теперь испытывал муки. Пот ручьями лил с его красного, загоревшего лица. Рядом с управляющим стоял мужик, приезжавший ко мне с письмом. Только тут я заметил, что у этого мужика не было одного глаза. Вытянувшись в струнку и не позволяя себе ни малейшего движения, он стоял, как статуя, и ждал вопросов.

— Взять бы вот у тебя, Кузьма, твою нагайку да отшпандорить тебя во все корки, — говорил ему с расстановкой своим внушительным и мягким баском управляющий. — Разве можно так неряшливо исполнять господские приказания? Ты должен был просить их пожаловать сюда немедленно и узнать, когда именно они могут быть?

— Да, да, да... — нервничал граф. — Ты должен был всё узнать! Он сказал: буду! Но ведь этого недостаточно! Он мне сейчас нужен! Обя-за-тель-но сейчас! Ты его просил, а он тебя не понял!

— На что он тебе так понадобился? — спросил графа толстяк.

— Мне нужно его видеть!

— Только-то? А по-моему, Алексей, этот твой следователь лучше бы сделал, если бы сегодня посидел у себя дома. Мне теперь не до гостей.

Я сделал большие глаза. Что значило это хозяйское, повелительное «мне»?

— Но ведь это не гость! — сказал умоляющим голосом мой друг. — Он не мешает тебе отдохнуть после дороги. С ним, пожалуйста, не церемонься!.. Увидишь, что это за человек! Ты сразу его полюбишь и подружишься с ним, голубчик!

Я вышел из-за сиреневых кустов и направился к столу. Граф увидел меня, узнал, и на просиявшем лице его заиграла улыбка.

— Вот и он! Вот и он! — заговорил он, краснея от удовольствия и выскакивая из-за стола. — Как это мило с твоей стороны!

И, подбежав ко мне, он подскочил, обнял меня и своими жесткими усами несколько раз поцарапал мою щеку. За поцелуями следовало продолжительное рукопожатие и засматривание мне в глаза...

— А ты, Сергей, нисколько не изменился! Всё тот же! Такой же красавец и силач! Спасибо, что уважил и приехал!

Освободившись от графских объятий, я поздоровался с управляющим, моим хорошим знакомым, и сел за стол.

— Ах, голубчик! — продолжал встревоженный и обрадованный граф. — Если бы ты знал, как мне приятно видеть твою серьезную физиономию! Ты незнаком? Позволь тебе представить: мой хороший друг Каэтан Казимирович Пшехоцкий. А это вот, — продолжал он, указав толстяку на меня, — мой хороший, давнишний друг Сергей Петрович Зиновьев! Здешний следователь...

Чернобровый толстяк слегка приподнялся и подал мне свою жирную, ужасно потную руку.

— Очень приятно, — пробормотал он, рассматривая меня. — Очень рад.

Изливши свои чувства и успокоившись, граф налил мне стакан холодного красно-бурого чая и придвинул к моим рукам ящик с печеньями.

— Кушай... Проездом через Москву у Эйнема купил. А я на тебя сердит, Сережа, так сердит, что даже хотел поругаться с тобой!.. Мало того, что ты не написал мне в эти два года ни строчки, но даже не удостоил ответом ни одного моего письма! Это не по-дружески!

— Я не умею писать писем, — сказал я, — да кстати же у меня нет и времени для переписки. И о чем, скажи, пожалуйста, я мог писать тебе?

— Мало ли о чем?

— Право, не о чем. Я признаю письма только трех сортов: любовные, поздравительные и деловые. Первых я не писал потому, что ты не женщина и я в тебя не влюблен, вторые тебе не нужны, а от третьих мы избавлены, так как у нас с тобой отродясь общих дел не было.

— Это, положим, так, — согласился граф, быстро и охотно со всем соглашающийся, — но все-таки мог бы хоть строчку... И потом, как рассказывает вот Петр Егорыч, ты за все два года ни разу не наведлся сюда, точно за тысячу верст живешь или... брезгуешь моим добром. Мог бы здесь пожить, поохотиться. И мало ли что могло здесь без меня случиться!

Граф говорил много и долго. Раз начавши говорить о чем-нибудь, он болтал языком без умолку и без конца, как бы мелка и жалка ни была тема.

В произнесении звуков он был неутомим, как мой Иван Демьяныч. Я едва выносил его за эту способность. Остановил его на этот раз лакей Илья, высокий, тонкий человек в поношенной пятнистой ливрее, поднесший графу на серебряном подносе рюмку водки и полстакана воды. Граф выпил водку, запил водой и, поморщившись, покачал головой.

— А ты еще не бросил походя дуть водку! — сказал я.

— Не бросил, Сережа!

— Ну, хоть брось пьяную манеру морщиться и качать головой! Противно.

— Я, голубчик, всё бросаю... Мне доктора запретили пить. Пью теперь только потому, что сразу нездорово бросать... Нужно постепенно...

Я поглядел на большое, истрепавшееся лицо графа, на рюмку, на лакея в желтых башмаках, поглядел я на чернобрового поляка, который с первого же раза показался мне почему-то негодяем и мошенником, на одноглазого вытянувшегося мужика, — и мне стало жутко, душно... Мне вдруг захотелось оставить эту грязную атмосферу, предварительно открыв графу глаза на всю мою к нему безграничную антипатию... Был момент, когда я готов уже был подняться и уйти... Но я не ушел... Мне помешала (стыдно сознаться!) простая физическая лень...

— Дай и мне водки! — сказал я Илье.

Продолговатые тени стали ложиться на аллею и нашу площадку...

Далекое кваканье лягушек, карканье ворон и пение иволги приветствовали уже закат солнца. Наступал весенний вечер...

— Посади Урбенина, — шепнул я графу. — Он стоит перед тобой, как мальчишка.

— Ах, сам я и не догадался! Петр Егорыч, — обратился граф к управляющему, — садитесь, пожалуйста! Будет вам стоять!

Урбенин сел и поглядел на меня благодарными глазами. Вечно здоровый и веселый, он показался мне на этот раз больным, скучающим. Лицо его было точно помято, сонно, и глаза глядели на нас лениво, нехотя...

— Что у нас новенького, Петр Егорыч? Что хорошенького? — спросил его Карнеев. — Нет ли чего-нибудь этакого... из ряда вон выдающегося?

— Всё по-старому, ваше сиятельство...

— Нет ли того... новеньких девочек, Петр Егорыч?

Нравственный Петр Егорыч покраснел.

— Не знаю, ваше сиятельство... Я в это не вхожу.

— Есть, ваше сиятельство, — пробасил всё время до этого молчавший одноглазый Кузьма. — И очень даже стоящие.

— Хорошие?

— Всякие есть, ваше сиятельство, на всякий вкус... И брунетки, и блондинки, и всякие...

— Ишь ты!.. Пстой, пстой... Я теперь припоминаю тебя... Мои бывший Лепорелло, секретарь по части... Тебя, кажется, Кузьмой зовут?

— Точно так...

— Помню, помню... Какие же теперь у тебя есть на примете? Небось, всё мужички?

— Больше, известно, мужички, но есть и почище...

— Где ж это ты почище нашел? — спросил Илье, щуря на Кузьму глаза.

— На Святой к почтарю свояченица приехала... Настась Иванна... Девка вся на винтах — сам бы ел, да деньги надобны... Кровь во всю щеку и прочее такое... Есть и того почище. Только вас и дожидалась, ваше сиятельство. Молоденькая, пухлявенькая, шустренькая... красота! Этакой красоты, ваше сиятельство, и в Питинбурге не изволили видеть...

— Кто же это?

— Оленька, лесничего Скворцова дочка.

Под Урбениным затрещал стул. Упираясь руками о стол и багровея, управляющий медленно поднялся и повернул свое лицо к одноглазому мужику. Выражение утомления и скуки уступило свое место сильному гневу...

— Замолчи, хам! — проворчал он. — Гадина одноглазая!.. Говори, что хочешь, но не смей ты трогать порядочных людей!

— Я вас не трогаю, Петр Егорыч, — невозмутимо проговорил Кузьма.

— Я не про себя говорю, болван! Впрочем... простите меня, ваше сиятельство, — обратился управляющий к графу. — Простите, что я сделал сцену, но я просил бы ваше сиятельство запретить вашему Лепорелло, как вы изволили его назвать, распространять свое усердие на особ, достойных всякого уважения!

— Я ничего... — пролепетал наивный граф. — Он ничего не сказал такого особенного.

Обиженный и взволнованный до крайности, Урбенин отошел от стола и стал к нам боком. Скрестив на груди руки и мигая глазами, он спрятал от нас свое багровое лицо за веточку и задумался.

Не предчувствовал ли этот человек, что в недалеком будущем его нравственному чувству придется испытать оскорбления в тысячу раз горшие?

— Не понимаю, чего он обиделся! — шепнул мне граф. — Вот чудак! Оскорбительного ведь ничего не было сказано.

После двухлетнего трезвого житья рюмка водки подействовала на меня слегка опьяняюще. В мозгу и по всему телу моему разлилось чувство легкости, удовольствия. К тому же я стал ощущать вечернюю прохладу, которая мало-помалу вытесняла дневную духоту... Я предложил пройтись. Из дома принесли графу и его новому другу-поляку их сюртуки, и мы пошли. За нами последовал и Урбенин.

Графский сад, по которому мы гуляли, ввиду его поражающей роскоши, достоин особого, специального описания. В ботаническом, хозяйственном и во многих других отношениях он богаче и грандиознее всех садов, какие я когда-либо видел. Кроме вышеописанных поэтических аллей с зелеными сводами, вы найдете в нем всё, чего только может требовать от сада взгляд прихотливого баловня. Тут и всевозможные, туземные и иностранные, фруктовые деревья, начиная с черешен и слив и кончая крупным, с гусиное яйцо, абрикосом. Шелковица, барбарис, французские бергамотовые деревья и даже маслина попадают на каждом шагу... Тут

и полуразрушенные, поросшие мхом гроты, фонтаны, прудики, предназначенные для золотой рыбы и ручных карпов, горы, беседки, дорогие оранжереи... И эта редкая роскошь, собранная руками дедов и отцов, это богатство больших, полных роз, поэтических гротов и бесконечных аллей было варварски заброшено и отдано во власть сорным травам, воровскому топору и галкам, бесцеремонно вившим свои уродливые гнезда на редких деревьях! Законный владелец этого добра шел рядом со мной, и ни один мускул его испитого и сытого лица не дрогнул при виде запущенности и кричащей человеческой неряшливости, словно не он был хозяином сада. Раз только, от нечего делать, он заметил управляющему, что недурно было бы, если бы дорожки были посыпаны песочком. Он обратил внимание на отсутствие никому не нужного песочка, а не заметил голых, умерших за холодную зиму деревьев и коров, гулявших по саду. На его замечание Урбенин ответил, что для надзора за садом нужно иметь человек десять работников, а так как его сиятельство не изволит жить у себя в имении, то затраты на сад являются роскошью ненужной и непроизводительной. Граф, конечно, согласился с этим доводом.

— Да и некогда мне, признаться! — махнул рукой Урбенин. — Летом в поле, зимой в городе хлеб продаешь... Не до сада тут!

Главная, так называемая «генеральная» аллея, вся прелесть которой состояла в ее старых, широких липах и в массе тюльпанов, тянувшихся двумя пестрыми полосами во всю ее длину, оканчивалась вдали желтым пятном. То была желтая каменная беседка, в которой когда-то был буфет с бильярдом, кеглями и китайской игрой. Мы бесцельно направились к этой беседке... У ее входа мы были встречены живым существом, несколько расстроившим нервы моих не храбрых спутников.

— Змея! — вдруг взвизгнул граф, хватая меня за руку и бледнея. — Посмотри!

Поляк сделал шаг назад, остановился, как вкопанный, и растопырил руки, точно загораживая путь привидению... На верхней ступени каменной полуразрушенной лестнички лежала молодая змея из породы наших обыкновенных русских гадюк. Увидев нас, она подняла головку и зашевелилась... Граф еще раз взвизгнул и спрятался за мою спину.

— Не бойтесь, ваше сиятельство!.. — сказал лениво Урбенин, занося ногу на первую ступень...

— А если укусит?

— Не укусит. Да и вообще, кстати говоря, вред от укушения этих змей преувеличен. Я был раз укушен старой змеей — и не умер, как видите.

— Человеческое жало опаснее змеиного! — не преминул сморальничать со вздохом Урбенин.

И подлинно. Не успел управляющий пройти две-три ступени, как змея вытянулась во всю свою длину и с быстротою молнии юркнула в щель между двух плит. Войдя в беседку, мы увидели другое живое существо. На старом, полинявшем бильярде с порванным сукном лежал старик невысокого роста в синем пиджаке, полосатых панталонах и жокейском картузике. Он сладко и бесмятежно спал. Вокруг его беззубого, похожего на душло рта и на остром носу хозяйничали мухи. Худой, как скелет, с открытым ртом и неподвижный, он походил на труп, только что принесенный из мертвецкого подвала для вскрытия.

— Франц! — толкнул его Урбенин. — Франц!

После пяти-шести толчков Франц закрыл рот, приподнялся, обвел всех нас глазами и опять лег. Через минуту рот его был опять открыт, и мух, гулявших около его носа, опять беспокоило легкое дрожанье от храпа.

— Спит, свинья беспутная! — вздохнул Урбенин.

— Это, кажется, наш садовник Трихер? — спросил граф.

— Он самый... Вот так вот каждый день... Днем спит как убитый, а ночью в карты играет. Сегодня, сказывают, до шести часов утра играл...

— Во что же он играет?

— В азартные игры... Больше всё в стуколку.

— Ну, такие господа плохо дело делают... Жалованье они только даром берут.

— Это я не для того вам сказал, ваше сиятельство, — спохватился Урбенин, — чтобы жаловаться или выражать неудовольствие, а просто так... хотелось пожалеть, что такой способный человек и страсти подвержен. А человек он трудящийся, ничего себе... не даром жалованье берет.

Мы еще раз взглянули на картежника Франца и вышли из беседки. Отсюда мы направились к садовой калитке, выходящей в поле.

В редком романе не играет солидной роли садовая калитка. Если вы сами не подметили этого, то справьтесь у моего Поликарпа, проглотившего на своем веку множество страшных и нестрашных романов, и он, наверное, подтвердит вам этот ничтожный, но все-таки характерный факт.

Мой роман тоже не избавлен от калитки. Но моя калитка разнится от других тем, что моему перу придется провести сквозь нее много несчастных и почти ни одного счастливого, что бывает в других романах только в обратном порядке. И, что хуже всего, эту калитку мне приходилось уже раз описывать, но не как романисту, а как судебному следователю... У меня проведет она сквозь себя более преступников, чем

влюбленных.

Через четверть часа мы, подпираясь тростями, плелись на гору, называемую у нас Каменной Могилой. У деревень существует легенда, что под этой каменной грудой покоится тело какого-то татарского хана, боявшегося, чтобы после его смерти враги не надругались над его прахом, а потому и завещавшего взвалить на себя гору камня. Но эта легенда едва ли справедлива... Каменные пласты, их взаимное положение и величина исключают вмешательство человеческих рук в происхождение этой горы. Она стоит особняком в поле и напоминает собою опрокинутый колпак.

Взобравшись на нее, мы увидели всё озеро во всей его пленительной шири и не поддающейся описанию красоте. Солнце уже не отражалось в нем; оно зашло и оставило после себя широкую багровую полосу, окрасившую окрестности в приятный, розовато-желтый цвет. У наших ног расстилалась графская усадьба с ее домом, церковью и садом, а вдали, по ту сторону озера, серела деревенька, в которой волею судеб я имел свою резиденцию. Поверхность озера была по-прежнему неподвижна. Лодочки старика Михея, отделившись друг от друга, спешили к берегу.

В сторону от моей деревеньки темнела железнодорожная станция с дымком от локомотива, а позади нас, по другую сторону Каменной Могилы, расстилалась новая картина. У подножия Могилы шла дорога, по бокам которой высились старики-тополи. Дорога эта вела к графскому лесу, тянувшемуся до самого горизонта.

Я и граф стояли на горе. Урбенин и поляк, как люди тяжелые, предпочли подождать нас внизу, на дороге.

— Что это за шишка? — спросил я графа, кивнув на поляка. — Где ты его подцепил?

— Это очень милый господин, Сережа, очень милый! — встревоженно заговорил граф. — Ты скоро подружишься с ним!

— Ну, это едва ли. Отчего он всё молчит?

— По натуре он молчалив! Но зато как умен!

— Да что он за человек?

— В Москве я с ним познакомился. Он очень милый. После ты всё узнаешь, Сережа, а теперь не спрашивай. Спустимся?

Мы спустились с Могилы и пошли по дороге к лесу. Стало заметно темнеть. Из лесу доносилось кукуканье кукушки и голосовые вздрагивания утомленного, вероятно, молодого соловья.

— Ау! ау! — услышали мы звонкий детский голосок, подходя к лесу. — Ловите меня!

И из лесу выбежала маленькая девочка, лет пяти, с белой, как лен, головкой и в голубом платье. Увидев нас, она звонко захохотала и, подпрыгивая, подскочила к Урбенину и обняла его колена. Урбенин поднял ее и поцеловал в щеку.

— Моя дочка Саша! — сказал он. — Рекомендую.

За Сашей гнался из лесу гимназист лет пятнадцати, сын Урбенина. Увидев нас, он в нерешимости снял шапку, надел и опять снял. За ним тихо двигалось красное пятно. Это пятно сразу приковало к себе наше внимание.

— Какое чудное видение! — воскликнул граф, хватая меня за руку. — Погляди! Какая прелесть! Что это за девочка? Я и не знал, что в моих лесах обитают такие наяды!

Я взглянул на Урбенина, чтобы спросить, что это за девушка, и, странно, только в этот момент заметил, что управляющий ужасно пьян. Он, красный как рак, покачнувшись и схватил меня за локоть.

— Сергей Петрович! — зашептал он мне на ухо, обдавая меня спиртными парами, — умоляю вас — удержите графа от дальнейших замечаний относительно этой девушки. Он по привычке может лишнее сказать, а это в высшей степени достойная особа!

«В высшей степени достойная особа» представляла из себя девятнадцатилетнюю девушку с прекрасной белокурой головкой, добрыми голубыми глазами и длинными кудрями. Она была в ярко-красном, полудетском, полудевическом платье. Стройные, как иглы, ножки в красных чулках сидели в крошечных, почти детских башмачках. Круглые плечи ее всё время, пока я любовался ею, кокетливо ежились, словно им было холодно и словно их кусал мой взгляд.

— При таком молодом лице и такие развитые формы! — шепнул мне граф, потерявший еще в самой ранней молодости способность уважать женщин и не глядеть на них с точки зрения испорченного животного.

У меня же, помню, затеплилось в груди хорошее чувство. Я был еще поэтом и в обществе лесов, майского вечера и начинающей мерцать вечерней звезды мог глядеть на женщину только поэтом... Я смотрел на девушку в красном с тем же благоговением, с каким привык глядеть на леса, горы, лазурное небо. У меня еще тогда осталась некоторая доля сентиментальности, полученной мною в наследство от моей матери-немки.

— Кто это? — спросил граф.

— Это дочь лесничего Скворцова, ваше сиятельство! — сказал Урбенин.

— Это та Оленька, о которой говорил одноглазый мужик?

— Да, он упомянул ее имя, — ответил управляющий, глядя на меня умоляющими, большими глазами.

Девушка в красном пропустила нас мимо себя, по-видимому, не обращая на нас ни малейшего внимания. Глаза ее глядели куда-то в сторону, но я, человек, знающий женщин, чувствовал на своем лице ее зрачки.

— Кто из них граф? — услышал я позади нас ее шёпот.

— Вот этот, с длинными усами, — отвечал гимназист.

И мы слышали сзади себя серебристый смех... То был смех разочарованной... Она думала, что граф, владелец этих громадных лесов и широкого озера — я, а не этот пигмей с испытанным лицом и длинными усами...

Я услышал глубокий вздох, выходящий из коренастой груди Урбенина. Железный человек еле двигался.

— Отпусти управляющего, — шепнул я графу. — Он болен или... пьян.

— Вы, кажется, больны, Петр Егорыч! — обратился граф к Урбенину. — Вы мне не нужны, а потому я вас не задерживаю.

— Не беспокойтесь, ваше сиятельство. Благодарю вас за ваше внимание, но я не болен.

Я оглянулся... Красное пятно не двигалось и глядело нам вслед...

Бедная белокурая головка! Думал ли я в этот тихий, полный покоя майский вечер, что она впоследствии будет героиней моего беспокойного романа?

Теперь, когда я пишу эти строки, в мои теплые окна злобно стучит осенний дождь и где-то надо мной воеет ветер. Я гляжу на темное окно и на фоне ночного мрака силюсь создать силою воображения мою милую героиню... И я вижу ее с ее невинно-детским, наивным, добрым личиком и любящими глазами. Мне хочется бросить перо и разорвать, сжечь то, что уже написано. К чему трогать память этого молодого, безгрешного существа?

Но тут же, около моей чернильницы, стоит ее фотографический портрет. Здесь белокурая головка представлена во всем суетном величии глубоко павшей красивой женщины. Глаза, утомленные, но гордые развратом, неподвижны. Здесь она именно та змея, вред от укушения которой Урбенин не назвал бы преувеличенным.

Она дала буре поцелуй, и буря сломала цветок у самого корня. Много взято, но зато слишком дорого и заплачено. Читатель простит ей ее грехи...

Мы пошли по лесу.

Сосны скучны своим молчаливым однообразием. Все они одинакового роста, похожи одна на другую и во все времена года сохраняют свой вид, не зная ни смерти, ни весеннего обновления. Но зато привлекательны они своею угрюмостью: неподвижны, бесшумны, словно унылую думу думают.

— Не воротиться ли нам? — предложил граф.

На этот вопрос не последовало ответа. Поляку было решительно всё равно, где бы ни быть, Урбенин не считал свой голос решающим, а я слишком обрадовался лесной прохладе и смолистому воздуху, чтобы повернуться назад. К тому же нужно было убить чем-нибудь, хотя бы простою прогулкой, время до ночи. Мысль о приближающейся дикой ночи сопровождалась сладким замиранием сердца. Я, стыдно сознаюсь, мечтал о ней и мысленно уже предвкушал ее наслаждение. А по тому нетерпению, с каким граф то и дело поглядывал на часы, видно было, что и его терзало ожидание. Мы чувствовали, что понимали друг друга.

Около домика лесничего, ютившегося между сосен на маленькой квадратной площадке, нас встретили со звонким, певучим лаем две маленькие собаки желто-огненного цвета, неизвестной мне породы, гибкие, как угри, и лоснящиеся. Узнав Урбенина, они весело замахали хвостами и побежали к нему, из чего можно было заключить, что управляющий часто посещал домик лесничего. Тут же около домика встретил нас какой-то парень без сапог и без шапки, с крупными веснушками на удивленном лице. Минуту он глядел на нас молча, выпучив глаза, потом же, узнав, вероятно, графа, ахнул и опрометью побежал в домик.

— Я знаю, зачем он побежал, — засмеялся граф. — Я его помню... Это Митька.

Граф не обознался. Меньше чем через минуту Митька вышел из домика, неся на подносе рюмку водки и полстакана воды.

— На доброе здоровье, ваше сиятельство! — сказал он, поднося и улыбаясь во всё свое глупое, удивленное лицо.

Граф выпил водку, «закусил» водой, но на этот раз не поморщился. В ста шагах от домика стояла чугунная скамья, такая же старая, как и сосны. Мы сели на нее и занялись созерцанием майского вечера во всей его тихой красоте... Над нашими головами с карканьем летали испуганные вороны, с разных сторон доносилось соловьиное пение; это только и нарушало всеобщую тишину.

Граф не умеет молчать даже в тихий весенний вечер, когда человеческий голос менее всего приятен.

— Я не знаю, останешься ли ты доволен? — обратился он ко мне. — Я заказал к ужину уху из ершей и

дичь. К водке будет холодная осетрина и поросенок с хреном.

Словно рассердясь на эту прозу, поэтические сосны вдруг зашевелили своими верхушками, и по лесу пронесся тихий ропот. Свежий ветерок пробежал по просеке и поиграл травой.

— Будет вам! — крикнул Урбенин собачонкам огненного цвета, мешавшим ему своими ласками закурить папиросу. — А мне сдается, что сегодня будет дождь. По воздуху чувствую. Сегодня была такая ужасная жара, что не нужно быть ученым профессором, чтобы предсказать дождь. Для хлеба будет хорошо.

«А на что тебе хлеб, — подумал я, — если его граф пропьет? Незачем дождю и трудиться».

По лесу еще раз пробежал ветерок, но на этот раз более резкий. Сосны и трава зароптали громче.

— Пойдемте домой.

Мы встали и лениво поплелись назад, к домику.

— Лучше быть этой белокурой Оленькой, — обратился я к Урбенину, — и жить здесь со зверями, чем судебным следователем и жить с людьми... Покойнее. Не правда ли, Петр Егорыч?

— Чем ни быть, лишь бы на душе было покойно, Сергей Петрович.

— А у этой хорошенькой Оленьки покойно на душе?

— Одному только богу ведома чужая душа, но мне кажется, что ей не из чего беспокоиться. Горя не много, грехов — как у малолетка... Это очень хорошая девушка! Но вот, наконец, и небо про дождь заговорило...

Послышался грохот не то далекого экипажа, не то игры в кегли... Прогремел где-то вдали за лесом гром... Митька, всё время следивший за нами, вздрогнул и быстро закрестился...

— Гроза! — встрепенулся граф. — Вот сюрприз! Этак нас дорогой дождь захватит... И темно как стало! Говорил: воротимся! Так нет, дальше пошел...

— Мы в домике грозу переждем, — предложил я.

— Зачем же в домике? — заговорил Урбенин, как-то странно мигая глазами. — Дождь будет идти всю ночь, так и вы всю ночь в домике просидите? А вы не извольте беспокоиться... Идите себе, а Митька побежит вперед, экипаж вам навстречу вышлет.

— Ничего, авось и не всю ночь дождь будет хлестать... Грозовые тучи обыкновенно скоро проходят... Кстати же я незнаком еще с новым лесничим, и хотелось бы с этой Оленькой поболтать... узнать, что за птичка...

— Я не прочь! — согласился граф.

— Но как вы туда пойдете, ежели... ежели там того... не прибрано? — залепетал встревоженно Урбенин. — Просидеть там в духоте, ваше сиятельство, в то время, когда дома быть можно... Не понимаю, что за удовольствие!.. А знакомиться с лесничим, ежели он болен...

Очевидно было, что управляющему сильно не хотелось, чтобы мы вошли в домик лесничего. Он даже растопырил руки, точно желая загородить нам дорогу... Я понял по его лицу, что у него были причины не впускать нас. Уважаю я чужие причины и тайны, но на этот раз меня сильно подстрекнуло любопытство. Я настоял, и мы вошли в домик.

— В зал пожалуйте! — не сказал, а как-то особенно икнул, захлебываясь от радости, босой Митька...

Представьте вы себе самый маленький в мире зал с некрашеными деревянными стенами. Стены увешаны олеографиями «Нивы», фотографиями в раковинных, или, как они у нас называются, ракушковых рамках и аттестатами... Один аттестат — благодарность какого-то барона за долголетнюю службу, остальные — лошадиные... Кое-где по стенам вьется плющ... В углу перед маленьким образом тихо теплится и слабо отражается в серебряной оправе синий огонек. У стен жмутся стулья, по-видимому, недавно купленные... Куплено много лишних, но и их поставили: девать некуда... Тут же теснятся кресла с диваном в белоснежных чехлах с оборками и кружевами и круглый лакированный стол. На диване дремлет ручной заяц... Уютно, чистенько и тепло... На всем заметно присутствие женщины. Даже этажерочка с книгами глядит как-то невинно, по-женски, словно ей так и хочется сказать, что на ней нет ничего, кроме слабеньких романов и смиренных стихов... Прелесть таких уютных, теплых комнаток чувствуется не так весною, как осенью, когда ищешь приюта от холода, сырости...

Митька с шумом, сопя, дуя и громко чиркая спичками, зажег две свечи и осторожно, как молоко, поставил их на стол. Мы сели на кресла, переглянулись и засмеялись...

— Николай Ефимыч больной лежит, — пояснил отсутствие хозяев Урбенин, — а Ольга Николаевна, должно быть, моих детей пошла провожать...

— Митька, двери заперты? — услышали мы слабый тенор из соседней комнаты.

— Заперты-с, Николай Ефимыч! — прохрипел Митька и полетел опрометью в соседнюю комнату.

— То-то... Смотри, чтобы все заперты были... — сказал тот же слабый голос. — На ключ, крепко-накрепко... Если воры будут лезть, то ты мне скажешь... Я их, мерзавцев, ружьем... подлецов этаких...

— Беспременно-с, Николай Ефимыч!

Мы засмеялись и вопросительно поглядели на Урбенина. Тот покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, начал поправлять на окне занавеску... Что сей сон значил? Мы опять переглянулись.

Но недоумевать было некогда. На дворе послышались поспешные шаги, затем шум на крыльце и хлопанье дверью. В «зал» влетела девушка в красном.

— «Люб-лю гро-зу в на-ча-ле мая!» — запела она высоким, визжащим сопрано, прерывая свой визг смехом, но, увидев нас, она вдруг остановилась и умолкла.

Она сконфузилась и тихо, как овечка, пошла в комнату, откуда только что слышался голос ее отца, Николая Ефимыча.

— Не ожидала! — усмехнулся Урбенин.

Через несколько времени она тихо вошла, села на стул, ближайший к двери, и стала нас рассматривать. Смотрела она на нас смело, в упор, словно мы были не новые для нее люди, а животные зоологического сада. Минуту и мы глядели на нее молча, не двигаясь... Я согласился бы и год просидеть неподвижно и глядеть на нее — до того хороша она была в этот вечер. Свежий, как воздух, румянец, часто дышащая, поднимающаяся грудь, кудри, разбросанные на лоб, на плечи, на правую руку, поправляющую воротничок, большие блестящие глаза... всё это на одном маленьком теле, поглощаемое одним взглядом... Поглядишь один раз на это маленькое пространство и увидишь больше, чем если бы глядел целые века на нескончаемый горизонт... На меня глядела она серьезно, снизу вверх, вопрошающе; когда же ее глаза переходили с меня на графа или поляка, то я начинал читать в них обратное: взгляд сверху вниз и смех...

Первый заговорил я.

— Рекомендуюсь, — сказал я, вставая и подходя к ней, — Зиновьев... А это, рекомендую, мой друг, граф Карнеев... Просим прощения, что без приглашения вломились в ваш хорошенький домик... Мы, конечно, не сделали бы этого, если бы нас не загнала гроза...

— Но ведь от этого не развалится наш домик! — сказала она, смеясь и подавая мне руку.

Она показала мне прелестные зубы. Я сел рядом с ней на стул и рассказал ей о том, как неожиданно встретилась на нашем пути гроза. Начался разговор о погоде — начале всех начал. Пока мы с ней беседовали, Митька уже успел два раза поднести графу водки и неразлучной с ней воды... Пользуясь тем, что я на него не смотрю, граф после обеих рюмок сладко поморщился и покачал головой.

— Вы, может быть, закусить желаете? — спросила меня Оленька и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты...

Первые капли застучали по стеклам... Я подошел к окну... Было уже совсем темно, и сквозь стекло я не увидел ничего, кроме ползущих вниз дождевых капель и отражения собственного носа. Блеснул свет от молнии и осветил несколько ближайших сосен...

— Двери заперты? — услышал я опять слабый тенор. — Митька, поди, подлая твоя душа, запри двери! Мучение мое, господи!

Баба с двойным, перетянутым животом и с глупым озабоченным лицом вошла в зал, низко поклонилась графу и покрыла стол белой скатертью. За ней осторожно двигался Митька, неся закуски. Через минуту на столе стояли водка, ром, сыр и тарелка с какой-то жареной птицей. Граф выпил рюмку водки, но есть не стал. Поляк недоверчиво понюхал птицу и принялся ее резать.

— Уже начался дождь! Поглядите! — сказал я вошедшей Оленьке.

Девушка в красном подошла к моему окну, и в это самое время нас осветило на мгновение белым сиянием... Раздался наверху треск, и мне показалось, что что-то большое, тяжелое сорвалось на небе с места и с грохотом покатилося на землю... Оконные стекла и рюмки, стоявшие перед графом, содрогнулись и издали свой стеклянный звук... Удар был сильный...

— Вы боитесь грозы? — спросил я Оленьку.

Та прижала щеку к круглому плечу и поглядела на меня детски доверчиво.

— Боюсь, — прошептала она, немного подумав. — Гроза убила у меня мою мать... В газетах даже писали об этом... Моя мать шла по полю и плакала... Ей очень горько жилось на этом свете... Бог сжалился над ней и убил со своим небесным электричеством.

— Откуда вы знаете, что там электричество?

— Я училась... Вы знаете? Убитые грозой и на войне и умершие от тяжелых родов попадают в рай... Этого нигде не написано в книгах, но это верно. Мать моя теперь в раю. Мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь и что и я буду в раю... Вы образованный человек?

— Да...

— Стало быть, вы не будете смеяться... Мне вот как хотелось бы умереть. Одеться в самое дорогое, модное платье, какое я на днях видела на здешней богачке, помещице Шеффер, надеть на руки браслеты... Потом стать на самый верх Каменной Могилы и дать себя убить молнии так, чтобы все люди видели... Страшный гром, знаете, и конец...

— Какая дикая фантазия! — усмехнулся я, заглядывая в глаза, полные священного ужаса перед

страшной, но эффектной смертью. — А в обыкновенном платье вы не хотите умирать?

— Нет... — покачала головой Оленька. — И так, чтобы все люди видели.

— Ваше теперешнее платье лучше всяких модных и дорогих платьев... Оно идет к вам. В нем вы похожи на красный цветок зеленого леса.

— Нет, это неправда! — наивно вздохнула Оленька. — Это платье дешевое, не может быть оно хорошим.

К нашему окну подошел граф с явным намерением поговорить с хорошенькой Оленькой. Мой друг говорит на трех европейских языках, но не умеет говорить с женщинами. Он как-то некстати постоял около нас, нелепо улыбнулся, промычал «мда» и отошел вспять, к графину с водкой.

— Вы, когда входили сюда в комнату, — сказал я Оленьке, — пели «Люблю грозу в начале мая». Разве эти стихи переложены на песню?

— Нет, я пою по-своему все стихи, какие только знаю.

Я случайно оглянулся назад. На нас глядел Урбенин. В глазах его я прочел ненависть, злобу, которые вовсе не идут к его доброму, мягкому лицу.

«Ревнует он, что ли?» — подумал я.

Бедняга, уловив мой вопросительный взгляд, поднялся со стула и пошел зачем-то в переднюю... Даже по его походке было заметно, что он был взволнован. Удары грома, один другого сильнее и раскатистее, стали повторяться всё чаще и чаще... Молния беспрерывно красила в свой приятный, ослепительный свет небо, и сосны, и мокрую почву... До конца дождя было еще далеко. Я отошел от окна к этажерке с книгами и занялся осмотром Оленькиной библиотеки. «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты», — но из добра, симметрично покоившегося на этажерке, трудно было вывести какое бы то ни было заключение об умственном уровне и «образовательном цензе» Оленьки. Тут была какая-то странная смесь. Три хрестоматии, одна книжка Борна, задачник Евтушевского, второй том Лермонтова, Шкляревский, журнал «Дело», поваренная книга, «Складчина»... Я мог бы насчитать вам еще более книг, но в то время, когда я взял с этажерки «Складчину» и начал ее перелистывать, дверь из другой комнаты отворилась, и в зал вошел субъект, сразу отвлекший мое внимание от Оленькиного образовательного ценза. Это был высокий жилистый человек в ситцевом халате и порванных туфлях, с достаточно оригинальным лицом. Лицо его, исписанное синими жилочками, было украшено фельдфебельскими усами и бачками и в общем напоминало птичью физиономию. Всё лицо было вытянуто вперед, словно стремилось к кончику носа... Такие лица называются, кажется, «кувшинными рылами». Маленькая головка этого субъекта сидела на длинной худощавой шейке с большим кадыком и покачивалась, как скворечня на ветре... Станный человек обвел нас мутными, зелеными глазами и уставился на графа...

— Двери заперты? — спросил он умоляющим голосом.

Граф поглядел на меня и пожал плечами...

— Не беспокойся, папаша! — сказала Оленька. — Всё заперто... Иди в свою комнату!

— А сарай заперт?

— Он немножко тово... трогается иногда, — шепнул Урбенин, показываясь из передней. — Боится воров и вот, как видите, всё насчет дверей хлопочет... Николай Ефимыч, — обратился он к странному субъекту, — иди к себе в комнату и ложись спать! Не беспокойся, всё заперто!

— А окна заперты?

Николай Ефимыч быстро обегал все окна, попробовал их запоры и, не взглянув на нас, зашаркал туфлями в свою комнату.

— Находит на него иногда, на беднягу, — начал пояснять по его уходе Урбенин. — Хороший, славный такой человек, знаете ли, семейный — и этакая напасть! Чуть ли не каждое лето в уме мешается...

Я посмотрел на Оленьку. Та конфузливо, спрятав от нас свое лицо, приводила в порядок свои потревоженные книги. Ей, по-видимому, стыдно было за своего сумасшедшего отца.

— А экипаж приехал, ваше сиятельство! — сказал Урбенин. — Можете ехать, если желаете!

— Откуда же этот экипаж взялся? — спросил я.

— Я посылал за ним...

Через минуту я сидел с графом в карете, слушал раскаты грома и злился...

— Выжил-таки нас из домика этот Петр Егорыч, чёрт его возьми! — ворчал я, не на шутку рассердясь. — Так и не дал разглядеть эту Оленьку! Я не съел бы ее у него... Старый дурак! Всё время от ревности лопался... Он влюблен в эту девочку...

— Да, да, да... Представь, и я это заметил! И не впускал он нас в домик только из ревности и за экипажем послал из ревности... Ха-ха!

— Седина в бороде, а бес в ребро... Впрочем, брат, трудно не влюбиться в эту девушку в красном, видя ее каждый день такой, какой мы ее сегодня видели! Чертовски хорошенькая! Только не по его рылу она... Он должен это понимать и не ревновать так эгоистически... Люби, но не мешай и другим, тем более, что знаешь,

что она не про тебя писана... Этаким ведь старый болван!

— Помнишь, как он вскипел, когда Кузьма за чаем упомянул ее имя? — хихикнул граф. — Я думал, что он всех нас побьет тогда... Так горячо не заступаются за честное имя женщины, к которой равнодушны...

— Заступаются, брат... Но дело не в этом... Важно вот что... Если он нами так командовал сегодня, то что выделяет он с маленькими людьми, с теми, которые находятся в его распоряжении! Небось, ключникам, экономам, охотникам и прочим малым лира сего и подступиться к ней не дает! Любовь и ревность делают человека несправедливым, бессердечным, человеконенавистником... Держу пари, что он заел уж из-за этой Оленьки не одного служащего под его начальством. Умно поэтому сделаешь, если будешь давать поменьше веры его жалобам на служащих и докладам о необходимости изгнания того или другого. Вообще на время ограничь его власть... Любовь пройдет — ну, тогда нечего будет бояться. Он добрый и честный малый...

— А как тебе нравится ее папенька? — засмеялся граф.

— Сумасшедший... Ему нужно в сумасшедшем доме сидеть, а не лесами заведовать... Вообще не солжешь, если на воротах своей усадьбы повесишь вывеску: «Сумасшедший дом»... У тебя здесь настоящий Бедлам! Лесничий этот, Сычиха, Франц, помешанный на картах, влюбленный старик, экзальтированная девушка, спившийся граф... чего лучше?

— А ведь этот лесничий жалованье получает! Как же он служит, если он сумасшедший?

— Очевидно, Урбенин держит его только из-за дочери... Урбенин говорит, что на Николая Ефимыча находит почти каждое лето... Но это едва ли... Не каждое лето, а постоянно болен этот лесничий... К счастью, твой Петр Егорыч редко лжет и выдает себя, если соврет что-нибудь...

— В прошлом году Урбенин уведомлял меня, что старый лесничий Ахметьев едет в монахи на Афон, и рекомендовал мне «опытного, честного и заслуженного» Скворцова... Я, конечно, дал согласие, как и всегда его даю. Письма ведь не лица: не выдают себя, если лгут.

Карета въехала во двор и остановилась у подъезда. Мы вышли из нее. Дождь уже прошел. Грозовая туча, сверкая молниями и издавая сердитый ропот, спешила на северо-восток, всё более и более открывая голубое, звездное небо. Казалось, тяжело вооруженная сила, произведя опустошения и взявши страшную дань, стремилась к новым победам... Отставшие тучки гнались за ней и спешили, словно боялись не догнать... Природа получала обратно свой мир...

И этот мир чудился в тихом ароматном воздухе, полном неги и соловьиных мелодий, в молчании спящего сада, в ласкающем свете поднимающейся луны... Озеро проснулось после дневного сна и легким ворчаньем давало знать о себе человеческому слуху...

В такое время хорошо кататься по полю в покойной коляске или работать на озере веслами... Но мы пошли в дом... Там нас ожидала иного рода «поэзия».

Самоубийцей называется тот, кто, под влиянием психической боли или угнетаемой невыносимым страданием, пускает себе пулю в лоб; для тех же, кто дает волю своим жалким, опошляющим душу страстям в святые дни весны и молодости, нет названия на человеческом языке. За пулей следует могильный покой, за погубленной молодостью следуют годы скорби и мучительных воспоминаний. Кто профанировал свою весну, тот понимает теперешнее состояние моей души. Я еще не стар, не сед, но я уже не живу. Психиатры рассказывают, что один солдат, раненный при Ватерлоо, сошел с ума и впоследствии уверял всех и сам в то верил, что он убит при Ватерлоо, а что то, что теперь считают за него, есть только его тень, отражение прошлого. Нечто похожее на эту полусмерть переживаю теперь и я...

— Я очень рад, что ты ничего не ел у лесничего и не испортил себе аппетита, — сказал мне граф, когда мы входили в дом. — Мы отлично поужинаем... по-старому... Подавать! — приказал он Илье, стаскивавшему с него сюртук и надевавшему халат.

Мы отправились в столовую. Тут, на сервированном столе, уже «кипела жизнь». Бутылки всех цветов и всевозможного роста стояли рядами, как на полках в театральных буфетах, и, отражая в себе ламповый свет, ждали нашего внимания. Соленая, маринованная и всякая другая закуска стояла на другом столе с графином водки и английской горькой. Около же винных бутылок стояли два блюда: одно с поросенком, другое с холодной осетриной...

— Ну-с... — начал граф, наливая три рюмки и пожимаясь, как от холода. — Будем здоровы! Бери свою рюмку, Каэтан Казимирович!

Я выпил, поляк же отрицательно покачал головой. Он придвинул к себе осетрину, понюхал ее и начал есть.

Прошу извинения у читателя. Сейчас мне придется описывать совсем не «романтическое».

— Ну-с... они выпили по другой, — сказал граф, наливая вторые рюмки. — Дерзай, Лекок!

Я взял свою рюмку, поглядел на нее и поставил...

— Чёрт возьми, давно уже я не пил, — сказал я. — Не вспомнить ли старину? — И, не долго думая, я налил пять рюмок и одну за другой опрокинул себе в рот. Иначе я не умел пить. Маленькие школьники

учатся у больших курить папиросы: граф, глядя на меня, налил себе пять рюмок и, согнувшись дугой, сморщившись и качая головой, выпил их. Мои пять рюмок показались ему ухарством, но я пил вовсе не для того, чтобы прихвастнуть талантом пить... Мне хотелось опьянения, хорошего, сильного опьянения, какого я давно уже не испытывал, живя у себя в деревеньке. Выпивши, я сел за стол и принялся за поросенка...

Опьянение не заставило долго ждать себя. Скоро я почувствовал легкое головокружение. В груди заиграл приятный холодок — начало счастливого, экспансивного состояния. Мне вдруг, без особенно заметного перехода, стало ужасно весело. Чувство пустоты, скуки уступило свое место ощущению полного веселья, радости. Я начал улыбаться. Захотелось мне вдруг болтовни, смеха, людей. Жуя поросенка, я стал чувствовать полноту жизни, чуть ли не самое довольство жизнью, чуть ли не счастье.

— Отчего же вы ничего не выпьете? — обратился я к поляку.

— Он ничего не пьет, — сказал граф. — Ты не принуждай его.

— Но все-таки хоть что-нибудь да пьете же!

Поляк положил себе в рот большой кусок осетрины и отрицательно покачал головой. Молчание его меня подзадорило.

— Послушайте, Каэтан... как вас по батюшке... отчего вы всё молчите? — спросил я его. — Я не имел еще удовольствия слышать вашего голоса.

Две брови его, похожие на летящую ласточку, поднялись, и он поглядел на меня.

— А вам желательно, чтоб я говорил? — спросил он с сильным польским акцентом.

— Весьма желательно.

— А на что вам?

— Помилуйте! На пароходах за обедом чужие и незнакомые люди поднимают между собой разговор, а мы с вами знакомы уже несколько часов, рассматриваем друг друга и не проговорили между собой еще ни одного слова! На что это похоже?

Поляк молчал.

— Отчего же вы молчите? — спросил я, обождав немного. — Ответьте что-нибудь!

— Я не желаю отвечать вам. В вашем голосе я слышу смех, а я не люблю насмешек.

— Он нисколько не смеется! — встревожился граф. — Откуда это ты взял, Каэтан? Он дружески...

— Со мной графы и князья не говорили таким тоном! — сказал Каэтан, хмурясь. — Я не люблю такого тона.

— Стало быть, не удостоите беседой? — продолжал я приставать, выпивая еще рюмку и смеясь.

— Знаешь, зачем собственно я приехал сюда? — перебил граф, желая переменить разговор. — Я тебе не говорил еще об этом? Прихожу я в Петербурге к одному знакомому доктору, у которого я лечусь постоянно, и жалуюсь на свою болезнь. Он выслушал, выстукал, ощупал, знаешь ли, всего и говорит: «Вы не трус?» Я хоть не трус, но, знаешь, побледнел: «Не трус», — говорю.

— Короче, брат... Надоело.

— Предсказал скорую смерть, если я не оставлю Петербурга и не уеду! У меня вся печень испорчена от долгого питья... Я и решил ехать сюда. Да и глупо там сидеть... Здесь именье такое роскошное, богатое... Климат один чего стоит!.. Делом, по крайней мере, можно заняться! Труд самое лучшее, самое радикальное лекарство. Не правда ли, Каэтан? Займусь хозяйством и брошу пить... Доктор не велел мне ни одной рюмки... ни одной!

— Ну, и не пей.

— Я и не пью... Сегодня в последний раз, ради свидания с тобой (граф потянулся ко мне и чмокнул меня в щеку)... с моим милым, хорошим другом, завтра же — ни капли! Бахус прощается сегодня со мной навеки... На прощанье, Сережа, коньячку... выпьем?

Мы выпили коньяку.

— Вылечусь, Сережа-голубчик, и займусь хозяйством... Рациональным хозяйством! Урбенин — добрый, милый... понимает всё, но разве он хозяин? Он рутинер! Надо журналы выписывать, читать, следить за всем, участвовать на сельскохозяйственных выставках, а он необразован для этого! В Оленьку... неужели он влюблен? Ха-ха! Я сам займусь, а его помощником своим сделаю... В выборах буду участвовать, общество веселить... а? Ведь и тут можно счастливо прожить! Ты как думаешь? Ну, вот ты уж и смеешься! Уж и смеешься! Право, с тобой нельзя ни о чем говорить!

Мне было весело, смешно. Смешил меня граф, смешили свечи, бутылки, лепные зайцы и утки, украшавшие стены столовой... Не смешила меня одна только трезвая физиономия Каэтана Казимировича. Присутствие этого человека раздражало меня.

— Нельзя ли этого шляхтича к чёрту? — шепнул я графу.

— Что ты! Ради бога... — залепетал граф, хватая меня за обе руки, словно я собирался колотить его поляка. — Пусть себе сидит!

— Но я не могу его видеть! Послушайте! — обратился я к Пшехоцкому. — Вы отказались со мной

говорить, но, простите меня, я не потерял еще надежды покороче познакомиться с вашей разговорной способностью...

— Оставь! — дернул меня граф за рукав. — Умоляю!

— Я буду приставать к вам до тех пор, пока вы не станете отвечать мне, — продолжал я. — Что вы хмуритесь? Нешто и теперь слышите в моем голосе смех?

— Если б я выпил столько, сколько вы, то я стал бы с вами разговаривать, а то мы с вами не пара... — проворчал поляк.

— Мы с вами не пара, что и требовалось доказать... Я хотел сказать именно то же самое... Гусь свинье не товарищ, пьяный трезвому не родня... Пьяный мешает трезвому, трезвый пьяному. В соседней гостиной есть отличные мягкие диваны! На них хорошо полежать после осетринки с хреном. Туда не слышен мой голос. Не желаете ли вы туда отправиться?

Граф всплеснул руками и, мигая глазами, заходил по столовой.

Он трус и боится «крупных» разговоров... Меня же, когда я бывал пьян, тешили недоразумения и неудовольствия...

— Я не понимаю! Я не по-нимаю! — простонал граф, не зная, что сказать и что предпринять...

Он знал, что меня трудно было остановить.

— Я с вами еще мало знаком, — продолжал я, — может быть, вы прекраснейший человек, а потому мне и не хотелось бы с вами спозаранку ссориться... Я не ссорюсь с вами... Я приглашаю вас только понять, что трезвым не место среди пьяных... Присутствие трезвого действует раздражающе на пьяный организм!.. Поймите вы это!

— Говорите, что вам угодно! — вздохнул Пшехоцкий. — Меня ничем не проймете, молодой человек...

— Будто бы ничем? А если я назову вас упрямой свиньей, вы тоже не обидитесь?

Поляк покраснел — и только. Граф, бледный, подошел ко мне, сделал умоляющее лицо и развел руками.

— Ну, прошу тебя! Умерь свой язык!

Я вошел уже в свою пьяную роль и хотел продолжать, но на счастье графа и поляка послышались шаги и в столовую вошел Урбенин.

— Приятного аппетита! — начал он. — Я пришел узнать, ваше сиятельство, не будет ли каких приказаний?

— Приказаний пока нет, а просьба есть... — отвечал граф. — Очень рад, что вы пришли, Петр Егорыч... Садитесь с нами ужинать и давайте толковать о хозяйстве...

Урбенин сел. Граф выпил коньяку и начал излагать ему план своих будущих действий в области рационального хозяйства. Говорил он долго, утомительно, то и дело повторяясь и меняя тему. Урбенин слушал его, как серьезные люди слушают болтовню детей и женщин, лениво и внимательно... Он ел ершовую уху и печально глядел в свою тарелку.

— Я привез с собой прекрасные чертежи! — сказал, между прочим, граф. — Замечательные чертежи! Хотите, я вам покажу?

Карнеев вскочил и побежал к себе в кабинет за чертежами. Урбенин, пользуясь его отсутствием, быстро налил себе пол чайного стакана водки, выпил и не закусил.

— Противная эта водка! — сказал он, глядя с ненавистью на графин.

— Отчего вы при графе не пьете, Петр Егорыч? — спросил я его. — Неужто вы боитесь?

— Лучше, Сергей Петрович, лицемерить и пить тайком, чем пить при графе. Вы знаете, у графа странный характер... Украдь я у него заведомо двадцать тысяч, он ничего, по своей беспечности, не скажет, а забудь я дать ему отчет в потраченном гривеннике или выпей при нем водки, он начнет плакаться, что у него разбойник-управляющий. Вы его хорошо знаете.

Урбенин налил себе еще полстакана и выпил.

— Вы, кажется, прежде не пили, Петр Егорыч, — сказал я.

— Да, а теперь пью... Ужасно пью! — шепнул он. — Ужасно, день и ночь, не давая себе ни минуты отдыха! И граф никогда не пил в такой мере, в какой я теперь пью... Ужасно тяжело, Сергей Петрович! Одному только богу ведомо, как тяжело у меня на сердце! Уж именно, что с горя пью... Я вас всегда любил и уважал, Сергей Петрович, и откровенно вам скажу... повеситься рад бы!

— Отчего же это?

— Глупость моя... Не одни только дети бывают глупы... Бывают дураки и в пятьдесят лет. Причин не спрашивайте.

Вошел граф и прекратил его излияния.

— Отличнейший ликер! — сказал он, ставя на стол вместо «замечательных» чертежей, пузатую бутылку с сургучной печатью бенедиктинцев. — Проездом через Москву у Дебре взял. Не желаешь ли, Сережа?

— Ты ведь, кажется, за чертежами ходил! — сказал я.

— Я? За какими чертежами? Ах, да! Но, брат, сам чёрт ничего не разберет в моих чемоданах... Рылся-рылся и бросил... Ликер очень мил. Не хочешь ли?

Урбенин посидел еще немного, простился и вышел. По уходе его мы принялись за красное. Это вино окончательно меня разобрало. Получилось опьянение, какого я именно и хотел, когда ехал к графу. Я стал чрезмерно бодр душою, подвижен, необычайно весел. Мне захотелось подвига неестественного, смешного, пускающего пыль в глаза... В эти минуты, мне казалось, я мог бы переплыть всё озеро, открыть самое запутанное дело, победить любую женщину... Мир с его жизнями приводил меня в восторг, я любил его, но в то же время хотелось придирааться, жечь ядовитыми остротами, издеваться... Смешного чернобрового поляка и графа нужно было осмеять, заездить едкой остротой, обратить в порошок.

— Что же вы молчите? — начал я. — Говорите, я слушаю вас! Ха-ха! Я ужасно люблю, когда люди с серьезными, солидными физиономиями говорят детскую чушь!.. Это такая насмешка, такая насмешка над человеческими мозгами!.. Лица не соответствуют мозгам! Чтобы не лгать, надо иметь идиотскую физиономию, а у вас лица греческих мудрецов!

Я не кончил... Язык у меня запутался от мысли, что я говорю с людьми ничтожными, не стоящими и полуслова! Мне нужна была зала, полная людей, блестящих женщин, тысячи огней... Я поднялся, взял свой стакан и пошел ходить по комнатам. Когда мы кутим, мы не стесняем себя пространством, не ограничиваемся одной только столовой, а берем весь дом и часто даже всю усадьбу...

В «мозаиковой» гостиной я выбрал себе турецкую софу, лег на нее и отдал себя во власть фантазий и воздушных замков. Мечты пьяные, но одна другой грандиознее и безграничнее, охватили мой молодой мозг... Получился новый мир, полный одуряющей прелести и не поддающихся описанию красот.

Недоставало только, чтоб я заговорил рифмами и стал видеть галлюцинации.

Граф подошел ко мне и сел на край софы... Ему хотелось что-то сказать мне. Это желание сообщить мне что-то особенное я начал читать в его глазах уже вскоре после вышеописанных пяти рюмок. Я знал, о чем он хотел говорить...

— Как я много выпил сегодня! — сказал он мне. — Это для меня вреднее всякого яда... Но сегодня в последний раз... Честное слово, в последний раз... У меня есть воля...

— Ладно, ладно...

— В последний... Сережа, друг, в последний раз не послать ли в город телеграмму?

— Пожалуй, пошли...

— Кутнем уж в последний раз как следует... Ну, встань же, напиши... — Сам граф не умеет писать телеграмм. У него выходят слишком длинные и неполны. Я поднялся и написал:

«С... Ресторан «Лондон». Содержателю хора Карпову. Оставить всё и ехать немедленно с двухчасовым поездом. Граф».

— Теперь без четверти одиннадцать, — сказал граф. Человек будет скакать до станции три четверти часа, максимум час... Телеграмму получит Карпов в первом часу... На поезд, стало быть, поспеет... Если на этот не поспеет, то приедет с товарным... Да?

Телеграмма была послана с одноглазым Кузьмой... Илье было приказано, чтобы через час были посланы экипажи на станцию... Я, чтоб убить чем-нибудь время, начал медленно зажигать лампы и свечи во всех комнатах, затем отпер рояль и попробовал клавиши...

Затем, помню, я лежал на той же софе, ни о чем не думал и молча отстранял рукой пристававшего с разговорами графа... Был я в каком-то забытьи, полудремоте, чувствуя только яркий свет ламп и веселое, покойное настроение... Образ девушки в красном, склонившей головку на плечо, с глазами, полными ужаса перед эффектною смертью, постоял передо мной и тихо погрозил мне маленьким пальцем... Образ другой девушки, в черном платье и с бледным, гордым лицом, прошел мимо и поглядел на меня не то с мольбой, не то с укоризной.

Далее я слышал шум, смех, беготню... Черные, глубокие глаза заслонили мне свет. Я видел их блеск, их смех... На сочных губах играла радостная улыбка... То улыбалась моя цыганка Тина...

— Это ты? — спросил ее голос. — Ты спишь? Вставай, милый... Я давно уже тебя не видела...

Я молча пожал ей руку и привлек ее к себе...

— Пойдем же туда... Все наши приехали...

— Останься... Мне тут хорошо, Тина...

— Но... здесь много света... Ты сумасшедший... Могут войти...

— Кто войдет, тому я сверну шею... Мне хорошо, Тина... Два года уже прошло, как я тебя не видел...

В зале заиграли на рояле.

Ах, Москва, Москва,
Москва... белокаменная...

— заорало несколько голосов...

— Видишь, они все поют там... Никто не войдет...

— Да, да...

Свидание с Тиной вывело меня из забытья... Через десять минут она ввела меня в залу, где полукругом стоял хор... Граф сидел верхом на стуле и отбивал руками такт... Пшехоцкий стоял позади его стула и удивленными глазами глядел на певчих птиц... Я вырвал из рук Карпова его балалайку, махнул рукой и затащил...

Вниз по ма-а-атушке... па-а-а Во-о-о...

Па-а В-о-о-о-лге...

— подхватил хор...

Ай, жги, говори... говори...

Я махнул рукой, и мгновенно, с быстротой молнии наступил новый переход...

Ночи безумные, ночи веселые...

Ничто так раздражающе и щекочуще не действует на мои нервы, как подобные резкие переходы. Я задрожал от восторга и, охватив Тину одной рукой, а другой махая в воздухе балалайкой, допел до конца «Ночи безумные»... Балалайка с треском ударилась о пол и разлетелась на мелкие щепки...

— Вина!

Далее мои воспоминания приближаются к хаосу... Всё перемешалось, спуталось, всё мутно, неясно... Помню я серое небо раннего утра... Мы едем на лодках... Озеро слегка волнуется и словно ворчит, глядя на наши дебоширства... Я стою посередине лодки и качаюсь... Тина уверяет меня, что я могу упасть в воду, и просит сесть... Я же громко изъясляю сожаление, что на озере нет таких высоких волн, как Каменная Могила, и пугаю своим криком мартынов, мелькающих белыми пятнами на синей поверхности озера. Далее следует длинный жаркий день с его нескончаемыми завтраками, десятилетними наливками, пуншами, дебошем... Из этого дня к помню только несколько моментов... Я помню себя качающимся с Тиной в саду на качелях. Я стою на одном конце доски, она на другом. Я работаю всем своим туловищем с ожесточением, насколько хватает у меня сил, и сам не знаю, что именно мне нужно: чтобы Тина сорвалась с качелей и убила или же чтоб она взлетела под самые облака? Тина стоит бледная как смерть, но, гордая и самолюбивая, она стиснула зубы, чтобы ни одним звуком не выдать своего страха. Мы взлетаем всё выше и выше и... не помню, чем кончилось. Далее следует прогулка с Тиной в далекую аллею с зеленым сводом, скрывающим от солнца. Поэтический полумрак, черные косы, сочные губы, шёпот... Затем рядом со мной идет маленькое контральто, блондинка с острым носиком, детскими глазками и очень тонкой талией. Я гуляю с ней до тех пор, пока Тина, проследив нас, не делает мне сцены... Цыганка бледна, взбешена... Она называет меня «проклятым» и, обиженная, собирается уехать в город. Граф, бледный, с дрожащими руками, бегаёт около нас и, по обыкновению, не находит слов, чтоб уговорить Тину остаться... Та в конце концов даёт мне пощечину... Странно: я прихожу в бешенство от малейшего, едва оскорбительного слова, сказанного женщиной, и совершенно индифферентен к пощечинам, которые дают мне женщины... Опять длинное «после обеда», опять змея на лестнице, опять спящий Франц с мухами около рта, опять калитка... Девушка в красном стоит на Каменной Могиле, но, завидев нас, исчезает, как ящерица.

К вечеру мы опять друзья с Тиной. За вечером следует та же буйная ночь, с музыкой, залихватским пением, с щекочущими нервы переходами... и ни одной минуты сна!

— Это самоистребление! — шепнул мне Урбенин, зашедший на минутку послушать наше пение...

Он, конечно, прав. Далее, помню, я и граф стоны в саду друг против друга и спорим. Около нас прохаживается чернобровый Казтан, всё время не принимавший никакого участия в нашем веселье, но, тем не менее, не спавший и ходивший всё время за нами, как тень... Небо уже бело, и на верхушке самого высокого дерева уже начинают золотиться лучи восходящего солнца. Кругом возня воробьев, пеньё скворцов, шелест, хлопанье отяжелевших за ночь крыльев... Слышно мычанье стада и крики пастухов. Около нас столик с мраморной доской. На столике свеча Шандора с бледным огнем. Окурки, бумажки от конфет, разбитые рюмки, апельсиновые корки...

— Ты должен это взять! — говорю я, подавая графу пачку кредитных билетов. — Я заставлю тебя взять!

— Ведь я же их приглашал, а не ты! — убеждает граф, стараясь уловить мою пуговицу. — Я здесь хозяин... я угощал тебя, — с какой же стати тебе платить? Пойми, что ты даже оскорбляешь меня этим!

— Я тоже нанимал их, потому плачу половину. Не берешь? Не понимаю этого одолжения! Неужели ты думаешь, что если ты богат, как дьявол, то имеешь право делать мне такие одолжения? Чёрт возьми, я нанимал Карпова, я ему и заплачу! Не нужно твоей половины! Я писал телеграмму!

— В ресторане, Сережа, ты можешь платить, сколько тебе угодно, в моем же доме не ресторан... И потом я решительно не понимаю, из-за чего ты хлопочешь, не понимаю твоей прыти. У тебя мало денег, у меня же добра этого куры не клюют... Сама справедливость на моей стороне!

— Так ты не возьмешь? Нет? Не нужно...

Я подношу к бледному огню Шандора кредитные бумажки, зажигаю их и бросаю на землю. Из груди Каэтана вдруг вырывается стон. Он делает большие глаза, бледнеет и падает своим тяжелым телом на землю, стараясь затушить ладонями огонь на деньгах... Это ему удается.

— Я не понимаю! — говорит он, кладя в карман обожженные кредитки. — Жечь деньги?! Словно это прошлогоднее полово или любовные письма... Лучше я бедному отдам кому-нибудь, чем отдавать их огню.

Я иду в дом... Там во всех комнатах, на диванах и коврах, спят вразвалку изнеможенные, заезженные певцы... Моя Тина спит на софе в «мозаиковой гостиной»...

Она раскинулась и тяжело дышит... Зубы ее стиснуты, лицо бледно... Вероятно, ей снятся качели... По всем комнатам ходит Сычиха и злобно поглядывает своими острыми глазками на людей, так внезапно нарушивших мертвую тишину забытой усадьбы... Она недаром ходит и утруждает свои старые кости...

Вот всё то, что осталось в моей памяти после двух диких ночей, остальное же не удержалось в пьяных мозгах или же неудобно для описания... Но довольно и этого!..

Никогда в другое время Зорька не несла меня с таким усердием, как в утро после сожжения кредиток... Ей тоже хотелось домой... Озеро тихо катило свои пенящиеся волны и, отражая в себе поднимающееся солнце, готовилось к дневному сну... Леса и прибрежные ивы стояли недвижимы, словно на утренней молитве... Трудно описать тогдашнее состояние моей души... Много не распространяясь, скажу только, что я несказанно обрадовался и в то же время чуть не сгорел со стыда, когда при повороте от графской усадьбы увидел на берегу старое, изможденное честным трудом и болезнями, святое лицо старика Михея... Михей своею наружностью напоминает библейских рыболовов... Он сед, как лунь, бородат и созерцательно глядит на небо... Когда он стоит неподвижно на берегу и следит взором за бегущими облаками, то можно подумать, что он видит в небе ангелов... Я люблю такие лица...

Увидев его, я осадил свою Зорьку и подал ему руку, как бы желая очиститься прикосновением к его честной мозолистой руке... Он поднял на меня свои маленькие прозорливые глаза и усмехнулся.

— Здравствуй, хороший барин! — сказал он, неумело подавая мне руку. — Что опять заскакал? Аль тот лодырь приехал?

— Приехал.

— То-то... по лику вижу... А я стою вот тут и гляжу... Мир и есть мир. Суета сует... Взглянь-ка! Немцу помирать надо, а он о суете заботится... Видишь?

Старик указал палкой на графскую купальню. От купальни быстро плыла лодка. В ней сидел человек в жокейском картузике и синей куртке. То был садовник Франц.

— Каждое утро на остров деньги возит и прячет... Нет у глупого понятия в голове, что для него что песок, что деньги — одна цена... Умрет — не возьмет с собой. Дай, барин, сигарку!

Я подал ему портсигар. Он взял три папироски и сунул их за пазуху.

— Это я племяннику... Пушай покурить.

Нетерпеливая Зорька задвигалась и полетела. Я поклонился старику, благодарный, что он дал моим глазам отдохнуть на его лице. Он долго глядел мне вслед.

Дома встретил меня Поликарп... Презрительным, сокрушающим взглядом он измерил мое барское тело, словно желая узнать, купался ли я на этот раз во всем костюме или нет?

— Поздравляем! — проворчал он. — Получил удовольствие!

— Молчи, дурак! — сказал я.

Меня злила его глупая физиономия. Быстро раздевшись, я укрылся одеялом и закрыл глаза.

Голова закружилась, и мир окутался туманом. В тумане промелькнули знакомые образы... Граф, змея, Франц, собаки огненного цвета, девушка в красном, сумасшедший Николай Ефимыч.

— Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы!

Девушка в красном погрозила мне пальцем, Тина заслонила мне свет своими черными глазами и... я уснул...

— Как сладко и безмятежно он спит! Глядя на это бледное, утомленное лицо, на эту невинно-детскую улыбку и прислушиваясь к этому ровному дыханию, можно подумать, что здесь на кровати лежит не судебный следователь, а сама спокойная совесть! Можно подумать, что граф Карнеев еще не приехал, что не было ни пьянства, ни цыганок, ни скандалов на озере... Вставайте, ехиднейший человек! Вы не стоите, чтобы пользоваться таким благом, как покойный сон! Поднимайтесь!

Я открыл глаза и сладко потянулся... От окна до моей кровати шел широкий солнечный луч, в котором, гоняясь одна за другой и волнуясь, летали белые пылинки, отчего и сам луч казался подернутым матовой белизной... Луч то исчезал с моих глаз, то опять появлялся, смотря по тому, входил ли в область луча или

выходил из нее шагавший по моей спальне наш милейший уездный врач Павел Иванович Вознесенский. В длинном расстегнутом сюртуке, болтающемся на нем, как на вешалке, заложив руки в карманы своих необыкновенно длинных брюк, доктор ходил из угла в угол, от стула к стулу, от портрета к портрету и шурил свои близорукие глаза на всё, что только попадалось на пути его взгляду. Покорный своей привычке совать свой нос и запускать «глазенапа» всюду, где только возможно, — он, то нагибаясь, то сильно вытягиваясь, заглядывал в рукомойник, в складки опущенной сторы, в дверные щели, в лампу... словно искал чего-то или желал удостовериться, всё ли цело... Вглядываясь пристально сквозь очки в какую-нибудь щель или пятно на обоях, он хмурился, принимал озабоченное выражение, нюхал своим длинным носом, старательно скоблил ногтем... Всё это проделывал он машинально, бессознательно и по привычке, но, тем не менее, быстро перебегая глазами с одного предмета на другой, он имел вид знатока, производящего экспертизу.

— Поднимайтесь, вам говорят! — будил он меня своим певучим тенором, заглядывая в мыльницу и снимая с мыла ногтем волосок.

— А... а... а... здравствуйте, господин щур! — зевнул я, увидев его, нагнувшегося над рукомойником. — Сколько зим, сколько лет!

Весь уезд дразнит доктора «щуром» за его вечно прищуренные глаза; дразнил и я. Увидев, что я проснулся, Вознесенский подошел ко мне, сел на край кровати и тотчас же потянул к своим прищуренным глазам коробку со спичками...

— Так спят одни только лентяи да люди со спокойною совестью, — сказал он, — а так как вы ни то, ни другое, то вам подобало бы, друже, вставать немножко пораньше...

— А который теперь час?

— Одиннадцатый на исходе.

— Чёрт вас возьми, щуренька! Никто не просил вас будить меня так рано! Вы знаете, я уснул сегодня только в шестом часу, и если бы не вы, то проспал бы до вечера.

— Так! — услышал я из соседней комнаты бас Поли-карпа. — Мало он еще спал! Вторые сутки спит, и всё ему мало! Да вы знаете, какой сегодня день? — спросил Поликарп, входя в спальную и глядя на меня так, как умные глядят на дураков.

— Среда, — сказал я.

— Как же, беспреренно. Нарочно для вас так и сделали, чтобы в неделе две среды было...

— Сегодня четверг! — сказал доктор. — Так это, голубчик, вы изволили всю среду проспять? Мило! очень мило! Сколько же это вы выпили, позвольте вас спросить?

— Я двое суток не спал, а выпил... не помню, сколько я выпил.

Уславши Поликарпа, я начал одеваться и описывать доктору пережитые мною так недавно «ночи безумные, речи бессвязные», которые так хороши и чувствительны в романсах и так безобразны на деле. В своих описаниях я старался не выходить из пределов «легкого жанра», держаться фактов и не вдаваться в мораль, хотя всё это и противно натуре человека, питающего страсть к итогам и выводам... Я говорил и делал вид, что говорю о пустяках, нимало меня не тревожащих. Щадя целомудрие Павла Ивановича и зная его отвращение к графу, я многое скрыл, многого коснулся только слегка, но, тем не менее, несмотря даже на игривость моего тона, на карикатурный пошиб моей речи, доктор во всё время моего рассказа глядел мне в лицо серьезно, то и дело покачивая головой и нетерпеливо подергивая течами. Он ни разу не улыбнулся... Очевидно, мой «легкий жанр» произвел на него далеко не легкое впечатление.

— Что же вы не смеетесь, щуренька? — спросил я, покончив со своими описаниями...

— Если бы всё это не вы мне рассказывали и если бы не один случай, то я не поверил бы всему этому. Уж больно безобразно, друже!

— О каком случае вы говорите?

— Вчера под вечер был у меня мужик, которого вы так неделикатно попотчевали веслом... Иван Осипов...

— Иван Осипов... — пожал я плечами. — Первый раз слышу!

— Высокий такой, рыжий... с веснушками на лице... Припомните-ка! Вы ударили его веслом по голове.

— Ничего не понимаю! Никакого Осипова не знаю, веслом никого не потчевал... Всё это вам снилось, дядя!

— Дай бог, чтобы снилось... Он явился ко мне с отношением от карнеевского волостного правления и попросил медицинского свидетельства... В отношении написано, да и сам он не врет, что рана нанесена ему вами... И теперь не помните? Рана ушибленная, повыше лба, на границе с волосистой частью... До кости хватили, батенька!

— Не помню! — прошептал я. — Кто он? Чем занимается?

— Обыкновенный карнеевский мужик, у вас же там на озере был гребцом, когда вы кутили...

— Гм... может быть! Не помню... Вероятно, был пьян и как-нибудь нечаянно...

— Нет-с, не нечаянно... Он говорит, что вы рассердились на него за что-то, долго бранились и потом, рассвирепев, подскочили к нему и при свидетелях хватили... Мало того, вы крикнули: «Я убью тебя, шельму этакую!..»

Я покраснел и прошелся из угла в угол.

— Хоть убей, не помню! — проговорил я, изо всех сил напрягая память. — Не помню! Вы говорите «рассвирепев»... В пьяном виде я бываю непростительно мерзок!

— Чего же лучше!

— Мужик, очевидно, хочет затеять скандал, но не это важно... Важен сам факт, побои... Неужели я способен драться? И за что я ударил бедного мужика?

— Да-с... Свидетельства, конечно, я не мог ему не дать, но не преминул посоветовать ему обратиться к вам... Вы сойдитесь с ним как-нибудь... Побои легкие, но, рассуждая неофициально, рана головы, проникающая до черепа, штука серьезная... Нередки случаи, когда, по-видимому, самая пустая рана головы, отнесенная к легким побоям, оканчивалась омертвлением костей черепа и, стало быть, путешествием ad patres⁵.

И «щур», увлекшись, поднялся, зашагал около стен и, размахивая руками, начал выкладывать передо мною свои познания по хирургической патологии... Омертвление костей черепа, воспаление мозга, смерть и другие ужасы так и сыпались из его рта с бесконечными объяснениями макроскопических и микроскопических процессов, сопровождающих эту туманную и неинтересную для меня terram incognitam⁶.

— Будет вам, барабошка! — остановил я его медицинскую болтовню. — Неужели вы не знаете, как всё это скучно?

— Это ничего, что скучно... Вы слушайте и казнитесь... Авось в другой раз будете поосторожней и не станете делать ненужных глупостей... Из-за этого паршивца Осипова, если вы с ним не сойдетесь, вы можете место потерять! Жрецу Фемиды судиться за побои... ведь это скандал!

Павел Иванович — единственный человек, сентенции которого я выслушиваю с легкой душою, не морщась, которому дозволяется вопросительно заглядывать в мои глаза и запускать исследующую руку в дебри моей души... Мы с ним приятели в самом лучшем смысле этого слова и уважаем друг друга, хотя у нас с ним и существуют счеты неприятного, щекотливого свойства... Между мною и им, как черная кошка, прошла женщина. Этот вечный casus belli⁷ породил между нами счеты, но не поссорил нас, и мы продолжаем быть в мире. «Щур» — очень хороший малый... Я люблю его простое, далеко не пластическое лицо с большим носом, прищуренными глазами и жидкой рыжей бородкой. Я люблю его высокую, тонкую, узкоплечую фигуру, на которой сюртуки ж пальто болтаются, как на вешалке.

Его уродливо сшитые брюки собираются безобразными складками у колен и безбожно топчутся сапогами; его белый галстук вечно сидит не на месте... Но вы не подумайте, что он неряха... Взглянувши раз на его доброе, сосредоточенное лицо, вы поймете, что ему некогда хлопотать о своей наружности, да и не умеет он... Он молод, честен, не суетен, любит свою медицину, вечно в разъездах, — этого достаточно, чтобы объяснить в его пользу все промахи его незатейливого туалета. Он, как артист, не знает цены деньгам и невозмутимо жертвует своим комфортом и благами жизни кое-каким своим страстишкам, и оттого-то он дает впечатление человека неимущего, еле сводящего концы с концами... Он не курит, не пьет, не платит женщинам, но, тем не менее, две тысячи, которые вырабатывает он службой и практикой, уходят от него так же быстро, как уходят у меня мои деньги, когда я переживаю период кутежа. Две страсти обирают его: страсть давать займы и страсть выписывать по газетным объявлениям... Займы дает он всякому просящему, не говоря ни слова и не заикаясь об обратной получке... Никаким гвоздем не выковыришь из него бесшабашной веры в людскую добросовестность, и эта вера еще рельефнее сказывается в его постоянных выписываниях вещей, воспеваемых в газетных объявлениях... Он выписывает всё, нужное и ненужное. Выписывает книги, зрительные трубки, юмористические журналы, столовые приборы, «состоящие из 100 вещей», хронометры... И немудрено, если больные, приходящие к Павлу Ивановичу, принимают его комнату за арсенал или музей... Его надували и надувают, но вера по-прежнему сильна и бесшабашна... Малый он славный, и мы еще не раз встретимся с ним на страницах этого романа...

— Как, однако, я у вас засиделся, — спохватился он, взглянув на свои дешевые, с одной крышкой, часы, выписанные им из Москвы «с ручательством на 5 лет», но, тем не менее, два раза уже бывшие в починке. — Мне пора, друже! Прощайте и смотрите вы мне! Эти графские кутежи добром не кончатся! Не говорю уж о

⁵ к праотцам (лат .)

⁶ неизвестную землю, область (лат .)

⁷ повод к войне (лат .)

вашем здоровье... Ах, да! Будете завтра в Теневе?

— А что там завтра?

— Престольный праздник! Все там будут, и вы приезжайте! Обязательно приезжайте! Я дал слово, что вы непременно приедете. Не сделайте же меня лгуном...

Кому дал он слово — не нужно было спрашивать. Мы понимали друг друга. Простившись со мной, доктор надел свое поношенное пальто и уехал...

Я остался один... Чтобы заглушить неприятные мысли, начинавшие копошиться в моей голове, я подошел к своему письменному столу и, стараясь не думать, не отдавать себе отчета, занялся полученными бумагами... Конверт, первый попавшийся мне на глаза, содержал в себе следующее письмо:

«Душечка мой Сережа! Извени, что я тебя беспокою, но я так удивлена, что не знаю, к кому и обратиться... Это ни на что не похоже. Конечно, теперь не варотиш, и мне не жалко, но посуди сам, что если ворам делать поблажку, то порядочной женщине нигде нельзя быть покойной. После того, как ты уехал, я проснулась на дивани и не нашла на себе многих вещей. Украли браслет, золотую запонку, десять жемчужин из ожерелья и вынули из партмонета рублей сто денех. Я хотела жаловаться графу, но он спал, и так и уехала. Это нехорошо. Графский дом, а воруют как в трактире. Ты скажи графу. Целую тебя и кланяюсь. Твоя любящая Тина».

Что дом его сиятельства изобиловал ворами — для меня не было новостью, и я приобрел письмо Тины к сведениям, уже имевшимся у меня на этот счет в памяти. Рано или поздно — я должен был пустить в дело эти сведения... Я знал воров.

Письмо черноглазой Тины, ее жирный, сочный почерк напомнили мозаиковую гостиную и вызвали во мне желание, похожее на желание опохмелиться, но я превозмог себя и силою своей воли заставил себя работать. Сначала мне было невыразимо скучно разбирать размашистые почерки приставов, но потом мое внимание мало-помалу фиксировалось на краже со взломом, и я стал работать с наслаждением. Целый день сидел я за своим письменным столом, а Поликарп то и дело проходил мимо меня и недоверчиво поглядывал на мою работу. В мое степенство ему не верилось, и он каждую минуту ждал, что я поднимусь из-за стола и прикажу седлать Зорьку; но к вечеру, видя мое упорство, он поверил и выражение угрюмости на лице сменил выражением удовольствия... Он стал ходить на цыпочках, говорил шёпотом... Когда мимо моих окон прошли парни с гармоникой, он вышел на улицу и прокричал:

— Чего вы, черти, здесь расходились? Ходите другой улицей! Нешто не знаете, махаметы, что барин занимается!

Вечером, подав в столовой самовар, он тихо отворил мою дверь и ласково позвал меня пить чай.

— Пожалуйста чай кушать! — сказал он, нежно вздохнув и почтительно улыбаясь.

А когда я пил чай, он тихо подошел сзади ко мне и поцеловал меня в плечо...

— Вот этак лучше, Сергей Петрович, — забормотал он. — Наплюйте на того белобрысого чёрта, чтоб ему... Статочное ли дело при вашем высоком понятии и при вашей образованности малодушием заниматься? Ваше дело благородное... Надо, чтобы все вас ублажали, боялись, а ежели будете с тем чёртом людям головы проламывать да в озере в одежде купаться, то всякий скажет: «Никакого ума! Пустяковый человек!» И пойдет тогда по миру слава! Удаль купцу к лицу, а не благородному... Благородному наука требуется, служба...

— Ну, будет, будет...

— Не путайтесь с графом, Сергей Петрович! А коли желаете дружиться, то чем не человек доктор Павел Иваныч? Только что оборванный ходит, да зато ведь ума много!

Искренность Поликарпа меня растеплила... Мне захотелось сказать ему ласковое слово...

— Ты какой роман теперь читаешь? — спросил я его.

— Графа Монте-Кристова. Вот граф! Так это настоящий граф! Непохож на вашего замазуру!

После чая я опять сел за работу и работал до тех пор, пока мои веки не стали опускаться и закрывать утомленные глаза... Ложась спать, я приказал Поликарпу разбудить меня в пять часов.

На другой день, в шестом часу утра, я, весело насвистывая и сбивая тростью головки цветов, шел пешком в Тенево, где в этот день был престольный праздник и куда приглашал меня мой друг «щур», Павел Иванович. Утро было прелестное. Само счастье, казалось, висело над землей и, отражаясь в бриллиантовых росинках, манило к себе душу прохожего... Лес, окутанный утренним светом, был тих и неподвижен, словно прислушивался к моим шагам и чириканию птичьей братии, встречавшей меня выражениями недоверия и испуга... Воздух был пропитан испарениями весенней зелени и своею нежностью ласкал мои здоровые легкие. Я дышал им и, окидывая восторженными глазами простор, чувствовал весну, молодость, и мне казалось, что молодые березки, придорожная травка и гудевшие без умолку майские жуки разделяли это мое чувство.

«И к чему там, в мире, — думал я, — теснится человек в своих тесных лачугах, в своих узких и тесных идейках, если здесь такой простор для жизни и мысли? Отчего он не идет сюда?»

И мое напoeтизированное воображение не хотело мешать себе мыслью о зиме и хлебе, этих двух

печалаях, загоняющих поэтов в холодный, прозаический Петербург и в нечистоплотную Москву, где платят гонорар за стихи, но не дают вдохновения.

Мимо меня проезжали крестьянские обозы и помещичьи брички, спешившие к обедне и на ярмарку. То и дело приходилось снимать шапку и отвечать на приветливые поклоны мужиков и знакомых помещиков. Всякий предлагал «подвезти», но идти было лучше, чем ехать, и я всякий раз отказывался. Мимо меня, между прочими, проехал на беговых дрожках и графский садовник Франц, в синей куртке и жокейском картузике... Он лениво поглядел на меня сонными, прокисшими глазками и еще ленивее сделал под козырек. Сзади него был привязан пятиведерный бочонок с железными обручами, очевидно, водочный... Противная рожа Франца и его бочонок расстроили несколько мое поэтическое настроение, но скоро поэзия опять восторжествовала, когда я услышал сзади себя шум экипажа и, оглянувшись, увидел тяжелый шарабан, запряженный в пару гнедых лошадок, а в тяжелом шарабане на кожаном ящикообразном сиденье — мою новую знакомку, «девушку в красном», говорившую со мной за два дня до этого про «электричество», убившее ее мать... Хорошенькое, свежeweымытое и несколько заспанное личико Оленьки просияло и слегка зарумянилось, когда она увидела меня, шагавшего по краю межи, отделявшей лес от дороги. Она весело закивала мне головой и улыбнулась так приветливо, как улыбаются одни только старые знакомые.

— Доброе утро! — крикнул я ей.

Она сделала мне ручкой и вместе со своим тяжелым шарабаном исчезла с моих глаз, не дав мне наглядеться на ее хорошенькое, свежее личико. На этот раз она не была одета в красное. На ней был какой-то темно-зеленый турнюр с большими пуговицами да широкополая соломенная шляпа, но, тем не менее, она мне понравилась не меньше прежнего. Я с удовольствием поговорил бы с ней и послушал ее голос. Я хотел бы заглянуть в ее глубокие глаза при блеске солнца, как заглядывал в них тогда вечером, при сверкавшей молнии. Мне хотелось высадить ее из некрасивого шарабана и предложить ей пройти остальной путь рядом со мной, что я и сделал бы, если бы не «условия» света. Мне почему-то казалось, что она охотно согласилась бы на это предложение... Недаром она два раза оглянулась на меня, когда шарабан поворачивал за высокие ольхи!..

До Тенева от места моего жительства было шесть верст — расстояние для человека молодого в хорошее утро почти незаметное. В начале седьмого часа я уже пробирался между возами и ярмарочными балаганами к тeneвской церкви. Торговый шум, несмотря на раннее утро и на то, что обедня еще не кончилась, уже стоял в воздухе. Скрипенье возов, ржанье лошадей, мычанье коров, игра в игрушечные трубы — всё это мешалось с возгласами барышников-цыган и пением уже успевших «налимониться» мужиков. Сколько веселых, праздничных лиц, сколько типов! Сколько прелести и движения в этой массе, пестреющей яркими цветами платьев, залитой светом утреннего солнца! Всё это, многотысячное, копошилось, двигалось, шумело, чтобы в несколько часов сделать свое дело и к вечеру разъехаться, оставив после себя на площади, как бы в воспоминание, сенные отбросы, кое-где рассыпанный овес и ореховую скорлупу... Народ густыми толпами валил к церкви и от церкви.

Церковный крест испускал из себя золотые лучи, такие же яркие, как и само солнце. Он сверкал и, казалось, сгорал золотым огнем. Ниже его горела тем же огнем церковная глава, и лоснился на солнце свежeweыкрашенный зеленый купол, а за сверкающим крестом широко расстилалась прозрачная, далекая синева. Я, пройдя через ограду, наполненную народом, пробрался в церковь. Обедня недавно еще началась, и, когда я вошел, читали еще только апостол. В церкви стояла тишина, нарушаемая чтением да шагами кадившего дьякона. Народ стоял тихо, неподвижно, с благоговением всматриваясь в открытые царские врата и прислушиваясь к протяжному чтению. Деревенские приличия или, вернее, деревенская порядочность строго преследует всякое поползновение к нарушению в церкви благоговейной тишины. Мне всегда становилось совестно, когда меня вынуждало что-нибудь улыбаться в церкви или разговаривать. К несчастью, в редких только случаях я не встречал в церкви своих знакомых, которых у меня, к сожалению, было очень много; обыкновенно же, чуть только, бывало, входил я в церковь, как ко мне тотчас же подходил какой-нибудь «интеллигент» и после длинных предисловий о погоде начинал разговор о своих грошовых делах. Я отвечал «да» и «нет», но был так щепетилен, что был не в силах совсем отказать своему собеседнику во внимании. И моя щепетильность не дешево мне стоила: я беседовал и конфузливо косился на молящихся соседей, боясь, что я оскорбляю их своей праздной болтовней.

И на этот раз не обошлось без знакомых. Войдя в церковь, я у самого входа увидел мою героиню, ту самую «девушку в красном», которую я встретил, пробираясь в Тенево.

Бедняжка, красная как рак и вспотевшая, стояла в толпе и обводила умоляющими глазами все лица, ища избавителя. Она застряла в тесной толпе и, не двигаясь ни назад ни вперед, походила на птичку, которую сильно стиснули в кулаке. Увидев меня, она горько улыбнулась и закивала мне своим хорошеньким подбородком.

— Проводите меня ради бога вперед! — заговорила она, хватая меня за рукав. — Здесь ужасная духота и... тесно... Прошу вас!

— Но ведь и впереди тесно! — сказал я.

— Но там всё чисто одетые, приличные... Здесь простой народ, а для нас отведено место впереди... И вы там должны быть...

Стало быть, красна она была не потому, что в церкви душно и тесно. Ее маленькую головку мучил вопрос местничества! Я внял мольбам суетной девочки и, осторожно расталкивая народ, провел ее до самого амвона, где был уже в сборе весь цвет нашего уездного бомонда. Поставив Оленьку на подобающее ее аристократическим поползновениям место, я стал позади бомонда и занялся наблюдениями.

Мужчины и дамы, по обыкновению, шептались и хихикали. Мировой судья Калинин, жестикулируя пальцами и поматывая головой, вполголоса рассказывал помещику Деряеву о своих болезнях. Деряев почти вслух бранил докторов и советовал мировому полечиться у какого-то Евстрата Иваныча. Дамы, увидев Оленьку, ухватились за нее, как за хорошую тему, и зашушукали. Одна только девушка, по-видимому, молилась... Она стояла на коленях и, устремив свои черные глаза вперед, шевелила губами. Она не заметила, как из-под ее шляпки выпал локон и беспорядочно повис на бледном виске... Она не заметила, как около нее остановился я с Оленькой.

Это была дочь мирового Калинина. Надежда Николаевна. Когда я ранее говорил о женщине, черной кошкой пробежавшей между мною и доктором, то говорил о ней... Доктор любил ее так, как способны любить только такие хорошие натуры, как мой милый «шур» Павел Иванович... Теперь он, как шест, стоял около нее, держа руки по швам и вытянув шею... Изредка он вскидывал свои любящие вопрошающие глаза на ее сосредоточенное лицо... Он словно сторожил ее молитву, и в его глазах светилось страстное, тоскующее желание быть предметом ее молитвы. Но, к его несчастью, он знал, за кого она молилась... Не за него...

Я кивнул Павлу Ивановичу, когда тот оглянулся на меня, и мы оба вышли из церкви.

— Давайте шляться по ярмарке, — предложил я.

Мы закурили папиросы и пошли по лавкам.

— Как поживает Надежда Николаевна? — спросил я доктора, входя с ним в палатку, в которой продавались игрушки...

— Ничего себе... Кажется, здорова... — отвечал доктор, щурясь на маленького солдата с лиловым лицом и в пунцовом мундире. — О вас спрашивала...

— Что же она обо мне спрашивала?

— Так, вообще... Сердится, что вы давно у них не бывали... Ей хочется повидаться с вами и спросить вас о причинах такого внезапного охлаждения к их дому... Ездили почти каждый день и потом — на тебе! Словно отрезал... И не кланяется даже.

— Врете, шур... Действительно, я за неимением досуга перестал посещать Калининых... Что правда, то правда. Отношения же мои с этой семьей по-прежнему отменные... Всегда кланяюсь, если встречаю кого-нибудь из них.

Однако, встретившись в прошлый четверг с ее отцом, вы почему-то не нашли нужным ответить на его поклон.

— Я не люблю этого болвана мирового, — сказал я, — и не могу равнодушно глядеть на его рожу, но всё-таки у меня еще хватает силы кланяться ему и пожимать протягиваемую им руку. Вероятно, я не заметил его в четверг или не узнал. Вы сегодня не в духе, шуренька, и придираетесь...

— Люблю я вас, голубчик, — вздохнул Павел Иванович, — но не верю вам... «Не заметил, не узнал...» Не нужно мне ни ваших оправданий, ни отговорок... К чему они, если в них так мало правды? Вы славный, хороший человек, но в вашем больном мозгу есть, торчит гвоздем маленький кусочек, который, простите, способен на всякую пакость...

— Покорнейше благодарим.

— Вы не сердитесь, голубчик... Дай бог, чтоб я заблуждался, но мне кажется, что вы немножко психопат. У вас иногда, вопреки воле и направлению вашей хорошей натуры, вырываются такие желания и поступки, что все знающие вас за порядочного человека становятся в тупик... Диву даешься, как это ваши высоконравственные принципы, которые я имею честь знать, могут уживаться с теми вашими внезапными побуждениями, которые в исходе дают кричащую мерзость! Какой это зверь? — обратился вдруг Павел Иванович к торговцу, переменяя тон и поднося к глазам деревянного зверя с человеческим носом, гривой и серыми полосами на спине.

— Лев, — зевнул продавец. — А може, и другая какая тварь. Шут их разберет!

От игрушечных балаганов мы направились к «красным» лавкам, где уже кипела торговля.

— Эти игрушки только обманывают детей, — сказал доктор. — Они дают самые превратные понятия о флоре ж фауне. Этот лев, например... Полосат, багров и пищит... Нешто львы пищат?

— Послушайте, шуренька, — сказал я. — По-видимому, вам хочется мне что-то сказать, и вы словно не решаетесь... Говорите... Мне приятно вас слушать даже тогда, когда вы говорите неприятные вещи...

— Приятно, друже, или неприятно, а уж вы послушайте... Мне о многом хотелось бы с вами поговорить...

— Начинайте... Я обращаюсь в одно очень большое ухо.

— Я уже высказал вам свое предположение относительно того, что вы психопат. Теперь не угодно ли выслушать доказательство?... Я буду говорить откровенно, быть может, иногда несколько резко... вас покоробит от моих слов, но вы не сердитесь, друже... Вы знаете мои к вам чувства: люблю вас больше всех в уезде и уважаю... Говорю вам не ради упрека и осуждений, не для того, чтоб колоть вас. Будем оба объективны, друже... Станем рассматривать вашу психику беспристрастным оком, как печенку или желудок...

— Хорошо, будем объективны, — согласился я.

— Превосходно... Начнем хоть с ваших отношений с Калининым... Если вы справитесь у вашей памяти, то она скажет вам, что вы начали посещать Калининых тотчас же по приезде в наш богоспасаемый уезд. Вашего знакомства не искали... Вы с первого же раза не понравились мировому своим надменным видом, насмешливым тоном и дружбой с кутилой графом, и вам не бывать бы у мирового, если бы вы сами не сделали ему визита. Помните? Вы познакомились с Надеждой Николаевной и стали ездить к мировому чуть ли не каждый день... Бывало, когда ни придешь, вы вечно там... Прием оказывался вам самый радушный. Люди ласкали вас, как только умели... И отец, и мать, и маленькие сестры... Привязались к вам, как к родному... Вами восторгаются, вас носят на руках, хохочут от малейшей вашей остроты... Вы для них образец ума, благородства, джентльменства. Вы словно понимаете всё это и за привязанность платите привязанностью — ездите каждый день, даже в дни подпраздничных приборов и суматох. Наконец, для вас не секрет та несчастная любовь, которую вы возбудили к себе в Наденьке... Ведь не секрет? Вы, знающий, что она в вас по уши влюблена, всё ездите и ездите... И что же, друже? Год тому назад вы вдруг, ни с того ни с сего, внезапно прекращаете свои визиты. Вас ждут неделю... месяц... ждут до сегодня, а вы всё не показываетесь... Вам пишут, вы не отвечаете... Наконец, вы даже не кланяетесь... Вам, придающему большое значение приличиям, эти ваши поступки должны показаться верхом невежливости! Отчего вы так резко и круто отчалили от Калининых? Вас обидели? Нет... Вам надоело? В таком случае вы могли бы отчалить постепенно, без этой обидной, ничем не мотивированной резкости...

— Перестал в гости ездить, — усмехнулся я, — и попал в психопаты. Как вы наивны, щуренька! Не всё ли равно — сразу ли прекратить знакомство или постепенно? Сразу даже честнее — лицемерия меньше. Какие всё это пустяки, однако!

— Допустим, что всё это пустяки или что вас заставили так круто повернуть причины скрытые, до которых нет дела постороннему оку. Но чем объяснить ваши дальнейшие поступки?

— Например?

— Например, вы являетесь однажды в нашу земскую управу, — не знаю, какое было у вас там дело, — и на вопрос председателя, отчего вас не стало видно у Калининых, вы сказали... Припомните-ка, что вы сказали! «Боюсь, что меня женят!» Вот что сорвалось с вашего языка! И это вы сказали во время заседания, громко, отчетливо, — так, что могли вас слышать все сто человек, бывшие в зале заседания! Красиво? В ответ на ваши слова слышатся смех и скабрзные остроты на тему о ловле женихов. Вашу фразу подхватывает какой-то мерзавец, идет к Калининым и подносит ее Наденьке во время обеда... За что такая обида, Сергей Петрович?

Павел Иванович загородил мне дорогу, стал передо мной и продолжал, глядя мне в лицо умоляющими, почти плачущими глазами:

— За что такая обида? За что? За то, что эта хорошая девушка вас любит? Допустим, что отец, как и всякий отец, имел поползновения на вашу особу... Он, по-отечески, всех имеет в виду: и вас, и меня, и Маркузина... Все родители одинаковы... Нет сомнения, что и она, по уши влюбленная, быть может, надеялась стать вашей женой... Так за это давать такую звонкую пощечину? Дяденька, дяденька! Не вы ли сами добивались этих поползновений на вашу особу? Вы каждый день ездили, обыкновенные гости так часто не ездят. Днем вы удили с нею рыбу, вечерами гуляли в саду, ревниво оберегая ваше tkte-a-tkte... Вы узнали, что она любит вас и ни на йоту не изменили вашего поведения... Можно было после этого не подозревать в вас добрых намерений? Я был уверен, что вы на ней женитесь! И вы... вы пожаловались, посмеялись! За что? Что она вам сделала?

— Не кричите, щуренька, народ смотрит, — сказал я, обходя Павла Ивановича. — Прекратим этот разговор. Это бабий разговор... Скажу вам только три строчки, и будет с вас. Ездил я к Калининым, потому что скучал и интересовался Наденькой... Она очень интересная девица... Может быть, я и женился бы на ней, но, узнав, что вы ранее меня попали в претенденты ее сердца, узнав, что вы к ней равнодушны, я порешил стушеваться... Жестоко было бы с моей стороны мешать такому хорошему малому, как вы...

— Мерси за одолжение! Я вас не просил об этой милостивой подачке, и, насколько могу судить теперь по выражению вашего лица, вы говорите сейчас неправду, говорите зря, не вдумываясь в ваши слова... И

потом то обстоятельство, что я славный малый, не помешало вам, однако, в одно из последних ваших посещений сделать Наденьке в беседке предложение, от которого не поздоровилось бы славному малому, если бы он на ней женился!

— Эге-ге!.. Откуда вам известно об этом предложении, щуренька? Стало быть, ваши дела недурно идут, если вам стали уже верить такие тайны!.. Но, однако, вы побледнели от злости и чуть ли не собираетесь бить меня... А еще тоже уговаривался быть объективным! Какой вы смешной, щуренька! Ну, бросим эту галиматью... Пойдем на почту...

Мы направились к почтовому отделению, которое весело глядело своими тремя окошечками на базарную площадь. Сквозь серый палисадник пестрел цветник нашего приемщика Максима Федоровича, известного в нашем уезде знатока по части устройства клумб, гряд, газонов и проч.

Максима Федоровича мы застали за очень приятным занятием... Красный от удовольствия и улыбающийся, он сидел за своим зеленым столом и, как книгу, перелистывал толстую пачку сторублевых бумажек. По-видимому, на расположение его духа мог влиять вид даже чужих денег.

— Здравствуйте, Максим Федорыч! — поздоровался я с ним. — Откуда это у вас такая куча денег?

— А вот-с, в Санкт-Петербург отправляют! — сладенько улыбнулся приемщик и указал подбородком в угол, где на единственном имевшемся в почтовом отделении стуле сидела темная человеческая фигура... Увидев меня, эта фигура поднялась и подошла ко мне. В ней я узнал моего нового знакомого, моего новоиспеченного врага, которого я так обидел, когда напился у графа...

— Мое почтение, — сказал он.

— Здравствуйте, Каэтан Казимирович, — ответил я, делая вид, что не вижу протянутой им руки. — Граф здоров?

— Слава богу... Скучает только немножко... Вас ждет к себе каждую минуту...

На лице Пшехоцкого я прочел желание побеседовать со мною. Откуда могло явиться такое желание после той «свиньи», которой я угостил его в тот вечер, и откуда такая перемена в обращении?

— Как много у вас денег! — сказал я, глядя на посылаемые им пачки сторублевок.

И словно кто толкнул меня по мозгам! У одной из сторублевок я увидел обожженные края и совершенно сгоревший угол... Это была та самая сторублевка, которую я хотел сжечь на огне Шандора, когда граф отказался взять ее у меня на уплату цыганам, и которую поднял Пшехоцкий, когда я бросил ее на землю.

— Лучше я бедному отдам кому-нибудь, — сказал он тогда, — чем отдавать их огню.

Каким же «бедным» посылал он ее теперь?

— Семь тысяч пятьсот рублей, — протяжно сосчитал Максим Федорыч. — Совершенно верно!

Неловко вторгаться в чужие тайны, но ужасно мне хотелось узнать, кому и чьи это деньги посылал в Петербург чернобровый поляк? Деньги эти во всяком случае были не его, графу же некому было посылать их.

«Обобрал пьяного графа, — подумал я. — Если графа умеет обирать глухая и глупая Сычиха, то что стоит этому гусю запустить в его карман свою лапу?»

— Ах... кстати, и я пошлю деньги, — спохватился Павел Иванович. — Знаете, господа? Даже невероятно! За пятнадцать рублей пять вещей с пересылкой! Зрительная труба, хронометр, календарь и еще что-то... Максим Федорыч, одолжите мне листик бумажки и конверт!

Щур послал свои пятнадцать рублей, я получил газеты и письма, и мы вышли из почтовой конторы...

Мы направились к церкви. Щуренька шагал за мной, бледный и унылый, как осенний день. Сверх ожидания, его сильно встревожил разговор, в котором он старался показать себя «объективным».

В церкви трезвонили. С паперти медленно спускалась густая толпа, которой, казалось, и конца не было. Из толпы высились ветхие хоругви и темный крест, предшествовавшие крестному ходу. Солнце весело играло на ризах духовенства, а образ божьей матери испускал от себя ослепительные лучи...

— А вон и наши! — сказал доктор, указывая на наш уездный бомонд, отделившийся от толпы и стоявший в стороне.

— Ваши, а не наши, — сказал я.

— Это всё равно... Подойдемте к ним...

Я подошел к знакомым и стал раскланиваться. Мировой судья Калинин, высокий плечистый человек с седой бородой и выпуклыми рачьими глазами, стоял впереди всех и что-то шептал на ухо своей дочери. Делая вид, что он меня не замечает, он ни одним движением не ответил на мой «общий» поклон, направленный в его сторону.

— Прощай же, ангелочек, — проговорил он плачущим голосом, целуя дочь в ее бледный лоб. — Поезжай домой одна, а к вечеру я возвращусь... Визиты мои будут продолжаться очень недолго.

Поцеловав дочь еще раз и сладенько улынувшись бомонду, он строго нахмурил брови и круто повернулся на одном каблуке к стоявшему позади него мужику с бляхой сотского.

— Скоро же, наконец, подадут мне лошадей? — прохрипел он.

Сотский вздрогнул и замахал руками.

— Беррегись!

Толпа, шедшая за крестным ходом, раздвинулась, и лошади мирового с шиком и звоном бубенчиков подкатили к Калинину. Тот сел, величественно поклонился и, тревожа толпу своим «беррегись», скрылся из глаз, не подарив меня ни одним взглядом.

— Эдакая величественная свинья, — прошептал я на ухо доктору. — Пойдемте отсюда!

— А разве вы не хотите поговорить с Надеждой Николаевной? — спросил Павел Иваныч.

— Мне уж пора домой. Некогда.

Доктор сердито поглядел на меня, вздохнул и отошел. Я отдал общий поклон и направился к балаганам. Пробираясь сквозь густую толпу, я оглянулся и поглядел на дочь мирового. Она глядела мне вслед и словно пробовала, вынесу я или нет ее чистый, пронизывающий взгляд, полный горькой обиды и упрека.

— За что?! — говорили ее глаза.

Что-то закопошилось в моей груди, и мне стало больно и стыдно за свое глупое поведение. Мне захотелось вдруг воротиться и всеми силами своей мягкой, не совсем еще испорченной души приласкать и приголубить эту горячо меня любившую, мною обиженную девушку и сказать ей, что виноват не я, а моя проклятая гордость, не дающая мне жить, дышать, ступить шаг. Гордость, глупая, фатовская, полная суетности. Мог ли я, пустой человек, протянуть руку примирения, если я знал и видел, что за каждым моим движением следили глаза уездных кумушек и «старух зловещих»? Пусть лучше они осыплют ее насмешливыми взглядами и улыбками, чем разуверятся в «непреклонности» моего характера и гордости, которые так нравятся во мне глупым женщинам.

Говоря ранее с Павлом Иванычем о причинах, заставивших меня внезапно прекратить свои поездки к Калининым, я был неоткровенен и совсем неточен... Я скрыл настоящую причину, скрыл ее потому, что стыдился ее ничтожности... Причина была мелка, как порох... Заключалась она в следующем. Когда я в последнюю мою поездку, отдав кучеру Зорьку, входил в калининский дом, до моих ушей донеслась фраза:

— Наденька, где ты? Твой жених приехал!

Это говорил ее отец, мировой, не рассчитывая, вероятно, что я могу услышать его. Но я услышал, и самолюбие мое заговорило.

«Я жених? — подумал я. — Кто же тебе позволил называть меня женихом? На каком основании?»

И словно что оторвалось в моей груди... Гордость забушевала во мне, и я забыл всё, что помнил, едучи к Калининым... Я забыл, что я увлек девушку и сам начал уже увлекаться ею до того, что ни одного вечера не был в состоянии провести без ее общества... Я забыл ее хорошие глаза, которые день и ночь не выходили из моей памяти, ее добрую улыбку, мелодичный голос... Забыл тихие, летние вечера, которые уже никогда не повторятся ни для меня, ни для нее... Всё рухнулось под напором дьявольской гордыни, взбудораженной глупой фразой простака отца... Взбешенный, я воротился из дому, сел на Зорьку и ускакал, давая себе клятву «утереть нос» Калинину, осмелившемуся без моего дозволения записать меня в женихи своей дочери...

«Кстати же, Вознесенский любит ее... — оправдывал я свой внезапный отъезд, едучи домой. — Он ранее меня начал вертеться около нее и уже считался женихом, когда я с нею познакомился. Не стану ему мешать!»

И с тех пор я ни разу не был у Калининых, хотя и бывали минуты, когда я страдал от тоски о Наде и рвалась душа моя, рвалась к возобновлению прошлого... Но весь уезд знал о происшедшем разрыве, знал, что я «удрал от женитьбы...» Не могла же моя гордость сделать уступки!

Кто знает? Не скажи Калинин той фразы и не будь я так глупо горд и шепетилен, быть может, мне не понадобилось бы оглядываться, а ей — глядеть на меня такими глазами... Но пусть лучше такие глаза, пусть лучше это чувство обиды и упрек, чем то, что я увидел в этих глазах несколько месяцев спустя после встречи у тeneвской церкви! Горе, светившееся теперь в глубине этих черных глаз, было только началом того страшного несчастья, которое, как внезапно налетевший поезд, стерло с лица земли эту девушку... Что цветки перед теми ягодками, которые уже созревали для того, чтобы влить страшную отраву в ее хрупкое тело и тоскующую душу!

Выйдя из Тенева, я пошел той же дорогой, что шел и утром. Солнце показывало уже полдень... Крестьянские телеги и помещичьи брички, как и утром, услаждали мой слух своим скрипом и металлическим ворчаньем бубенчиков. Опять проехал садовник Франц с водочным бочонком, на этот раз, вероятно, полным... Опять он взглянул на меня своими кислыми глазками и сделал мне под козырек. Меня покорило от его противной физиономии, но и на этот раз тяжелое впечатление, произведенное встречей с ним, как рукой сняла дочка лесничего Оленька, догнавшая меня на своем тяжелом шарабане...

— Подвезите меня! — крикнул я ей.

Она весело закивала мне головой и остановила возницу. Я сел рядом с ней, и шарабан с треском покатил по дороге, светлой полосой тянувшейся через трехверстную просеку тeneвского леса. Минуты две

мы молча разглядывали друг друга.

«Какая она, в самом деле, хорошенькая! — думал я, глядя на ее шейку и пухленький подбородок. — Если бы мне предложили выбирать кого-нибудь из двух — Наденьку или ее, то я остановился бы на этой... Эта естественнее, свежей, натура у нее шире и размашистей... Попадись она в хорошие руки — из нее многое можно было бы сделать! А та угрюма, мечтательна... умна».

У ног Оленьки лежали две штуки полотна и несколько свертков.

— Сколько у вас покупок! — сказал я. — На что вам столько полотна?

— Мне еще не столько нужно!.. — ответила Оленька. — Это я так купила, между прочим... Вы не можете себе представить, сколько хлопот! Сегодня вот по ярмарке целый час ходила, а завтра придется в город ехать за покупками... А потом извольте шить... Послушайте, у вас нет таких знакомых женщин, которых можно было бы нанять шить?

— Кажется, нет... Но для чего вам столько покупок? К чему шить? Ведь у вас семья не бог весть как велика... Раз, два... да и обчелся...

— Какие вы, все мужчины, странные! И ничего вы не понимаете! Вот, когда женитесь, так сами же будете сердиться, если жена ваша после венца придет к вам растрепкой. Я знаю, Петр Егорыч не нуждается, но все-таки неловко как-то с первого же раза себя не хозяйкой показать...

— При чем же тут Петр Егорыч?

— Гм... Смеется, точно и не знает! — сказала Оленька, слегка краснея.

— Вы, барышня, говорите загадками...

— Да разве вы не слышали? Ведь я выхожу замуж за Петра Егорыча!

— Замуж? — удивился я, делая большие глаза. — За какого Петра Егорыча?

— Фу, боже мой! Да за Урбенина!

Я поглядел на ее краснеющее и улыбающееся лицо...

— Вы... замуж? За Урбенина? Этакая ведь шутница!

— Никаких тут шуток нет... Не понимаю даже, что тут шуточного...

— Вы замуж... за Урбенина... — проговорил я, бледнея, сам не зная отчего. — Если это не шутка, то что же это такое?

— Какие шутки!.. Не знаю даже, что тут такого удивительного, странного... — проговорила Оленька, надувая губки.

Минута прошла в молчании... Я глядел на красивую девушку, на ее молодое, почти детское лицо и удивлялся, как это она может так страшно шутить? Сразу я представил себе рядом с нею пожилого, толстого, краснолицего Урбенина с оттопыренными ушами и жесткими руками, прикосновение которых может только царапать молодое, только что еще начавшее жить женское тело... Неужели мысль о подобной картине не может пугать хорошенькую лесную фею, умеющую поэтически глядеть на небо, когда на нем бегают молнии и сердито ворчит гром? Я — и то испугался!

— Правда, он несколько стар, — вздохнула Оленька, — но зато ведь он меня любит... Его любовь надежная.

— Дело не в надежной любви, а в счастье...

— С ним я буду счастлива... Состояние у него — слава богу, и не голяк он какой-нибудь, не нищий, а дворянин. Я в него, конечно, не влюблена, но разве только те и счастливы, которые по любви женятся? Знаю я эти браки по любви!

— Дитя мое, — спросил я, с ужасом глядя в ее светлые глаза, — когда вы успели нафаршировать вашу бедную головку этой ужасной житейской мудростью? Допустим, что вы шутите со мной, но где вы научились так старчески грубо шутить?.. Где? Когда?

Оленька поглядела на меня с удивлением и пожала плечами...

— Я не понимаю, что вы говорите... — сказала она. — Вам неприятно, что молодая девушка выходит за старика? Да?

Оленька вдруг вспыхнула, задвигала нервно подбородком и, не дожидаясь моего ответа, проговорила быстро:

— Вам это не нравится? Так извольте вы сами идти в лес... в эту скуку, где нет никого, кроме кобчиков да сумасшедшего отца... и ждите там, пока придет молодой жених! Вам понравилось тогда вечером, а поглядели бы вы зимой, когда рада бываешь... что вот-вот смерть придет...

— Ах, всё это нелепо, Оленька, всё это незрело, глупо! Если вы не шутите, то... я уж не знаю, что и говорить! Замолчите лучше и не оскорбляйте воздуха вашим язычком! Я, на вашем бы месте, на семи осинах удавился, а вы полотно покупаете... улыбаетесь! Ах-ах!

— По крайней мере, он на свои средства отца лечить будет... — прошептала она...

— Сколько вам нужно на лечение отца? — закричал я. — Возьмите у меня! Сто?.. двести?.. тысячу? Лжете вы, Оленька! Вам не лечение отца нужно!

Новость, сообщенная мне Оленькой, так меня взволновала, что я и не заметил, как шарабан наш проехал мимо моей деревеньки, как он въехал на графский двор и остановился у крыльца управляющего... Увидев выбежавших детишек и улыбающееся лицо Урбенина, подскочившего высаживать Оленьку, я выпрыгнул из шарабана и, не простившись, побежал к графскому дому. Здесь ждала меня новая новость.

— Как кстати! Как кстати! — встретил меня граф, царапая мою щеку своими длинными, колючими усами. — Удачнее времени ты и выбрать не мог! Мы только сию минуту сели завтракать... Ты, конечно, знаком вот... Не раз уж, небось, имел столкновение по вашей судейской части... Ха-ха!

Граф обеими руками указал мне на двух мужчин, сидевших на мягких креслах и евших холодный язык. В одном я имел неудовольствие узнать мирового судью Калинина, другой же, маленький седенький старичок с большой лунообразной лысиной, был мой хороший знакомый, Бабаев, богатый помещик, занимавший в нашем уезде должность непрямого члена. Раскланиваясь, я с удивлением поглядел на Калинина... Я знал, как ненавидел он графа и какие слухи пускал он по уезду про того, у которого теперь ел с таким аппетитом язык с горошком и пил десятилетнюю наливку. Как мог порядочный человек объяснить этот его визит? Мировой уловил мой взгляд и, вероятно, понял его.

— Сегодняшний день посвятил я визитам, — сказал он мне. — Весь уезд объезжаю... И к его сиятельству заехал, как видите...

Илья подал четвертый прибор. Я сел, выпил рюмку водки и стал завтракать...

— Нехорошо, ваше сиятельство... Нехорошо! — продолжал Калинин разговор, прерванный моим приходом. — Нам, маленьким людям, не грех, а вы человек знатный, богатый, блестящий... Вам грех манкировать.

— Это верно, что грех... — согласился Бабаев.

— В чем дело? — спросил я.

— Хорошую мысль подал мне Николай Игнатьич! — кивнул граф на мирового. — Приходит он ко мне... садится завтракать, и жалуясь я ему на скуку...

— И жалуется они мне на скуку... — перебил графа Калинин. — Скучно, грустно... то да се... Одним словом, разочарован... Онегин некоторым образом... Сами, говорю, виноваты, ваше сиятельство... Как так? Очень просто... Вы, говорю, чтобы скучно не было, служите... хозяйством занимайтесь... Хозяйство превосходное, дивное... Говорят, что они намерены заняться хозяйством, но все-таки скучно... Нет у них, так сказать, увеселяющего, возбуждающего элемента. Нет этого... как бы так выразиться... ээ... того... сильных ощущений...

— Ну, так какую же мысль вы подали?

— Собственно говоря, я не подавал никакой мысли, но только осмелился сделать его сиятельству упрек. Как это, говорю, вы, ваше сиятельство, такой молодой... образованный, блестящий, можете жить в такой замкнутости? Разве, говорю, это не грех? Вы никуда не выезжаете, сами никого не принимаете, нигде вас не видно... как старик какой-нибудь или отшельник... Что стоит, говорю, вам устраивать у себя собрания... журфиксы, так сказать?

— Для чего же ему сдались эти журфиксы? — спросил я.

— Как для чего? Во-первых, тогда его сиятельство, ежели у него будут вечера, познакомится с обществом... изучит, так сказать... Во-вторых, и общество будет иметь честь поближе познакомиться с одним из наиболее наших землевладельцев... Взаимный, так сказать, обмен мыслей, разговоры, веселье... А сколько у нас, ежели рассуждать, образованных барышень, кавалеров!.. Какие можно задавать музыкальные вечера, танцы, пикники — посудите только! Залы огромные, в саду беседки и... прочее... Такие любительские спектакли и концерты можно задавать, что никому в губернии не снилось... Да ей-богу! Посудите сами!.. Теперь всё это почти пропадает даром, в землю закопано, а тогда... понять только нужно! Имей я такие средства, как у его сиятельства, я показал бы, как надо жить! А они говорят: скучно! Даже, ей-богу... слушать смешно... совестно даже...

И Калинин замигал глазами, желая показать вид, что ему действительно совестно...

— Это вполне справедливо, — сказал граф, вставая и засовывая руки в карманы. — У меня могут выходить отличные вечера... Концерты, любительские спектакли... всё это действительно можно прелестно устроить. И к тому же эти вечера будут не только веселить общество, но они будут иметь и воспитывающее влияние!.. Не правда ли?

— Ну да, — согласился я. — Как посмотрят наши барышни на твою усатую физиономию, так сразу и проникнутся духом цивилизации...

— Ты всё шутишь, Сережа, — обиделся граф, — а никогда ты мне дружески не посоветуешь! Всё тебе смешно! Пора, мой друг, оставить эти студенческие замашки!

Граф зашагал из угла в угол и в длинных, скучных предположениях начал описывать мне пользу, какую могут принести человечеству его вечера. Музыка, литература, сцена, верховая езда, охота. Одна охота может сплотить воедино все лучшие силы уезда!..

— Мы с вами поговорим еще об этом! — сказал граф Калинину, прощаясь с ним после завтрака.

— Так позвольте, стало быть, уезду надеяться, ваше сиятельство? — спросил мировой.

— Конечно, конечно... Я разовью эту мысль, постараюсь... Я рад... даже очень... Так всем и скажите...

Нужно было видеть то блаженство, которое было написано на лице мирового, когда он сел в свой экипаж и говорил: «Пошел!» Он так обрадовался, что забыл даже наши с ним контры и на прощанье назвал меня голубчиком и крепко пожал мне руку.

По отъезде визитеров я и граф сели за стол и продолжали завтракать. Завтракали мы до семи часов вечера, когда с нашего стола сняли посуду и подали нам обед. Молодые пьяницы знают, как коротать длинные антракты. Мы всё время пили и ели по маленькому кусочку, чем поддерживали аппетит, который пропал бы у нас, если бы мы совсем бросили есть.

— Ты посылал сегодня кому-нибудь деньги? — спросил я графа, вспомнив те пачки сторублевок, которые видел утром в тенеvском почтовом отделении.

— Никому.

— Скажи, пожалуйста, а твой этот... как его?.. новый друг, Казимир Каэтаныч или Каэтан Казимирович, богатый человек?

— Нет, Сережа. Это бедняк!.. Но зато какая душа, какое сердце! Ты напрасно так презрительно говоришь о нем и... нападаешь на него... Надо, брат, научиться различать людей. Выпьем еще по рюмке?

К обеду воротился Пшехоцкий. Увидев меня, сидящего за столом и пьющего, он поморщился и, повертываясь около нашего стола, нашел лучшим удалиться в свою комнату. От обеда он отказался, ссылаясь на головную боль, но не выразил ничего против, когда граф посоветовал ему пообедать в своей комнате, в постели.

Во время второго блюда вошел Урбенин. Я не узнал его. Его широкое, красное лицо сияло удовольствием. Довольная улыбка, казалось, играла даже на оттопыренных ушах и толстых пальцах, которыми он то и дело поправлял свой новый, франтоватый галстук.

— Корова у нас заболела, ваше сиятельство, — доложил он. — Посылал я за нашим ветеринаром, а оказывается, что он уехал. Не послать ли, ваше сиятельство, за городским ветеринаром? Если я пошлю, то он не послушается, не поедет, а если вы ему напишете, то тогда другое дело. Может быть, у коровы пустяк, а может, и что другое.

— Хорошо, я напишу... — пробормотал граф.

— Поздравляю вас, Петр Егорыч, — [сказал я,] вставая и протягивая управляющему руку.

— С чем-с? — прошептал он.

— Ведь вы женитесь!

— Да, да, представь себе, женится! — заговорил граф, мигая глазом на краснеющего Урбенина. — Каков? Ха-ха-ха! Молчал-молчал, да вдруг — на тебе! И знаешь, на ком он женится? Мы тогда вечером с тобой угадали! Мы, Петр Егорыч, тогда же еще порешили, что в вашем шалунишке-сердце творится что-то такое неладное. Как поглядел он на вас и Оленьку, «ну, говорит, втюрился малый!» Ха-ха! Садитесь с нами обедать, Петр Егорыч!

Урбенин осторожно и почтительно сел, позвал глазами Илью и приказал ему подать себе супу. Я налил ему рюмку водки.

— Я не пью-с, — сказал он.

— Полноте, вы еще больше нашего пьете.

— Пил-с, а теперь уж не пью, — улыбнулся управляющий. — Теперь мне нельзя пить... Незачем... Всё, слава богу, прошло благополучно, всё устроилось, и так именно, как хотело мое сердце, даже больше, чем мог я ожидать.

— Ну, на радостях хоть этого выпейте, — сказал я, наливая ему хересу.

— Этого, пожалуй. А пил я действительно много. Теперь могу покаяться перед его сиятельством. От утра до ночи, бывало. Как встанешь утром, вспомнишь это самое... ну и, естественно, к шкафчику сейчас же. Теперь, слава богу, нечего водкой заглушать.

Урбенин выпил стакан хересу. Я налил ему другой. Он выпил и этот и незаметно опьянел...

— Даже не верится... — сказал он, засмеявшись вдруг счастливым детским смехом. — Гляжу вот на это кольцо, припоминаю ее слова, которыми она выразила свое согласие, и не верю... Смешно даже... Ну, мог ли я в свои годы, при своей такой наружности, надеяться, что эта достойная девушка не побрезгует стать моей... матерью моих сироток? Ведь она красавица, как изволили вы видеть, ангел во плоти! Чудеса да и только! Вы еще мне налили?.. Пожалуй, в последний раз уж... С горя пил, выпью и на радостях. А как я мучился, господа, сколько горя вынес! Увидел ее год тому назад и — верите ли? — с той поры не было ни одной ночи, чтоб я спал спокойно, не было дня, чтоб я не заливал водкой этой... слабости глупой, не бранил себя за глупость... Бывало, гляжу на нее в окно, люблюсь и... волосы рву у себя на голове... В пору бы вешаться... Но, слава богу... рискнул, сделал предложение, и точно, знаете ли, меня обухом! Ха-ха! Слышу и ушам не

верю... Она говорит: «Согласна», а мне кажется: «Убирайся ты, старый хрен, к чёрту»... После, когда уж она меня поцеловала, убедился...

Пятидесятилетний Урбенин при воспоминании о первом поцелуе с поэтической Оленькой закрыл глаза и зарделся, как мальчишка... Мне показалось это противным...

— Господа, — сказал он, глядя на нас счастливыми, ласковыми глазами. — Отчего вы не женитесь? Зачем вы тратите попусту, кидаете за окно свои жизни? Отчего вы так чуждаетесь того, что составляет лучшее благо всего живущего на земле? Ведь наслаждения, которые дает разврат, не дают и сотой доли того, что дала бы вам тихая, семейная жизнь! Молодые люди... ваше сиятельство и вы, Сергей Петрович... я счастлив теперь и... видит бог, как я люблю вас обоих! Простите мне мои глупые советы, но... счастья ведь я хочу для вас! Отчего вы не женитесь? Семейная жизнь есть благо... Она — долг всякого!..

Счастливый и умильный вид старика, женящегося на молоденькой и советующего нам переменить нашу развратную жизнь на тихую, семейную, стал мне невыносим.

— Да, — сказал я, — семейная жизнь есть долг. Я с вами согласен. Стало быть, этот долг вы исполняете уже во второй раз?

— Да, во второй. Я вообще люблю семейную жизнь. Быть холостым или вдовым для меня — жизнь наполовину. Что ни говорите, господа, а супружество — великое дело!

— Конечно... Даже и тогда, если муж чуть ли не в три раза старше своей супруги?

Урбенин покраснел. Рука, несшая ко рту ложку с супом, задрожала, и суп вылился обратно в тарелку.

— Я понимаю, что вы хотите сказать, Сергей Петрович, — пробормотал он. — Благодарю вас за откровенность. Я и сам себя спрашиваю: не подло ли? Мучаюсь! Но где тут спрашивать себя, решать разные вопросы, когда каждую минуту чувствуешь, что ты счастлив, когда ты забываешь свою старость, уродство... всё! Homo sum⁸, Сергей Петрович! А когда на секундочку забегает в мою башку вопрос о неравенстве лет, я не лезу в карман за ответом и успокаиваю себя, как умею. Мне кажется, что я дал Ольге счастье. Я дал ей отца, а детям моим мать. Впрочем, всё это на роман похоже, и... у меня кружится голова. Напрасно вы меня хересом напоили.

Урбенин встал, вытер салфеткой лицо и опять сел. Через минуту он выпил залпом стакан, поглядел на меня продолжительным, умоляющим взглядом, словно прося у меня пощады, потом вдруг плечи его задрожали, и он неожиданно зарыдал, как мальчик.

— Это ничего-с... Ничего-с, — забормотал он, пересиливая рыданье. — Не беспокойтесь. Мое сердце, после ваших слов, сжало какое-то предчувствие. Но это ничего-с.

Предчувствие Урбенина сбылось, сбылось так скоро, что я не успеваю переменить перо и начать новую страницу. С следующей главы моя покойная муза выражение покоя на лице сменяет выражением гнева и скорби. Предисловие кончено, и начинается драма.

Преступная воля человека вступает в свои права.

Я помню хорошее воскресное утро. В окна графской церкви видно прозрачное, голубое небо, а всю церковь, от расписного купола до пола, пронизывает матовый луч, в котором весело играют клубы ладанного дыма... В открытые окна и двери несется пение ласточек и скворцов... Один воробей, по-видимому, смельчак большой руки, влетел в дверь и, покружившись с чириканьем над нашими головами, окунувшись несколько раз в матовый луч, вылетел в окно... В самой церкви тоже пение... Поют складно, с чувством и с тем увлечением, на которое способны наши певцы-малороссы, когда чувствуют себя героями минуты и когда видят, что на них то и дело оглядываются... Мотивы всё больше веселые, игривые, как светлые, солнечные «зайчики», играющие на стенах и одеждах слушающих... В необработанном, но мягком и свежем теноре мое ухо, несмотря на веселый свадебный мотив, улавливает трудную, унылую струнку, словно этому тенору жаль, что рядом с хорошенькой, поэтической Оленькой стоит тяжелый, медведеобразный и отживающий свой век Урбенин... Да и не одному тенору жалко глядеть на эту неравную пару... На многочисленных лицах, которыми усеяно мое поде зрения, как бы они ни старались казаться веселыми и беспечными, даже идиот мог бы прочесть сожаление.

Я, облеченный в новую фракную пару, стою позади Оленьки и держу над нею венец. Я бледен и не совсем здоров... Голова трещит от вчерашней попойки и прогулки по озеру, и я то и дело поглядываю, не дрожит ли моя рука, держащая венец... На душе моей скверно и жутко, как в лесу в дождливую осеннюю ночь. Мне досадно, противно, жалко... За сердце скребут кошки, напоминающие несколько угрызения совести... Там, в глубине, на самом дне моей души, сидит бесенок и упрямо, настойчиво шепчет мне, что если брак Оленьки с неуклюжим Урбениным — грех, то и я повинен в этом грехе... Откуда могут быть такие мысли? Разве я мог спасти эту юную дурочку от ее непонятного риска и несомненной ошибки?..

— А кто знает! — шепчет бесенок. — Тебе это лучше знать! Видал я на своем веку много неравных

⁸ Человек я (лат .)

браков, не раз стоял перед картиной Пукирева, читал много романов, построенных на несоответствии между мужем и женой, знал, наконец, физиологию, безапелляционно казнящую неравные браки, но ни разу еще в жизни не испытывал того отвратительного душевного состояния, от которого никакими силами не могу отделаться теперь, стоя за спиной Оленьки и исполняя обязанности шафера... Если мою душу волнует одно только сожаление, то отчего же я не знал этого сожаления ранее, присутствуя на других свадьбах?..

— Тут не сожаление, — шепчет бесенок. — Ревность...

Но ревновать можно только тех, кого любишь, а разве я люблю девушку в красном? Если любить всех девушек, которых я встречаю, живя под луной, то не хватит сердца, да и слишком жирно...

Мой друг, граф Карнеев, стоит позади, у самой церковной двери, за ктиторским шкафом, и продает свечи. Он прилизан, примазан и испускает из себя наркотический, удушливый запах духов. Сегодня он выглядывает таким душкой, что, здороваясь с ним утром, я не удержался, чтобы не сказать:

— Сегодня ты, Алексей, выглядываешь идеальным кадрилищиком!

Каждого входящего и выходящего он провожает слащавой улыбкой, и я слышу, какими тяжеловесными комплиментами награждает он всякую даму, покупающую у него свечку. Он, баловень судьбы, никогда не имевший медных денег и не умеющий обращаться с ними, то и дело роняет на пол пятаки и трешники. Около него, облокотившись о шкаф, стоит величественный Калинин с Станиславом на шее. Физиономия его сияет и лоснится. Он рад, что его идея о «журфиксах» пала на добрую почву и уже начинает давать плод. В глубине души он сыплет Урбенину тысячи благодарностей: его свадьба нелепость, но, тем не менее, к ней легко придрачься, чтобы устроить первый журфикс.

Тщеславная Оленька должна была радоваться... От венчального аналога до самых царских врат тянутся два ряда представительниц нашего уездного цветника... Гости разодеты так, как разделились бы они, если бы женился сам граф: лучших нарядов и желать нельзя... Тут всё больше аристократки... Ни одной попадьи, ни одной купчихи... Есть даже такие, которым Оленька ранее не считала себя вправе даже кланяться... Жених Оленьки — управляющий, привилегированный слуга, но от этого не может страдать ее тщеславие... Он дворянин и имеет в соседнем уезде заложенное имение. Отец его был уездным предводителем, а сам он уже девять лет состоит мировым судьей своего родного уезда... Чего же еще нужно честолюбию дочери личного дворянина? Даже ее шафер, известный всей губернии бонвиван и Дон-Жуан, может пощекотать ее гордость... На него заглядываются все гости... Он эффектен, как сорок тысяч шаферов, взятых вместе, и, что немаловажное всего, не отказался быть у нее, простушки, шафером, когда известно, что он даже и аристократам отказывает, когда они приглашают его в шафера...

Но тщеславная Оленька не радуется... Она бледна, как полотно, которое она недавно везла с теневской ярмарки. Рука ее, держащая свечу, слегка дрожит, подбородок изредка вздрагивает. В глазах какое-то отупение, словно она внезапно чему-то изумилась, испугалась... Нет и следа той веселости, которая светила в ее глазах, когда она не дальше как вчера бегала по саду и с увлечением рассказывала, какие обои будут в ее гостиной, в какие дни она будет приглашать к себе гостей и проч. Лицо ее теперь слишком серьезно, более, чем того требует торжественность случая...

Урбенин в новой фракной паре. Одет он прилично, но причесан так, как причесывались православные в двенадцатом году. Он, по обыкновению, красен и серьезен. Его глаза молятся, и те крестные знамена, которые делает он после каждого «Господи, помилуй», не машинальны.

Позади меня стоят дети Урбенина от первого брака — гимназист Гриша и белокурая девочка Саша. Они глядят на красный затылок и оттопыренные уши отца, и лица их изображают вопросительные знаки. Им непонятно, на что их отцу сдалась тетя Оля и зачем он берет ее к себе в дом. Саша только удивлена, четырнадцатилетний же Гриша нахмурен и глядит исподлобья. Наверное, он ответил бы отказом, если бы отец попросил у него позволения жениться...

Венчальный обряд совершают с особенной торжественностью. Служат три священника и два дьякона. Служат долго, до того долго, что рука моя устает держать венец, и дамы, любящие вообще смотреть венчанье, перестают глядеть на молодых. Благочинный читает молитвы с расстановкой, не пропуская ни одной; певчие поют что-то длинное нотное; дьячок, пользуясь случаем прихвастнуть своей октавой, читает апостола с «сугубою протяжностью»... Но вот, наконец, благочинный берет из моих рук венец... молодые целуются... Гости волнуются, расстраиваются правильные ряды, слышатся поздравления, поцелуи, аханья. Урбенин, сияющий и улыбающийся берет под руку молодую, и мы выходим на воздух...

Если кто из бывших со мною в церкви найдет это описание неполным и не совсем точным, тот пусть припишет эти промахи головной боли и названному душевному настроению, мешавшим мне наблюдать и подмечать... Конечно, знай я тогда, что мне придется писать роман, я не глядел бы в землю, как в описываемое утро, и не обратил бы внимания на головную боль!

Судьба позволяет себе иногда едкие, ядовитые шутки! Не успели молодые выйти из церкви, как навстречу им неся нежелательный и неожиданный сюрприз... Когда свадебный кортеж, пестрея на солнце сотнями цветов и оттенков, двигался от церкви к графскому дому, Оленька вдруг сделала шаг назад,

остановилась и так дернула своего мужа за локоть, что тот покачнулся...

— Его выпустили! — сказала она вслух, поглядев на меня с ужасом.

Бедняжка! Навстречу кортежу, по аллее бежал ее сумасшедший отец, лесничий Скворцов. Размахивая руками, спотыкаясь и безумно поводя глазами, он представлял из себя достаточно непривлекательную картину. Всё бы это еще, пожалуй, было прилично, если бы он не был в своем ситцевом халате и в туфлях-шлепанцах, ветхость которых плохо вязалась с роскошью венчального наряда его дочери. Лицо его было заспано, волосы развевались от ветра, ночная сорочка была расстегнута.

— Оленька! — залепетал он, поровнявшись с ними. — Зачем ты ушла?

Оленька покраснела и искоса поглядела на улыбающихся дам. Бедняжка сгорела от стыда...

— Митька дверей не запер, — продолжал лесничий, обращаясь к нам. — Трудно ли вораб забраться?..

Из кухни самовар унесли в прошлом году, так вот она хочет, чтоб и теперь нас обокрали!

— Не знаю, кто его выпустил! — шепнул мне Урбенин. — Я велел его запереть... Голубчик, Сергей Петрович, будьте милостивы, выведите нас как-нибудь из неловкого положения! Как-нибудь!

— Я знаю, кто украл у вас самовар, — обратился я к лесничему. — Пойдемте, я вам укажу.

И, обняв Скворцова за талию, я повел его к церкви... Заведя его в ограду, я поговорил с ним, и когда, по моему расчету, свадебный кортеж был уже в доме, — оставил его, не указав ему места, где находится украденный у него самовар.

Как ни неожиданна и ни экстраординарна была встреча с сумасшедшим, но, тем не менее, скоро она была забыта... Новый сюрприз, который был поднесен молодым их судьбою, был еще диковиннее...

Через час все мы сидели за длинными столами и обедали.

Кто привык к паутине, плесени и цыганскому гиканью графских апартаментов, тому странно было глядеть на эту будничную, прозаическую толпу, нарушавшую своей обыденной болтовней тишину ветхих, оставленных покоев. Эта пестрая, шумная толпа походила на стаю Скворцов, мимолетом опустившуюся отдохнуть на заброшенное кладбище, или — да простит мне это сравнение благородная птица! — на стаю аистов, опустившихся в одни из сумерек перелетных дней на развалины заброшенного замка.

Я сидел и ненавидел эту толпу, с суетным любопытством рассматривавшую гниущее богатство графов Карнеевых. Мозаиковые стены, скульптурные потолки, роскошные персидские ковры и мебель в стиле рококо вызывали восторг и изумление. Усатая физиономия графа, не переставая, осклаблялась самодовольной улыбкой... Восторженную лесть своих гостей принимал он, как нечто заслуженное, хотя в сущности он нимало не был повинен в богатстве и роскоши своего брошенного им гнезда, а, напротив, заслуживал самых горьких упреков и даже презрения за свой варварски тупой индифферентизм по отношению к добру, собранному его отцом и дедами, собранному не днями, а десятками лет! Только душевно слепой и нищий духом на каждой посеревшей мраморной плите, в каждой картине, в каждом темном уголке графского сада не видел пота, слез и мозолей людей, дети которых ютились теперь в избенках графской деревеньки... И из большого числа людей, сидевших за свадебным столом, людей богатых, независимых, которым ничто не мешало говорить даже самую резкую правду, не нашлось ни одного человека, который сказал бы графу, что его самодовольная улыбка глупа и неуместна... Каждый находил нужным льстиво улыбаться и курить грошовый фимиам! Если это была «простая» вежливость (у нас любят многое сваливать на вежливость и приличия), то я этим франтам предпочел бы невеж, едящих руками, берущих хлеб с чужого куверта и сморкающихся посредством двух пальцев...

Урбенин улыбался, но на это у него были свои причины. Он улыбался и льстиво, и почтительно, и детски счастливо. Его широкая улыбка была суррогатом собачьего счастья. Преданную и любящую собаку приласкали, осчастливили, и теперь она в знак благодарности весело и искренно виляет хвостом...

Он, как Рислер-старший в романе Альфонса Доде, сияя и потирая от удовольствия руки, глядел на свою молодую жену и от избытка чувств не мог удержаться, чтобы не задавать вопрос за вопросом:

«Кто б мог подумать, что эта молодая красавица полюбит такого старика, как я? И неужели она не могла найти кого-нибудь помоложе и изящнее? Непостижимы эти женские сердца!»

И он даже имел храбрость обратиться ко мне и сболтнуть:

— Да и век же настал как посмотришь! Хе-хе! Старик из-под носа молодежи утаскивает этакую фею! Чего же смотрели вы? Хе-хе... Нет, нынче уже не та молодежь!

Не зная, куда деваться от избытка чувств благодарности, распиравших его широкую грудь, он то и дело поднимался, протягивал к бокалу графа свой бокал и говорил дрожащим от волнения голосом:

— Чувства мои к вам известны, ваше сиятельство... В сегодняшний же день вы столько сделали для меня, что моя любовь к вам является просто прахом... Чем я заслужил такое внимание вашего сиятельства, что вы приняли такое участие в моей радости? Так только графы да банкиры празднуют свои свадьбы! Эта роскошь, собрание именитых гостей... Ах, да что говорить!.. Верьте, ваше сиятельство, что моя память не оставит вас, как не оставит она этот лучший и счастливейший из дней моей жизни...

И так далее... Оленьке, по-видимому, была не по душе витиеватая почтительность мужа... Она заметно

тяготилась его речами, вызывавшими улыбки на лицах обедавших, и даже, кажется, стыдилась их... Несмотря на выпитый бокал шампанского, она была невесела и угрюма по-прежнему... Та же бледность, что и в церкви, тот же испуг в глазах... Она молчала, лениво отвечала на все вопросы, насильно улыбалась островам графа и едва касалась дорогих кушаний... Насколько пьянеющий Урбенин считал себя счастливейшим из смертных, настолько несчастно было ее хорошенькое личико. Мне было просто жаль глядеть на него, и я, чтобы не видеть этого личика, старался глядеть себе в тарелку.

Чем нужно было объяснить эту ее печаль? Не начало ли раскаяние грызть бедную девушку? Или, быть может, ее тщеславие ожидало еще большей помпы?

Подняв во время второго блюда на нее глаза, я был поражен до боли в сердце. Бедная девочка, отвечая на какой-то пустой вопрос графа, делала усиленные глотательные движения: в ее горле накопились рыдания. Она не отрывала платка от своего рта и робко, как испуганный зверек, поглядывала на нас: не замечаем ли мы, что ей хочется плакать?

— Чего вы такая кислая сегодня? — спросил граф. — Эге! Петр Егорыч, это вы виноваты! Извольте-ка развеселить жену! Господа, я требую поцелуя. Ха-ха!.. Не для себя поцелуя, конечно, а того... чтобы они поцеловались! Горько!

— Горько! — подхватил Калинин.

Урбенин, улыбаясь во всё свое красное лицо, поднялся и замигал глазами. Оленька, понуждаемая возгласами и гиканьем гостей, слегка привстала и подставила Урбенину свои неподвижные, безжизненные губы... Тот поцеловал... Оленька стиснула свои губы, точно боясь, чтоб их не поцеловал в другой раз, и взглянула на меня... Вероятно, мой взгляд был нехорош. Уловив его, она вдруг покраснела, потянулась за платком и стала сморкаться, желая хоть чем-нибудь скрыть свое страшное замешательство... Мне пришло в голову, что она стыдится передо мной, стыдится за этот поцелуй, за брак...

«Какое мне дело до тебя?» — думал я, но сам в то же время не спускал с нее глаз, стараясь уловить причину ее замешательства...

Бедняжка не вынесла моего взгляда. Правда, краска стыда скоро сошла с ее лица, но зато из глаз выжались слезы, настоящие слезы, каких я никогда ранее не видывал на ее лице... Прижав платок к лицу, она поднялась и выбежала из столовой...

— У Ольги Николаевны голова болит, — поспешил я объяснить ее уход. — Она мне еще утром жаловалась...

— Оставь, брат! — сострил граф. — Головная боль тут ни при чем... Поцелуй всё наделал, сконфузилась. Объявляю, господа, жениху строгий выговор! Он не приучил свою невесту к поцелуям! Ха-ха!

Гости, восхищенные графской остротой, захохотали... Но не следовало хохотать...

Прошло пять, десять минут, и молодая не возвращалась... Наступило молчание... Даже граф перестал острить... Отсутствие Оленьки было тем более заметно, что она ушла внезапно, не сказав ни слова... Не говоря уж об этикете, который был оскорблен тут прежде всего, Оленька вышла из-за стола тотчас же после поцелуя, словно она рассердилась, что ее заставили целоваться с мужем... Нельзя было допустить, что она ушла оттого, что сконфузилась... Сконфузиться можно на минуту, на две, но не на целую вечность, какую показали нам первые десять минут ее отсутствия... Сколько нехороших мыслей промелькнуло в хмельных головах мужчин и сколько сплетен было уже наготове у милых дам! Невеста встала из-за стола и ушла — какое эффектное и сценическое место для «великосветского» уездного романа!

Урбенин стал беспокойно поглядывать по сторонам.

— Нервы... — бормотал он. — Или, может, развязалось что-нибудь из туалета... Кто их знает, этих женщин! Сейчас придет... Сию минуту.

Но когда прошло еще десять минут и она не появлялась, он посмотрел на меня такими несчастными, умоляющими глазами, что мне стало жаль его...

«Ничего, если я пойду поищу ее? — говорили его глаза. — Не поможете ли вы мне, голубчик, выйти из этого ужасного положения? Вы здесь самый умный, смелый и находчивый человек, помогите же мне!»

Я внял мольбе его несчастных глаз и решился помочь ему. Как я помог ему, читатель увидит далее... Скажу только, что крыловский медведь, оказавший услугу пустынножителю, в моих глазах теряет всё свое звериное величие, бледнеет и обращается в невинную инфузорию, когда я вспоминаю себя в роли «услужливого дурака»... Сходство между мной и медведем заключается только в том, что оба мы шли на помощь искренно, не предвидя дурных последствий нашей услуги, разница же между нами громадная... Мой камень, которым я хватил по лбу Урбенина, во много раз увесистее...

— Где Ольга Николаевна? — спросил я лакея, подававшего мне салат.

— В сад вышли, — отвечал он.

— Это ни на что непохоже, mesdames! — сказал я шутливым тоном, обращаясь к дамам. — Невеста ушла, и мое вино прокисло!.. Я должен пойти ее отыскать и привести ее сюда, хотя бы у нее болели все зубы! Шафер — должностное лицо, и он идет показать свою власть!

Я встал и при громких аплодисментах моего друга графа вышел из столовой в сад. В мою разгоряченную вином голову ударили прямые, жгучие лучи полуденного солнца. В лицо пахнуло зноем и духотой. Я наудачу пошел по одной из боковых аллей и, насвистывая какой-то мотив, дал «полный пар» своим следовательским способностям в роли простой ищейки. Я осмотрел все кустики, беседки, пещеры, и когда уже меня начало помучивать раскаяние, что я пошел вправо, а не влево, я вдруг услышал странные звуки. Кто-то смеялся или плакал. Звуки исходили из одной пещеры, которую я хотел осмотреть последней. Быстро войдя в нее, я, охваченный сыростью, запахом плесени, грибов и известки, увидел ту, которую искал.

Она стояла, облокотившись о деревянную колонну, покрытую черным мохом, и, подняв на меня глаза, полные ужаса и отчаяния, рвала на себе волосы. Из ее глаз лились слезы, как из губки, когда ее жмут.

— Что я наделала? Что наделала! — бормотала она.

— Да, Оля, что вы наделали! — сказал я, ставши перед ней и скрестив руки.

— Зачем я вышла за него замуж? Где у меня были глаза? Где был мой ум?

— Да, Оля... Трудно объяснить этот ваш шаг... Объяснять его неопытностью — слишком снисходительно, объяснять испорченностью — не хочется...

— Я сегодня только поняла... сегодня! Отчего я не поняла этого вчера? Теперь всё безвозвратно, всё потеряно! Всё, всё! Я могла бы выйти за человека, которого я люблю, который меня любит!

— За кого же это, Оля? — спросил я.

— За вас! — сказала она, посмотрев на меня прямо, открыто... — Но я поспешила! Я была глупа! Вы умны, благородны, молоды... Вы богаты... Вы казались мне недоступны!

— Ну, довольно, Оля, — сказал я, беря ее за руку. — Утром свои глазки и пойдем... Там ждут... Ну, будет плакать, будет... — Я поцеловал ее руку. — Будет, девочка! Ты сделала глупость и теперь расплачивайся за нее... Ты виновата... Ну, будет, успокойся...

— Ведь ты меня любишь? Да? Ты такой большой, красивый! Ведь любишь?

— Пора идти, душа моя... — сказал я, замечая, к своему великому ужасу, что я целую ее в лоб, беру ее за талию, что она ожигает меня своим горячим дыханием и повисает на моей шее...

— Будет тебе! — бормочу я. — Довольно!..

Когда минут через пять я вынес ее на руках из пещеры и, замученную новыми впечатлениями, поставил на землю, почти у самого порога я увидал Пшехоцкого... Он стоял, ехидно глядел на меня и тихо аплодировал... Я смерил его взглядом и, взяв Ольгу под руку, направился к дому.

— Сегодня же вас здесь не будет! — сказал я, оглянувшись, Пшехоцкому. — Ваше шпионство не пройдет вам даром!

Поцелуи мои, вероятно, были горячи, потому что лицо Ольги горело, как в огне. На нем не было и следа только что пролитых слез...

— Теперь мне, как говорится, море по колено! — бормотала она, идя со мной к дому и судорожно сжимая мой локоть. — Утром я не знала, куда деваться от ужаса, а сейчас... сейчас, мой хороший великан, я не знаю, куда деваться от счастья! Там сидит и ждет меня муж... Ха-ха! Мне-то что? Хоть бы он даже был крокодил, страшная змея... ничего не боюсь! Я тебя люблю и знать ничего не хочу.

Я поглядел на ее пылавшее счастьем лицо, на глаза, полные счастливой, удовлетворенной любви, и сердце мое сжалось от страха за будущее этого хорошенького, счастливого существа: любовь ее ко мне была только лишним толчком в пропасть... Чем кончит эта смеющаяся, не думающая о будущем женщина?.. Сердце мое сжалось и перевернулось от чувства, которое нельзя назвать ни жалостью, ни состраданием, потому что оно было сильнее этих чувств. Я остановился и взял Ольгу за плечо... Никогда в другое время я не видел ничего прекраснее, грациознее и в то же время жалче... Некогда было рассуждать, рассчитывать, думать, и я, охваченный чувством, сказал:

— Сию минуту едем ко мне, Ольга! Сейчас же!

— Как? Что ты сказал? — спросила она, не поняв моего несколько торжественного тона...

— Едем немедленно ко мне!

Ольга улыбнулась и показала мне на дом...

— Ну так что же? — сказал я. — Сегодня ли я возьму тебя или завтра — не всё ли равно? Но чем раньше, тем лучше... Идем!

— Но... это как-то странно...

— Ты, девочка, боишься скандала?.. Да, скандал будет необыкновенный, грандиозный, но лучше тысяча скандалов, чем оставаться тебе здесь! Я тебя здесь не оставляю! Я не могу тебя здесь оставить! Понимаешь, Ольга? Оставь твоё малодушие, твою женскую логику и слушайся! Слушайся, если не желаешь своей гибели!

Глаза Ольги говорили, что она меня не понимала... А время между тем не ждало, шло своим чередом, и стоять нам в аллее в то время, когда нас там ждали, было некогда. Нужно было решать... Я прижал к себе «девушку в красном», которая фактически была теперь моей женой, и в эти минуты мне казалось, что я действительно люблю ее, люблю любовью мужа, что она моя и судьба ее лежит на моей совести... Я увидел,

что я связан с этим созданием навеки, бесповоротно.

— Послушай, моя дорогая, мое сокровище! — сказал я. — Шаг этот смел... Он рассорит нас с близкими людьми, вызовет на наши головы тысячи попреков, слезных жалоб. Он, быть может, даже испортит мою карьеру, причинит мне тысячи непроходимых неудобств, но, милая моя, решено! Ты будешь моей женой... Лучшей жены мне не нужно, да и бог с ними, с этими женщинами! Я сделаю тебя счастливой, буду хранить тебя, как зеницу ока, пока жив буду, я воспитаю тебя, сделаю из тебя женщину! Обещаю тебе это, и вот тебе моя честная рука!

Я говорил с искренним увлечением, с чувством, как *jeune premier*⁹, исполняющий самое патетическое место в своей роли... Говорил я прекрасно, и недаром хлопнула мне крыльями пролетевшая над нашими головами орлица. А моя Оля взяла мою протянутую руку, подержала ее в своих маленьких руках и с нежностью поцеловала. Но это не было знаком согласия... На глупеньком личике неопытной, никогда ранее не слышавшей речей женщины выразалось недоумение... Она всё еще продолжала не понимать меня.

— Ты говоришь, идти к тебе... — проговорила она, думая... — Я тебя не совсем понимаю... Разве ты не знаешь, что скажет он?

— Да какое тебе дело до того, что он скажет?

— Как какое? Нет, Сережа, и не говори лучше... Оставь это, пожалуйста... Ты меня любишь, и больше мне ничего не нужно. С твоей любовью хоть в аду жить...

— Но как же ты будешь, дурочка?

— Я буду жить здесь, а ты... будешь приезжать каждый день... Я буду выходить тебя встречать.

— Но я без содрогания не могу представить себе этой твоей жизни!.. Ночью — он, днем — я... Нет, это невозможно! Оля, я так люблю тебя в настоящую минуту, что... я даже безумно ревнив... Я даже и не подозревал за собой способности на такие чувства...

Но какая неосторожность! Я держал ее за талию, а она нежно гладила мою руку в то время, когда во всякую минуту можно было ждать, что кто-нибудь пройдет по аллее и увидит нас.

— Идем, — сказал я, отдергивая свои руки. — Оденься и едем!

— Но как ты всё это скоро... — промычала она плаксивым голосом. — Спешись, словно на пожар... И бог знает что выдумал! Убежать сейчас же после венца! Что люди скажут!

И Оленька пожалала плечами. На лице ее было столько недоумения, удивления и непонимания, что я махнул рукой и отложил решение ее «жизненного вопроса» до следующего раза. Да и некогда уже было продолжать нашу беседу: мы всходили по каменным ступеням террасы и слышали людской говор. Перед дверью в столовую Оля поправила свою прическу, оглядела платье и вошла. На лице ее не заметно было смущения. Вошла она, сверх ожидания моего, очень храбро.

— Возвращаю вам, господа, беглянку, — сказал я, входя и садясь на свое место. — Насилу нашел... Даже утомился... Выхожу в сад, смотрю, а она изволит прохаживаться по аллее... «Зачем вы здесь?» — спрашиваю... — «Да так, говорит, душно!..»

Оля поглядела на меня, на гостей, на мужа... и захохотала. Ей стало вдруг смешно, весело. На лице ее я прочел желание поделиться со всей этой обедающей толпой своим внезапно набежавшим на нее счастьем, и, не имея возможности передать его на словах, она вылила его в своем смехе.

— Какая я смешная! — сказала она. — Хохочу и сама не знаю, чего хохочу... Граф, смейтесь!

— Горько! — крикнул Калинин.

Урбенин кашлянул и поглядел вопросительно на Олю.

— Ну? — спросила она, на секунду нахмурив брови.

— Кричат-с — «горько», — ухмыльнулся Урбенин, поднимаясь и вытирая салфеткой губы.

Ольга поднялась и дала ему поцеловать себя в неподвижные губы... Поцелуй этот был холоден, но еще более он поджег костер, тлевший в моей груди и готовый каждую минуту вспыхнуть пламенем... Я отвернулся и, стиснув губы, стал ждать конца обеда... Конец этот наступил, к счастью, скоро, иначе бы я не выдержал...

— Поди сюда! — сказал я грубо, подходя после обеда к графу.

Граф с удивлением поглядел на меня и последовал за мной в пустую комнату, куда я повел его...

— Что тебе нужно, дружочек? — спросил он, расстегивая жилетку и отрыгнув...

— Выбирай кого-нибудь из двух... — сказал я, едва держась на ногах от охватившего меня гнева. — Или я, или Пшехоцкий! Если ты не обещаешь мне, что через час этот подлец оставит твою деревню, я к тебе более ни ногой!.. Даю тебе на ответ полминуты!

Граф выронил изо рта сигару и расставил руки...

— Что с тобой, Сережа? — спросил он, делая большие глаза. — На тебе лица нет!

⁹ первый любовник (франц.)

— Без лишних слов, пожалуйста! Я не выношу шпиона, негодяя, подлеца и друга твоего Пшехоцкого и во имя наших хороших с тобой отношений требую, чтоб его не было здесь сейчас же!

— Но что он тебе сделал? — встревожился граф. — За что ты на него так нападаешь?

— Я тебя спрашиваю: я или он?

— Но, голубчик, ты ставишь меня в ужасно щекотливое положение... Пстой, у тебя на фраке перышко... Ты требуешь от меня невозможного!

— Прощай! — сказал я. — Я с тобой больше незнаком.

И, круто повернувшись, я пошел в переднюю, оделся и быстро вышел. Проходя через сад в людскую кухню, где я хотел приказать запрячь мне лошадь, я был остановлен встречей... Навстречу мне с маленькой чашечкой кофе шла Надя Калинина. Она тоже была на свадьбе Урбенина, но какой-то неясный страх заставлял меня избегать с ней разговора, и за весь день я ни разу не подошел к ней и не сказал с нею ни одного слова...

— Сергей Петрович! — сказала она неестественно низким голосом, когда я прошел мимо нее и слегка приподнял шляпу. — Пстойте!

— Что прикажете? — спросил я, подходя к ней.

— Приказывать мне нечего... да вы и не лакей, — сказала она, глядя мне в упор в лицо и страшно бледнея. — Вы куда-то спешите, но если вам не к спеху, можно задержать вас на минуту?

— Конечно... Я не знаю даже, зачем вы спрашиваете...

— В таком случае сядемте... Вы, Сергей Петрович, — продолжала она, когда мы сели, — сегодня вы всё время старались не замечать меня, обходили, словно боялись встретиться, а как нарочно сегодня-то я и порешила поговорить с вами... Я горда и самолюбива... не умею навязываться встречей... но раз в жизни можно пожертвовать гордостью.

— О чем вы это?

— Я порешила сегодня спросить вас... Вопрос унижительный, тяжелый для меня... не знаю, как и перенесу... Вы отвечайте, не глядя на меня... Неужели вам не жаль меня, Сергей Петрович?

Надя поглядела на меня и слабо покачала головой. Лицо ее еще более побледнело, верхняя губа задрожала и покривилась...

— Сергей Петрович! Мне всё кажется, что вас... отделило от меня какое-то недоразумение, каприз... Мне кажется, что выскажись мы — и всё пойдет по-старому... Если бы мне так не казалось, то у меня не хватило бы решимости задать вам вопрос, который вы сейчас услышите... Я, Сергей Петрович, несчастна... Вы должны это видеть... Жизнь моя не в жизнь... Вся высохла... А главное — какая-то неопределенность: не знаешь, надеяться или нет... Поведение ваше по отношению ко мне так непонятно, что невозможно вывести никакого определенного заключения... Скажите мне, и я буду знать, что мне делать... Тогда моя жизнь получит хотя какое-нибудь направление... Я тогда решусь на что-нибудь.

— Вы хотите, Надежда Николаевна, спросить меня о чем-то, — сказал я, готовя мысленно ответ на вопрос, который предчувствовал.

— Да, я хочу спросить... Вопрос унижительный... Если кто подслушает, то подумает, что я навязываюсь, словно... пушкинская Татьяна... Но это вымученный вопрос...

Действительно, вопрос был вымученный. Когда Надя повернула ко мне лицо, чтобы задать этот вопрос, я испугался: Надя дрожала, судорожно сжимала свои пальцы и с тоскливой медленностью выжимала из себя роковое слово. Ее бледность была страшна.

— Могу я надеяться? — прошептала она наконец. — Вы не бойтесь говорить прямо... Какой бы ни был ответ, но он лучше неопределенности. Так как же? Могу я надеяться?

Она ждала ответа, а между тем настроение моего духа было таково, что я не был способен на разумный ответ. Пьяный, взволнованный случаем в пещере, взбешенный шпионством Пшехоцкого и нерешительностью Ольги, переживший глупую беседу с графом, я едва слушал Надю.

— Могу я надеяться? — повторила она. — Отвечайте же!

— Ах, мне не до ответов, Надежда Николаевна! — махнул я рукой, поднимаясь. — Я неспособен давать теперь какие бы то ни было ответы. Простите меня, но я вас не слышал и не понял. Я глуп и взбешен... Напрасно только вы и беспокоились, право.

Я еще раз махнул рукой и оставил Надю. Только впоследствии, придя в себя, я понял, как глуп и жесток я был, не дав девушке ответа на ее простой, незамысловатый вопрос... Отчего я не ответил?

Теперь, когда я могу глядеть беспристрастно на прошлое, я не объясняю свою жестокость состоянием души... Мне сдается, что, не давая ей ответа, я кокетничал, ломался. Трудно понять человеческую душу, но душу свою собственную понять еще трудней. Если действительно я ломался, то да простит мне бог! Хотя, впрочем, издевательство над чужими страданиями не должно быть прощаемо.

Три дня ходил я из угла в угол, как волк в клетке, и всеми силами своей недюжинной воли старался не пускать себя из дому. Я не касался груды бумаг, лежавших на столе и терпеливо ожидавших моего внимания,

никого не принимал, бранился с Поликарпом, раздражался... Я не пускал себя в графскую усадьбу, и это упорство стоило мне сильной нервной работы. Я тысячу раз брался за шляпу и столько же раз бросал ее... То я решался пренебречь всем на свете и ехать к Ольге во что бы то ни стало, то окачивал себя холодом решения сидеть дома...

Рассудок мой был против поездки в графскую усадьбу. Раз я поклялся графу не бывать у него, мог ли я жертвовать своим самолюбием, гордостью? Что бы подумал этот усатый фат, если бы я, после того нашего глупого разговора, отправился к нему, как ни в чем не бывало? Не значило бы это сознаться в своей неправоте?..

Далее, как честный человек, я должен был бы порвать всякие сношения с Ольгой. Наша дальнейшая связь не могла бы ей дать ничего, кроме гибели. Выйдя замуж за Урбенина, она сделала ошибку, сойдясь же со мной, она ошиблась в другой раз. Живя с мужем-стариком и имея в то же время тайком от него любовника, не походила бы она на развратную куклу? Не говоря уже о том, как мерзка в принципе подобная жизнь, нужно было подумать и о последствиях.

Какой я трус! Я боялся и последствий, и настоящего, и прошлого... Обыкновенный человек посмеется над моими рассуждениями. Он не ходил бы из угла в угол, не хватал бы себя за голову и не строил бы всевозможных планов, а предоставил бы всё жизни, которая мелет в муку даже жёрновы. Жизнь переварила бы всё, не спрашивая ни его помощи, ни позволения... Но я мнителен до трусости... Ходил я из угла в угол, болел от сострадания к Ольге и в то же время ужасался мысли, что она поймет мое предложение, которое сделал я ей в минуты увлечения, и явится ко мне в дом, как обещал я ей, навсегда! Что было бы, если бы она послушалась меня и пошла за мной? Как долго продолжалось бы это «навсегда», и что дала бы бедной Ольге жизнь со мною? Я не дал бы ей семьи, а стало быть, не дал бы и счастья. Нет, не следовало мне ехать к Ольге!

А между тем душа моя неистово рвалась к ней... Я тосковал, как впервые влюбившийся мальчишка, которого не пускают на rendez-vous¹⁰. Искушенный происшествием в пещере, я жаждал нового свидания, и из головы моей ни на минуту не выходил вызывающий образ Ольги, которая, как я знал, тоже ждала меня и изнывала от тоски...

Граф слал письмо за письмом, одно другого плачевнее и унизительнее... Он умолял меня «забыть всё» и приехать, извинялся за Пшехоцкого, просил простить этого «доброе, простого, но несколько ограниченного человека», удивлялся, что я из-за пустяков решаюсь прервать старинные дружеские отношения. В одном из последних писем он обещался сам приехать и, если я пожелаю, привезти с собою Пшехоцкого, который попросит у меня извинения, «хотя и не чувствует за собой никакой вины». Я читал письма и в ответ на них просил каждого посланного оставить меня в покое. Умел я ломаться!

И в самый разгар моей нервной работы, когда я, стоя у окна, решал уже уехать куда-нибудь, помимо графской усадьбы, терзал себя рассуждениями, самопопреками и представлениями картин любви, которые ожидали меня у Ольги, моя дверь тихо отворилась, сзади меня послышались легкие шаги, и скоро шею мою обвивали две маленькие, хорошенькие руки...

— Это ты, Ольга? — спросил я, оглядываясь.

Я узнал ее по горячему дыханию, по манере, с которой она повисла на моей шее, и даже по запаху. Припав своей головкой к моей щеке, она казалась мне необыкновенно счастливой... От счастья она не могла выговорить ни слова... Я прижал ее к груди, и — куда девались тоска и вопросы, мучившие меня целых три дня! Я от удовольствия захохотал и запрыгал, как школьник.

Ольга была в голубом шёлковом платье, которое очень шло к ее бледному цвету лица и роскошным льняным волосам. Платье это было модно и ужасно дорого. Урбенину стоило оно, вероятно, четверти годового жалованья...

— Какая ты хорошенькая сегодня!.. — сказал я, поднимая Ольгу на руки и целуя ее в шею. — Ну, что? Как? Здорова?

— Как, однако, у тебя здесь нехорошо! — проговорила она, окидывая взглядом мой кабинет. — Богатый человек, жалованье большое получаешь, а как... просто живешь!

— Не всем же, душа моя, жить так роскошно, как граф, — сказал я. — Но оставим в покое мое богатство. Какой добрый гений занес тебя в мою берлогу?

— Постой, Сережа, ты помнешь мне мое платье... Опусть меня наземь... К тебе я, голубчик, на минутку! Дома я всем сказала, что поеду к Акатыхе, графской прачке, что тут живет недалеко, за три дома от тебя... Ты меня отпусти, голубчик, а то неловко... Почему ты не приезжал так долго?

Я ответил что-то, посадил ее против себя и занялся созерцанием ее красоты... Минуту мы глядели друг на друга и молчали...

¹⁰ свидание (франц.)

— Ты очень хорошенькая, Оля! — вздохнул я. — Даже жаль и обидно, что ты такая хорошенькая!

— Почему же жаль?

— Досталась чёрт знает кому.

— Но чего же тебе еще! Ведь я твоя! Пришла вот... Послушай, Сережа... Ты мне правду скажешь, если тебя спрошу?

— Конечно, правду.

— Ты женился бы на мне, если бы я не вышла за Петра Егорыча?

«Вероятно, нет», — хотелось мне сказать, но к чему было ковырять и без того уж болезненную ранку, мучившую сердце бедной Оли?

— Конечно, — сказал я тоном человека, говорящего правду.

Оля вздохнула и потупилась...

— Как я ошиблась, как ошиблась! И что хуже всего, нельзя поправить! Развестись ведь с ним нельзя?

— Нельзя...

— И к чему я спешила, не понимаю! Мы, девушки, так глупы и ветрены... Бить нас некому! Впрочем, не воротишь, и рассуждать тут нечего... Ни рассуждения, ни слезы не помогут. Я, Сережа, сегодня всю ночь плакала! Он тут... около лежит, а я про тебя думаю... спать не могу... Хотела даже бежать ночью, хоть в лес к отцу... Лучше жить у сумасшедшего отца, чем с этим... как его...

— Рассуждения, Оля, не помогут... Нужно было тогда рассуждать, когда ты ехала со мной из Тенева и радовалась, что выходишь за богатого человека... Теперь же поздно упражняться в красноречии...

— Поздно... но так тому и быть! — сказала Оля, решительно махнув рукой. — Лишь бы только хуже не было, а то еще можно жить... Прощай! Пора уж идти...

— Нет, не прощай!

Я привлек к себе Олю и стал осыпать ее лицо поцелуями, словно стараясь вознаградить себя за утерянны́е три дня. Она жалась ко мне, как озябший барашек, грела мое лицо своим горячим дыханием... Наступила тишина...

— Муж убил свою жену! — гаркнул мой попугай...

Оля вздрогнула, высвободилась из моих объятий и вопросительно поглядела на меня...

— Это попугай, душа моя... — сказал я. — Успокойся...

— Муж убил свою жену! — повторил Иван Демьяныч.

Оля поднялась, молча надела шляпу и подала мне руку... На лице ее был написан испуг...

— А что, если Урбенин узнает? — спросила она, глядя на меня большими глазами. — Ведь он убьет меня!

— Ну, полно... — засмеялся я. — Хорош был бы я, если бы позволил ему убить тебя! Да едва ли он способен на такое необыкновенное дело, как убийство... Ты уходишь? Ну, прощай же, дитя мое... Жду... Завтра буду в лесу около домика, где ты жила... Встретимся...

Проводивши Ольгу и воротясь в кабинет, я встретил там Поликарпа. Он стоял посреди комнаты, сурово поглядел на меня и презрительно покачивал головой...

— Чтобы в другой раз у меня этого не было, Сергей Петрович! — сказал он тоном строгого родителя. — Я этого не желаю...

— Чего это?

— Того самого... Вы думаете, я не видел? Всё видел... Чтоб она не смела сюда ходить! Нечего тут шуры-муры заводить! На это другие места есть...

Я был в великолепнейшем настроении духа, а потому шпионство и менторский тон Поликарпа не рассердили меня. Я засмеялся и усладил его в кухню.

Не успел я еще опомниться после посещения Ольги, как ко мне пожаловал новый гость. К моей квартире подъехала с шумом карета, и Поликарп, плюя по сторонам и бормоча ругательства, доложил мне о приезде «того... энтото, чтоб его...», т. е. графа, которого он ненавидел всеми силами своей души. Граф вошел, слезливо поглядел на меня и покачал головой...

— Ты отворачиваешься... Не хочешь говорить...

— Я не отворачиваюсь, — сказал я.

— Я так любил тебя, Сережа, а ты... из-за пустяка! За что ты меня оскорбляешь? За что?

Граф сел, вздохнул и покачал головой...

— Ну, будет тебе дурака ломать! — сказал я. — Ладно!

Сильно было мое влияние над этим слабым, тщедушным человечешком, так же сильно, как и презрение к нему... Мой презрительный тон не оскорбил его, а напротив... Услышав мое «ладно!», он вскочил и принялся обнимать меня.

— Я привез его с собой... Он сидит в карете... хочешь, чтоб он перед тобой извинился?

— А ты знаешь его вину?

— Нет...

— И отлично. Пусть не извиняется, но только предупреди его, что если случится впредь еще раз что-либо подобное, то я уж кипятиться не стану, а приму меры.

— Стало быть, мир, Сережа? И отлично! Так бы и давно, а то чёрт знает из-за чего поссорились! Словно институтки! Ах, да, голубчик! Нет ли у тебя... полрюмки водки? Ужасно пересохло в горле!

Я приказал подать водки. Граф выпил две рюмки, развалился на диване и стал болтать.

— Сейчас я, брат, встретился с Олей... Чудо женщина! Надо тебе сказать, что я начинаю ненавидеть Урбенина... Это значит, что Оленька начинает мне нравиться... Чертовски хорошенькая! Я думаю приволокнуться за ней.

— Не следует трогать замужних! — вздохнул я.

— Ну, у старика... У Петра-то Егорыча не грех его супругу подтибрить... Она ему не пара... Он, как собака: и сам не трескает и другим не дает... Сегодня же начну свои приступы и начну систематически... Такая душонка... гм... просто шик, братец! Пальчики оближешь!

Граф выпил третью рюмку и продолжал:

— Знаешь, кто мне еще нравится из здешних?... Наденька, дочка этого дурака Калинина... Жгучая брюнетка, бледная, знаешь, с такими глазами... Тоже нужно будет удочку закинуть... На Троицу делаю вечер... музыкально-вокально-литературный... нарочно, чтоб ее позвать... А здесь, брат, как оказывается, ничего себе, весело! И общество, и женщины... и... Можно у тебя здесь уснуть... на минутку?..

— Можно... Но как же Пшехоцкий с каретой?

— Пусть ждет, чёрт с ним!.. Я сам, брат, его не люблю.

Граф приподнялся на локоть и проговорил таинственно:

— Держу только по необходимости... по нужде... Ну, да чёрт с ним!

Локоть графа подвернулся, и голова упала на подушку. Через минуту послышался храп.

Вечером, когда граф уехал, у меня был третий гость: доктор Павел Иванович. Он приезжал известить меня о болезни Надежды Николаевны и о том, что она... окончательно отказала ему в своей руке. Бедняга был печален и походил на мокрую курицу.

Прошел поэтический май...

Отцвели сирень и тюльпаны, а с ними суждено было отцвести и восторгам любви, которая, несмотря на свою преступность и мучительность, все-таки изредка доставляла нам сладкие минуты, не изгладимые из памяти. А бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы!

В один из июньских вечеров, когда солнце уже зашло, но широкий след его — багрово-золотистая полоса еще красила далекий запад и пророчила назавтра тихий и ясный день, я подъехал на Зорьке к флигелю, в котором жил Урбенин. В этот вечер у графа предполагался «музыкальный» вечер. Гости уже начали съезжаться, но графа не было дома: он поехал кататься и обещал скоро вернуться.

Немного погодя я, держа свою лошадь за повод, стоял у крылечка и беседовал с дочкой Урбенина, Сашей. Сам Урбенин сидел на ступеньке и, подперев кулаками голову, всматривался в даль, которую видно было в ворота. Он был угрюм, неохотно отвечал на мои вопросы. Я оставил его в покое и занялся Сашей.

— Где твоя новая мама? — спросил я ее.

— Поехала с графом кататься. Она каждый день с ним ездит.

— Каждый день, — пробормотал Урбенин, вздохнув.

Многое слышалось в этом вздохе. Слышалось в нем то же самое, что волновало и мою душу, что старался я объяснить себе, но не мог объяснить и терялся в догадках.

Каждый день Ольга ездила с графом кататься верхом. Но это пустяки. Ольга не могла полюбить графа, и ревность Урбенина была неосновательна. Ревновать должны были мы не к графу, а к чему-то другому, чего я не мог понять так долго. Это «что-то другое» стало между мной и Ольгой целой стеной. Она продолжала любить меня, но после того посещения, которое было описано в предыдущей главе, она была у меня еще не более двух раз, а встречаясь со мной вне моей квартиры, как-то странно вспыхивала и настойчиво уклонялась от ответов на мои вопросы. На мои ласки она отвечала горячо, но ответы ее были так порывисты и пугливы, что от наших коротких рандеву оставалось в моей памяти одно только мучительное недоумение. Совесть у нее была нечиста — это было ясно, но в чем именно — нельзя было прочесть на виноватом лице Ольги.

— Надеюсь, твоя новая мама здорова? — спросил я Сашу.

— Здолова. Но только ночью у нее зубы болели. Она плакала.

— Плакала? — повернул Урбенин свое лицо к Саше. — Ты видела? Это тебе, милочка, приснилось.

Зубы у Ольги не болели. Если она плакала, то не от боли, а от чего-то другого... Я еще хотел поговорить с Сашей, но это мне не удалось, потому что послышался лошадиный топот, и скоро мы увидели всадника, некрасиво прыгавшего на седле, и грациозную амазонку. Чтобы скрыть от Ольги свою радость, я поднял на руки Сашу, и перебирая пальцами ее белокурые волосы, поцеловал ее в голову.

— Какая ты хорошенькая, Саша! — сказал я. — Какие у тебя славные кудряшки!

Ольга мельком взглянула на меня, молча ответила на мой поклон и, опираясь о руку графа, вошла во флигель. Урбенин поднялся и пошел за ней.

Минут через пять из флигеля вышел граф. Он был весел как никогда. Даже лицо его казалось посвежевшим.

— Поздравь! — сказал он, беря меня под руку и хихикая.

— С чем?

— С победой... Еще одна такая поездка, и, клянусь прахом моих благородных предков, с этого цветка я сорву лепестки.

— Но пока еще не сорвал?

— Пока?... Чуть-чуть! В продолжение десяти минут «твоя рука в моей руке», — запел граф, — и... ни разу не отдернула ручки... Зацеловал! Но подождем до завтра, а теперь идем. Меня ждут. Ах, да! Мне нужно поговорить с тобой, голубчик, об одной вещи. Скажи мне, милый, правду ли говорят, что ты тово... питаешь злостные намерения относительно Наденьки Калининой?

— А что?

— Если это правда, то мешать тебе я не стану. Подставлять другому ножку не в моих правилах. Если же ты никаких видов не имеешь, то, конечно...

— Не имею.

— Мерсі, душа моя!

Граф мечтал убить сразу двух зайцев, вполне уверенный, что это ему удастся. И я в описываемый вечер наблюдал погоню за этими зайцами. Погоня была глупа и смешна, как хорошая карикатура. Глядя на нее, можно было только смеяться или возмущаться пошлостью графа; но никто бы не мог подумать, что эта мальчишеская погоня кончится нравственным падением одних, гибелью других и преступлением третьих!

Граф убил не двух зайцев, а больше! Он их убил, но шкура и мясо достались не ему.

Я видел, как он тайком пожимал руку Ольге, всякий раз встречавшей его дружеской улыбкой, а провожавшей презрительной гримасой. Раз даже, желая показать, что между им и мною нет тайн, он поцеловал ее руку при мне.

— Какой болван! — прошептала она мне на ухо, вытирая свою руку.

— Послушай, Ольга! — сказал я по уходе графа. — Мне кажется, что тебе хочется что-то сказать мне. Хочется?

Я пытливо взглянул на ее лицо. Она вспыхнула и пугливо заморгала глазами, как кошка, пойманная в воровстве.

— Ольга, — сказал я строго, — ты должна сказать мне! Я этого требую!

— Да, я хочу тебе кое-что сказать, — зашептала она, сжимая мне руку. — Я тебя люблю, жить без тебя не могу, но... не ездь ко мне, милый мой! Не люби меня больше и говори мне «вы». Я не могу уж продолжать... Нельзя... И не показывай даже виду, что ты меня любишь.

— Но почему же?

— Я так хочу. Причины знать тебе не нужно, и я их не скажу. Идут... Отойди от меня.

Я не отошел от нее, и ей самой пришлось прекратить наш разговор. Взяв под руку шедшего мимо мужа, она с лицемерной улыбкой кивнула мне головой и ушла.

Другой графский заяц — Наденька Калинина удостоилась в этот вечер особенного графского внимания. Он вертелся возле нее весь вечер, рассказывал ей анекдоты, острил, кокетничал... а она, бледная, замученная, кривила свой рот в насильственную улыбку. Мировой Калинин все время наблюдал за ними, поглаживал бороду и значительно кашлял. Ухаживанье графа было ему по нутру. У него зятем граф! Что может быть слаще этой мечты для уездного бонвивана? После того, как начались ухаживанья графа за его дочерью, он вырос в своих глазах на целый аршин. А какими величественными взглядами измерял он меня, как ехидно покашливал, когда беседовал со мною! «Ты вот, мол, поцеремонился, ушел, а мы — наплевать! — Теперь у нас граф есть!»

На другой день вечером я опять был в графской усадьбе. На этот раз я беседовал не с Сашей, а с ее братом-гимназистом. Мальчик повел меня в сад и вылил передо мной всю свою душу. Излияния эти были вызваны моим вопросом о житье его с «новой мамашей».

— Она ваша хорошая знакомая, — начал он, нервно расстегивая свой мундирчик, — вы ей расскажете, но я не боюсь... Рассказывайте, сколько угодно! Она злая, низкая!

И он рассказал мне, что Ольга отняла у него комнату, прогнала старуху-няню, служившую у Урбенина десять лет, вечно кричит и злится.

— Вчера вы похвалили волосы сестры Саши... Ведь хорошие волосы? Настоящий лен! А она сегодня утром остригла ее!

«Это ревность!» — объяснил я себе это вторжение Ольги в чуждую ей парикмахерскую область...

— Ей словно завидно стало, что вы похвалили не ее волосы, а Сашины! — подтвердил мальчик мою

мысль. — Она и папашу замучила. Папаша страшно тратится на нее, отрывается от дела... и опять начал пить! Опять! Она дурочка... Весь день плачет, что ей приходится жить в бедности, в таком маленьком флигеле. А разве папаша виноват, что у него не много денег? — Мальчик рассказал мне много печального. Он видел то, чего не видел или не хотел видеть его ослепленный отец. У бедняжки был оскорблен отец, оскорблены были сестра, старуха-няня. У него отняли его маленький очаг, где он привык возиться над установкой своих книжек и кормежкой пойманных им щеглят. Всё было обижено, над всем посмеялась глупая и полновластная мачеха! Но бедному мальчику не могло и присниться то страшное оскорбление, которое было нанесено молодой мачехой его семье и свидетелем которого я был в тот же вечер, после разговора с ним. Всё меркло перед этим оскорблением, и остриженные волосы Саши в сравнении с ним являются ничтожным пустяком.

Поздно вечером я сидел у графа. Мы, по обыкновению, пили. Граф был совершенно пьян, я же только слегка.

— Сегодня мне уже позволили нечаянно коснуться талии, — бормотал он. — Завтра, стало быть, начнем еще дальше.

— Ну, а Надя? С Надей как?

— Шествуем! С нею пока только начало. Переживаем пока еще период разговора глазами. Я брат, люблю читать в ее черных, печальных глазах. В них что-то написано этакое, чего на словах не передашь, а можешь понять только душой. Выпьем?

— Стало быть, ты ей нравишься, если она имеет терпение беседовать с тобой по целым часам. И папаше ее нравишься.

— Папаше? Это ты про того болвана? Ха-ха! Дуралей подозревает во мне честные намерения!

Граф закашлялся и выпил.

— Он думает, что я женюсь! Не говорю уж о том, что мне нельзя жениться, но если честно рассуждать, то для меня лично честнее обольстить девушку, чем жениться на ней... Вечная жизнь с пьяным, кашляющим полустарпком — бррр! Жена моя зачахла бы или убежала бы на другой день... Но что это за шум?

Мы с графом вскочили... Захлопали почти одновременно несколько дверей, и к нам в комнату вбежала Ольга. Она была бледна, как снег, и дрожала, как струна, по которой сильно ударили. Волосы ее были распущены, зрачки расширены. Она задыхалась и мяла между пальцами грудные сборки своего ночного пеньюара...

— Ольга, что с тобой? — спросил я, хватая ее за руку и бледнея.

Графа должно было удивить это нечаянно пророненное «тобой», но его он не слышал. Весь обратившийся в большой вопросительный знак, раскрыв рот и выпуча глаза, он глядел на Ольгу, как на привидение.

— Что случилось? — спросил я.

— Он бьет меня! — проговорила Ольга и, зарыдав, упала в кресла. — Он бьет!

— Кто он?

— Муж! Я не могу с ним жить! Я ушла!

— Это возмутительно! — стукнул граф кулаком по столу. — Какое он имеет право! Это тирания... это... это чёрт знает что такое! Бить жену?! Бить! За что это он вас?

— Ни за что ни про что, — заговорила Оля, утирая слезы. — Вынимаю я из кармана носовой платок, а из кармана и выпало то письмо, что вы мне вчера прислали... Он подскочил, прочел и... стал бить... Схватил меня за руку, сдвинул — посмотрите, до сих пор на руке красные пятна, — и потребовал объяснений... Я, вместо того чтоб объяснить, прибежала сюда... Хоть вы заступитесь! Он не имеет права обращаться так грубо с женой! Я не кухарка! Я дворянка!

Граф заходил из угла в угол и стал молотить пьяным, путающимся языком какую-то чушь, которая, в переводе на трезвый язык, должна была бы означать: «О положении женщин в России».

— Это варварство! Это Новая Зеландия! Не думает ли также этот мужик, что на его похоронах будет зарезана его жена? Дикари ведь, уходя на тот свет, берут с собой и своих жен!..

Я же не мог опомниться... Как нужно было понять внезапный визит Ольги в ночном пеньюаре, что нужно было думать, что решить? Если ее побили, если оскорбили ее достоинство, то почему она бежала не к отцу, не к экономке... наконец, не ко мне, который для нее был все-таки близок? Да и впрямь ли ее оскорбили? Сердце мое говорило о невинности простака Урбенина; оно, чуя правду, сжималось тою болью, которую в это время должен был чувствовать ошеломленный муж. Не задавая вопросов и не зная, с чего начать, я стал успокаивать Ольгу и предложил ей вина.

— Как я ошиблась! Как ошиблась! — вздохнула она сквозь слезы, поднося рюмку к губам. — А ведь каким тихоней прикидывался он, когда ухаживал за мной! Я думала, что это ангел, а не человек!

— А вы хотели, чтоб ему понравилось то письмо, которое выпало из кармана? — спросил я. — Хотели, чтоб он расхохотался?

— Не будем об этом говорить! — перебил меня граф, — Как бы там ни было, а его поступок подл! С женщинами так не обращаются! Я его на дуэль вызову! Я ему покажу! Верьте, Ольга Николаевна, что это не пройдет ему даром!

Граф хорохорился, как молодой индюк, хотя его никто не уполномочивал становиться между мужем и женой. Я молчал и не противоречил ему, потому что знал, что мщение за чужую жену ограничится одним только пьяным словоизвержением в четырех стенах и что о дуэли будет забыто завтра же. Но почему молчала Ольга?.. Не хотелось думать, что она была не прочь от услуг, которые предлагал ей граф. Не хотелось верить, что у этой глупой красивой кошки было так мало достоинства, что она охотно согласится, чтобы пьяный граф стал судьей мужа и жены...

— Я его с грязью смешаю! — провизжал новоиспеченный рыцарь. — Наконец я ему пощечину дам! Завтра же!

И она не зажала рта этому прохвосту, оскорблявшему спяна человека, который был виноват только в том, что обманулся и был обманут! Урбенин сдавил сильно ей руку, и это вызвало скандальный побег в графский дом, теперь же на ее глазах пьяный нравственный недоросль давил честное имя и лил грязными помоями на человека, который в это время должен был изнывать от тоски и неизвестности, сознавать себя обманутым, а она хоть бы бровью двинула!

Пока граф изливал свой гнев, а Ольга утирала слезы, человек подал жареных куропаток. Граф положил гостье полкуропатки... Она отрицательно покачала головой, потом же как бы машинально взяла вилку и нож и начала есть. За куропаткой следовала большая рюмка вина, и скоро от слез не осталось никакого следа, кроме розовых пятен около глаз да редких глубоких вздохов.

Скоро мы услышали смех... Ольга смеялась, как утешенное, забывшее обиду дитя. Граф, глядя на нее, тоже смеялся.

— Знаете, что я надумал? — начал он, подсаживаясь к ней. — Я хочу устроить у себя любительский спектакль. Дадим пьесу с хорошими женскими ролями. А? Как вы думаете?

Начали говорить о любительском спектакле. Как эта глупая беседа не вязалась с тем недавним ужасом, который был написан на лице Ольги, когда она вбежала час тому назад, бледная, плачущая, с распущенными волосами! Как дешевы этот ужас, эти слезы!

А время между тем шло. Пробило двенадцать. Порядочные женщины в эту пору ложатся спать. Ольге пора уже была уходить. Но пробило половину первого, пробило час, а она всё сидела и беседовала с графом.

— Пора уже спать, — сказал я, взглянув на часы. — Я ухожу... Вы позволите проводить вас, Ольга Николаевна?

Ольга поглядела на меня, на графа.

— Куда же я пойду? — прошептала она. — К нему я не могу идти.

— Да, да, конечно, к нему вы уже не можете идти, — сказал граф. — Кто поручится, что он не побьет вас еще раз? Нет, нет!

Я прошелся по комнате. Наступила тишина. Я ходил из угла в угол, а мой друг и моя любовница следили за моими шагами. Мне казалось, что я понимал и эту тишину и эти взгляды. В них было что-то выжидательное, нетерпеливое. Я положил шляпу и сел на диван.

— Тэк-с, — бормотал граф, нетерпеливо потирая руки. — Тэк-с... Такие-то дела...

Пробило половину второго. Граф быстро взглянул на часы, нахмурился и зашагал по комнате. По взглядам, которые он бросал на меня, видно было, что ему хотелось что-то сказать мне, что-то нужное, но щекотливое, неприятное.

— Послушай, Сережа! — решился он наконец, сядя рядом со мной и шепча мне на ухо. — Ты, голубчик, не обижайся... Ты, конечно, поймешь мое положение, и тебе не покажется странной и дерзкой моя просьба.

— Говори поскорее! Нечего мочалу жевать!

— Видишь ли, в чем дело... тово... Уйди, голубчик! Ты нам мешаешь... Она у меня останется... Ты меня извини за то, что я тебя гоню, но... ты поймешь мое нетерпение.

— Ладно.

Друг мой был отвратителен. Не будь я брезглив, я, быть может, раздавил бы его, как жука, когда он, трясясь, как в лихорадке, просил меня оставить его с Урбениной. Поэтическую «девушку в красном», мечтавшую об эффектной смерти, воспитанную лесами и сердитым озером, хотел взять он, расслабленный анахорет, пропитанный насквозь спиртом и больной! Нет, она не должна быть даже за версту от него!

Я подошел к ней.

— Я ухожу, — сказал я.

Она кивнула головой.

— Мне уйти отсюда? Да? — спросил я, стараясь прочесть истину на ее хорошеньком, разгоревшемся личике. — Да?

Чуть заметным движением своих длинных черных ресниц она ответила: «Да».

— Ты обдумала?

Она отвернулась от меня, как отворачиваются от надоевшего ветра. Ей не хотелось говорить. Да и к чему было говорить? Нельзя на длинную тему ответить коротко, а для длинных речей не было ни места, ни времени.

Я взял шляпу и не простясь вышел. Впоследствии Ольга рассказывала мне, что тотчас же после моего ухода, как только шум от моих шагов смешался с шумом ветра и сада, пьяный граф сжимал уже ее в своих объятиях. А она, закрыв глаза, зажав себе рот и ноздри, едва стояла на ногах от чувства отвращения. Была даже минута, когда она чуть было не вырвалась из его объятий и не убежала в озеро. Были минуты, когда она рвала волосы на голове, плакала. Нелегко продаваться.

Выйдя из дома и направляясь к конюшне, где стояла моя Зорька, я должен был проходить мимо дома управляющего. Я заглянул в окно. При тусклом свете сильно пущенной, коптящей лампы за столом сидел Петр Егорыч. Лица его я не видел. Оно было закрыто руками. Но во всей его толстой, неуклюжей фигуре чудилось столько горя, тоски и отчаяния, что не нужно было видеть лица, чтобы понять состояние души. Перед ним стояли две бутылки. Одна пустая, другая только что начатая. Обе были водочные. Бедняга искал мира не в себе самом, не в людях, а в алкоголе.

Через пять минут я ехал домой. Темнота была ужасная. Озеро сердито бурлило и, казалось, гневалось, что я, такой грешник, бывший сейчас свидетелем грешного дела, дерзал нарушать его суровый покой. В потемках не видал я озера. Казалось, что ревело невидимое чудовище, ревела сама окутывавшая меня тьма.

Я остановил Зорьку, закрыл глаза и задумался под рев чудовища.

— А что если я ворочусь сейчас и уничтожу их?

Страшная злоба бушевала в душе моей... Всё то небольшое хорошее и честное, что осталось во мне после продолжительной жизненной порчи, всё то, что уцелело от тления, что я берег, лелеял, чем гордился, было оскорблено, оплевано, обрызгано грязью!

Ранее знал я продажных женщин, покупал их, изучал, но у тех не было невинного румянца и искренних голубых глаз, которые видел я в то майское утро, когда шел лесом на теневскую ярмарку... Я, сам испорченный до мозга костей, прощал, проповедовал терпимость ко всему порочному, снисходил до слабости... Был я того убеждения, что нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью, и нельзя винить те червонцы, которые силою обстоятельств попадают в грязь... Но ранее не знал я, что червонцы могут растворяться в грязи и смешиваться с нею в одну массу. Растворимо, значит, и золото!

Сильный порыв ветра сорвал с меня шляпу и унес ее в окружавший мрак. Сорвавшаяся шляпа на лету шмыгнула по морде Зорьки. Она испугалась, взвилась на дыбы и понеслась по знакомой дороге.

Приехав домой, я повалился в постель. Поликарп, предложивший мне раздеваться, был ни за что ни про что обруган чёртом.

— Сам — чёрт, — проворчал Поликарп, отходя от кровати.

— Что ты сказал? Что ты сказал? — вскочил я.

— Глухому попу две обедни не служат.

— Ааа... ты еще смеешь говорить мне дерзости! — задрожал я, выливая всю свою желчь на бедного лакея. — Вон! Чтоб и духу твоего здесь не было, негодяй! Вон!

И, не дожидаясь, пока человек выйдет из комнаты, я повалился в постель и зарыдал, как мальчишка. Напряженные нервы не вынесли. Бессильная злоба, оскорбленное чувство, ревность — всё должно было вылиться так или иначе.

— Муж убил свою жену! — горланил мой попугай, ероша свои жидкие перья...

Под влиянием этого крика мне пришла в голову мысль, что Урбенин мог убить свою жену...

Засыпая, я видел убийство. Кошмар был душастый, мучительный... Мне казалось, что руки мои гладили что-то холодное и что стоило бы мне только открыть глаза, и я увидел бы труп... Мерещилось мне, что у изголовья стоит Урбенин и глядит на меня умоляющими глазами...

После описанной ночи наступило затишье.

Я засел дома, позволяя себе выходить и выезжать только по делам службы. Дел у меня накопилось пропасть, а потому скучать было невозможно. От утра до вечера я сидел за столом и усердно строчил или же допрашивал попавший в мои следовательские когти люд. В Карнеевку, в графскую усадьбу, меня более уже не тянуло.

На Ольгу я махнул рукой. Что с воза упало, то пропало; а она была именно тем, что упало с моего воза и, как я думал, безвозвратно пропало. Я не думал о ней и думать не хотел.

«Глупая, развратная дрянь!» — третирил я ее всякий раз, когда она во время моих усиленных занятий появлялась в моем воображении.

Изредка разве, когда я ложился спать или просыпался утром, мне приходили на память различные моменты из знакомства и непродолжительного житья моего с Ольгой. Мне вспоминались: Каменная Могила,

лесной домик, в котором жила «девушка в красном», дорога в Тенево, свидание в пещере... и сердце мое начинало усиленно биться... Я ощущал щемящую боль... Но все это было непродолжительно. Светлые воспоминания быстро стусевывались под напором тяжелых воспоминаний. Какая поэзия прошлого могла устоять перед грязью настоящего? И теперь, покончив с Ольгой, я далеко уже не так глядел на эту «поэзию», как прежде... Теперь я глядел на нее, как на оптический обман, ложь, фарисейство... и она утратила в моих глазах половину прелести.

Граф же мне опротивел окончательно. Я рад был, что не вижу его, и меня всегда злило, когда его усатая физиономия робко появлялась в моем воображении. Он каждый день присылал мне письма, в которых умолял меня не хандрить и посетить «уже не одинокого отшельника». Послушаться его писем — значило бы сделать для себя неприятность.

«Кончено! — думал я. — И слава богу... Надоело...»

Я решил прервать с графом сношения, и эта решимость не стоила мне ни малейшей борьбы. Теперь я был уже не тот, что недели три тому назад, когда после ссоры из-за Пшехоцкого едва сидел дома. Приманки уже не было...

Посидев безвыходно дома, я заскучал и написал доктору Павлу Ивановичу письмо с просьбой приехать поболтать. Ответа на письмо я почему-то не получил и послал другое. На второе был такой же ответ, как и на первое... Очевидно, милый «щур» делал вид, что сердится... Бедняга, получив отказ от Наденьки Калининой, причиной своего несчастья считал меня. Он имел право сердиться, и если ранее никогда не сердился, то потому, что не умел.

«Когда же это он успел научиться?» — недоумевал я, не получая ответа на свои письма.

На третьей неделе моего упорного, безвыходного сиденья меня посетил граф. Побранив меня за то, что я не езжу к нему и не отвечаю на его письма, он разлегся на диване и прежде, чем захрапеть, поговорил на свою любимую тему — о женщинах...

— Я понимаю, — сказал он, томно щуря глаза и кладя под голову руки, — ты деликатен и щепетилен. Ты не едешь ко мне из боязни нарушить наш дуэт... помешать... Гость не вовремя хуже татарина, гость же в медовый месяц хуже чёрта рогатого. Я тебя понимаю. Но, друг мой, ты забываешь, что ты друг, а не гость, что тебя любят, уважают... Да своим присутствием ты только дополнил бы гармонию... А уж и гармония, братец ты мой! Такая гармония, что и описать тебе не могу!

Граф вытащил из-под головы руку и махнул ею.

— Сам не разберу, хорошо ли мне с нею живется, или скверно. И чёрт не разберет! Бывают действительно минуты, когда полжизни бы отдал за «bis», но зато бывают деньки, когда ходишь из угла в угол, как очумелый, и реветь готов...

— Чего же ради?

— Не понимаю, брат, я этой Ольги. Какая-то лихорадка, а не женщина... В лихорадке то жар, то озноб, так вот и у нее, пять перемен на день. То ей весело, то скучно до того, что глотает слезы и молится... То любит меня, то нет... Бывают минуты, когда она ласкает меня, как отроду не ласкала меня еще ни одна женщина. Но зато бывает и так. Проснешься нечаянно, откроешь глаза и видишь обращенное на тебя лицо... этакое какое-то ужасное, дикое... Перекошено оно, это лицо, злобой, отвращением... Как увидишь этакую штуку, всё обаяние пропало... И часто она так на меня смотрит...

— С отвращением?

— Ну да!.. Не пойму никак... Сошлась со мной, как уверяет, только по любви, а между тем не проходит ночи, чтоб я этакое лица не видел. Чем объяснить? Мне начинает казаться, чему я, конечно, верить не хочу, что она меня терпеть не может, а отдалась мне только из-за тех тряпок, которые я теперь ей покупаю. Ужасно любит тряпки! В новом платье она в состоянии простоять перед зеркалом от утра до вечера; из-за испорченной оборки она в состоянии проплакать день и ночь... Ужасно суетна! Более всего во мне нравится ей то, что я граф. Не будь я графом, она не полюбила бы меня. Не проходит ни одного обеда и ужина, чтоб она не упрекнула меня со слезами, что я не окружаю себя аристократическим обществом. Ей, видишь, хотелось бы царить в этом обществе... Странная!

Граф устремил свой мутный взор в потолок и задумался. К великому моему удивлению, я заметил, что он на этот раз, сверх обыкновения, был трезв. Это меня поразило и даже тронуло.

— А ты сегодня нормален, — сказал я, — и не пьян, и водки не просишь. Что сей сон означает?

— Да так! Некогда было пить, всё время думал... Я, надо сказать тебе, Сережа, увлекся серьезно, не на шутку. Она мне понравилась страшно. Да оно и понятно... Женщина она редкая, недюжинная, не говоря уж о наружности. Умишко неособенный, но сколько чувства, изящества, свежести!.. Сравнить ее с моими обычными Амалиями, Анжеликами да Грушами, любовью которых я доселе пользовался, невозможно. Она нечто из другого мира, мира, который мне незнаком.

— Философствуй! — засмеялся я.

— Увлекся, вроде как бы полюбил! Но теперь вижу, что напрасно я стараюсь ноль возвести в

квадратную степень. То была маска, вызвавшая во мне фальшивую тревогу. Яркий румянец невинности оказывается суриком, поцелуй любви — просьбой купить новое платье... Я взял ее в дом, как жену, она же держит себя, как любовница, которой платят деньги. Но теперь шабаш! Смирять в душе тревогу и начинаю видеть в Ольге любовницу... Шабаш!

— Ну, что? Как муж?

— Муж? Гм... А как ты думаешь, что с ним?

— Я думаю, что несчастнее его человека и вообразить теперь трудно.

— Ты думаешь? Напрасно... Это такой негодяй, такая шельма, что я нисколько его не жалею. Шельма никогда не может быть несчастлива, она всегда найдет себе выход...

— За что же ты его так ругаешь?

— За то, что он плут. Ты знаешь, что я его уважал, я ему верил, как другу... Я и даже ты — все вообще считали его человеком честным, порядочным, неспособным на обман. А между тем он меня обкрадывал, грабил! Пользуясь своим положением управляющего, он распоряжался моим добром, как хотел. Не брал только то, чего нельзя было сдвинуть с места.

Я, зная Урбенина как человека в высшей степени честного и бескорыстного, услышав слова графа, вскочил, как ужаленный, и подошел к графу.

— Ты поймал его на воровстве? — спросил я.

— Нет, но я знаю о его воровских проделках из достоверных источников.

— Из каких же это источников, позвольте узнать?

— Не беспокойся, напрасно не стану обвинять человека. Мне Ольга всё про него рассказала. Она, еще не бывши его женой, собственными глазами видела, как он отправлял в город возы битых кур и гусей. Не раз она видела, как мои гуси и куры шли в подарок каким-то благодетелям, у которых квартирует его сын-гимназист. Мало того, она видела, как он туда же отправлял муку, просо, сало. Допустим, что всё это пустяки, но разве эти пустяки ему принадлежат? Тут дело не в стоимости, а в принципе. Принцип оскорблен! Потом-с. Она видела у него в шкафу пачку денег. На вопрос ее, чьи это деньги и откуда он их взял, он попросил ее не проболтаться, что у него есть деньги. Милый мой, ты знаешь, что он гол, как сокол! Жалованья его едва хватает на пропитание... Объясни же мне, откуда у него взялись эти деньги?

— И ты, глупец, даешь веру словам этой маленькой гадины? — закричал я, возмущенный до глубины души. — Ей мало того, что она бежала от него, опозорила его на весь уезд. Ей нужно было еще предать его! Такое маленькое, необъемистое тело, а сколько в нем таится всякой мерзости!.. Куры, гуси, просо... хозяин, хозяин! Твое политико-экономическое чувство, твоя сельскохозяйственная глупость оскорблены тем, что он к празднику посылал в подарок битую птицу, которую съели бы лисицы да хорьки, если бы ее не били да не дарили, но проверял ли ты хоть раз те громадные отчеты, которые подает тебе Урбенин? Считал ли тысячи и десятки тысяч? Нет! Да что с тобой говорить? Ты глуп и животен. Рад бы упечь мужа своей любовницы, да не знаешь как!

— Моя связь с Ольгой тут ни при чем. Муж он ей или не муж, но, раз он украл, я должен открыто назвать его вором. Но оставим плутовство в стороне. Скажи мне: честно или не честно получать жалованье и по целым дням валяться без просыпу пьяным? Он пьян каждый день! Нет того дня, чтоб я не видел, как он пишет мыслете! Гадко и низко! Так дела порядочные люди не делают.

— Потому-то он и пьет, что он порядочный, — сказал я.

— У тебя какая-то страсть заступаться за подобных господ. Но я порешил быть беспощадным. Сегодня я отослал ему расчет и попросил очистить место для другого. Терпение мое лопнуло.

Убеждать графа в том, что он несправедлив, непрактичен и глуп, я почел излишним. Не перед графом заступаться за Урбенина.

Дней через пять я услышал, что Урбенин с сыном-гимназистом и с дочкой переехал на житье в город. Говорили мне, что он ехал в город пьяный, полумертвый, и что два раза сваливался с телеги. Гимназист и Саша всю дорогу плакали.

Немного спустя после отъезда Урбенина мне, против моей воли, довелось побывать в графской усадьбе. У одной из графских конюшен воры сломали замок и утащили несколько дорогих седел. Дали знать судебному следователю, т. е. мне, и я volens-nolens должен был ехать.

Графа застал я пьяным и сердитым. Он ходил по всем комнатам, искал убежища от тоски и не находил его.

— Замучился я с этой Ольгой! — сказал он, махнув рукой. — Рассердилась на меня сегодня утром, пригрозила утопиться, ушла из дому, и вот, как видишь, до сих пор ее нет. Я знаю, что она не утопится, но все-таки скверно. Вчера целый день куксила и била посуду, третьего дня объелась шоколату. Чёрт знает что за натура!

Я утешил графа, как умел, и сел с ним обедать.

— Нет, пора бросить эти ребячества, — бормотал он во всё время обеда. — Пора, а то глупо и смешно.

И к тому же, признаться, она начинает уже мне надоедать своими резкими переходами. Мне хочется чего-нибудь тихого, постоянного, скромного, вроде Наденьки Калининой, знаешь ли... Чудная девушка!

После обеда, гуляя в саду, я встретился с «утопленницей». Увидев меня, она страшно покраснела и — странная женщина — засмеялась от счастья. Стыд на ее лице смешался с радостью, горе с счастьем. Поглядев на меня искоса, она разбежалась и, не говоря ни слова, повисла мне на шею.

— Я люблю тебя, — зашептала она, сжимая мою шею. — Я по тебе так соскучилась, что если бы ты не приехал, то я бы умерла.

Я обнял ее и молча повел к беседке. Через десять минут, расставаясь с нею, я вынул из кармана четвертной билет и подал ей. Она сделала большие глаза.

— Зачем это?

— Это я плачу тебе за сегодняшнюю любовь.

Ольга не поняла и продолжала глядеть на меня с удивлением.

— Есть, видишь ли, женщины, — пояснил я, — которые любят за деньги. Они продажные. Им следует платить деньги. Бери же! Если ты берешь у других, почему же не хочешь взять от меня? Я не желаю одолжений!

Как я ни был циничен, нанося это оскорбление, но Ольга не поняла меня. Она не знала еще жизни и не понимала, что значит «продажные» женщины.

Был хороший августовский день.

Солнце грело по-летнему, голубое небо ласково манило вдаль, но в воздухе уже висело предчувствие осени. В зеленой листве задумчивых лесов уже золотились отжившие листки, а потемневшие поля глядели тоскливо и печально.

Предчувствие неизбежной тяжелой осени залегало и в нас самих. Нетрудно было предвидеть, что развязка была уже близка. Должен же был когда-нибудь ударить гром и брызнуть дождь, чтоб освежить душную атмосферу! Перед грозой, когда на небе надвигаются темные, свинцовые тучи, бывает душно, а нравственная духота уже сидела в нас. Она сказывалась во всем: в наших движениях, улыбках, речах.

Я ехал в легком шарабане. Возле меня сидела Наденька, дочь мирового. Она была бледна, как снег, подбородок и губы ее вздрагивали, как перед плачем, глубокие глаза были полны скорби, а между тем она всю дорогу смеялась и делала вид, что ей чрезвычайно весело.

Впереди и сзади нас двигались экипажи всех родов, времен и калибров. По бокам скакали всадники и амазонки. Граф Карнеев, облеченный в зеленый охотничий костюм, похожий более на шутовской, чем охотничий, согнувшись вперед и набок, немилосердно подпрыгивал на своем вороном. Глядя на его согнувшееся тело и на выражение боли, то и дело мелькавшее на его испитом лице, можно было подумать, что он ездил верхом впервые. На спине его болталась новенькая двустволка, а на боку висела сумка, в которой ворочался подстреленный кулик.

Украшением кавалькады была Оленька Урбенина. Сидя на вороном коне, подаренном ей графом, одетая в черную амазонку и с белым пером на шляпе, она уже не походила на ту девушку в красном, которая несколько месяцев тому назад встретила нам в лесу. Теперь в ее фигуре было что-то величественное, «гран-дамское». Каждый взмах хлыстом, каждая улыбка — всё было рассчитано на аристократизм, на величественность. В ее движениях и улыбках было что-то вызывающее, зажигательное. Она надменно-фатовски поднимала вверх голову и с высоты своего коня обливала всё общество презрением, словно ей нипочем были громкие замечания, посылаемые по ее адресу нашими добродетельными дамами. Она бравировала и кокетничала своим нахальством, своим положением «при графе», словно ей было неизвестно, что она уже надоела графу и что последний каждую минуту ждал случая, чтоб отвязаться от нее.

— Меня граф хочет прогнать! — сказала мне она с громким смехом, когда кавалькада выезжала со двора, — стало быть, ей было известно ее положение, и она понимала его...

Но к чему же громкий смех? Я глядел на нее и недоумевал: откуда у этой лесной мешчанки могло взяться столько прыти? Когда она успела научиться так грациозно покачиваться на седле, гордо шевелить ноздрями и щеголять повелительными жестами?

— Развратная женщина — та же свинья, — сказал мне доктор Павел Иванович. — Когда ее сажают за стол, она и ноги на стол...

Но это объяснение слишком просто. Никто не мог быть так пристрастен к Ольге, как я, и я первый готов был бы бросить в нее камень; но смутный голос правды шептал мне, что то была не прыть, не бахвальство сытой, довольной женщины, а отчаянность, предчувствие близкой и неизбежной развязки.

Мы возвращались с охоты, на которую отправились с самого утра. Охота вышла неудачна. Около болот, на которые мы возлагали большие надежды, мы встретили компанию охотников, которые объявили нам, что дичь распугана. Нам удалось отправить на тот свет трех куликов и одного утенка — вот и всё, что выпало на долю десятка охотников. В конце концов у одной из амазонок разболелись зубы, и мы должны были

поспешить обратно. Возвращались мы прекрасной дорогой по полю, на котором желтели снопы недавно сжатой ржи, в виду угрюмых лесов... На горизонте белели графская церковь и дом. Вправо от них широко расстилалась зеркальная поверхность озера, влево темнела Каменная Могила...

— Какая ужасная женщина! — шептала мне Наденька всякий раз, когда Ольга равнялась с нашим шарабаном. — Какая ужасная! Она столько же зла, сколько и красива... Давно ли вы были шафером на ее свадьбе? Не успела она еще износить с тех пор башмаков, как ходит уже в чужом шелку и щеголяет чужими бриллиантами... Не верится даже этой странной и быстрой метаморфозе... Если уж у нее такие инстинкты, то была бы хоть тактична и подождала бы год, два...

— Торопится жить! Ждать некогда! — вздохнул я.

— А знаете, что делается с ее мужем?

— Говорят, пьянствует...

— Да... Папа третьего дня был в городе и видел, как он откуда-то ехал на извозчике. Голова, знаете ли, набок, шапки нет, на лице грязь... Погиб человек! Бедность, говорят, страшная: есть нечего, за квартиру не заплачено. Бедная девочка Саша по целым дням сидит не евши. Папа описал всё это графу... Но ведь вы знаете графа! Он честный, добрый, но не любит задумываться и рассуждать. «Я, говорит, пошлю ему сто рублей». Взял и послал... Я думаю, что большего оскорбления нельзя было нанести Урбенину, как послать ему денег... Он оскорбится этой графской подачкой и станет пять еще больше...

— Да, граф глуп, — сказал я. — Он мог бы послать эти деньги через меня и от моего имени.

— Он не имел права посылать ему денег! Имею ли я право кормить вас, если я вас душу и вы меня ненавидите?

— Это правда...

Мы умолкли и задумались... Мысль о судьбе Урбенина была для меня всегда тяжела; теперь же, когда перед моими глазами гарцевала погубившая его женщина, эта мысль породила во мне целый ряд тяжелых мыслей... Что станет с ним и с его детьми? Чем в конце концов кончит она? В какой нравственной луже кончит свой век этот тщедушный, жалкий граф?

Возле меня сидело существо, единственно порядочное и достойное уважения... Двух только людей знал я в нашем уезде, которых я в силах был любить и уважать, которые одни только имели право отвернуться от меня, потому что стояли выше меня... Это были Надежда Калинина и доктор Павел Иванович... Что ожидало их?

— Надежда Николаевна! — сказал я ей. — Сам того не желая, я причинил вам немало зла и менее, чем кто-либо имею право рассчитывать на вашу откровенность. Но, клянусь вам, никто не поймет вас так, как я пойму. Ваше горе — мое горе, ваше счастье — мое счастье... Если я задам вам сейчас вопрос, то не заподозрите в нем праздное любопытство. Скажите мне, моя дорогая, зачем вы позволяете этому пигмею графу приближаться к вам? Что вам мешает гнать его от себя и не слушать его гнусных любезностей? Ведь его ухаживанья не делают чести порядочной женщине! Зачем вы даете повод этим сплетницам ставить ваше имя рядом с его именем?

Наденька поглядела на меня своими ясными глазами и, словно прочитав на моем лице искренность, весело улыбнулась.

— Что же они говорят? — спросила она.

— Они говорят, что ваш папенька и вы ловите графа и что граф, в конце концов, натянет вам нос.

— Не знают они графа, а потому так и говорят! — вспыхнула Наденька. — Бесстыдные сплетницы! Они привыкли видеть в людях одно только дурное... Хорошее недоступно их пониманию!

— А вы нашли в нем хорошее?

— Да, я нашла! Вы первый должны были бы знать, что я не допустила бы его к себе, если бы не была уверена в его честных намерениях!

— Стало быть, у вас дело дошло уже до «честных намерений»? — удивился я. — Скоро... А на что вам сдались его честные намерения?

— Вы хотите знать? — спросила она, и глаза ее заблестали. — Те сплетницы не лгут: я хочу выйти за него замуж! Не стройте удивленной физиономии и не улыбайтесь! Вы скажете, что выходить не любя нечестно и прочее, что уже тысячу раз было сказано, но... что же мне делать? Чувствовать себя на этом свете лишнею мебелью очень тяжело... Жутко жить, не зная цели... Когда же этот человек, которого вы так не любите, сделает меня своею женою, то у меня уже будет задача жизни... Я исправлю его, я отучу его пить, научу работать... Взгляните на него! Теперь он не похож на человека, а я сделаю его человеком.

— И так далее и так далее, — сказал я. — Вы сэкономите его громадное состояние, будете творить благие дела... Весь уезд будет благословлять вас и видеть в вас ангела, ниспосланного на утешение несчастных... Вы будете матерью и воспитаете его детей... Да, великая задача! Умная вы девушка, а рассуждаете, как гимназист!

— Пусть моя идея никуда не годится, пусть она смешна и наивна, но я живу ею... Под влиянием ее я

стала здоровей и веселей... Не разочаровывайте же меня! Пусть я сама разочаруюсь, но не теперь, а когда-нибудь... после, в далеком будущем... Оставим этот разговор!

— Еще один нескромный вопрос: вы ждете предложения руки?

— Да... Судя по его записке, которую я сегодня получила от него, судьба моя решится вечером... сегодня... Он пишет мне, что имеет сказать что-то очень важное... От моего ответа, пишет он, будет зависеть счастье всей его жизни...

— Спасибо за откровенность, — сказал я.

Смысл записки, полученной Наденькой, для меня был ясен. Бедную девушку ожидало гнусное предложение... Я порешил избавить ее от него.

— Мы уже приехали к нашему лесу, — сказал граф, поравнявшись с нашим шарабаном. — Не желаете ли, Надежда Николаевна, устроить привал?

И, не дожидаясь ответа, он захлопал в ладоши и скомандовал громким, дребезжащим тенорком:

— Прива-а-ал!

Мы расположились на опушке леса. Солнце спряталось за деревья, крася в золотистый пурпур одни только верхушки самых высоких ольх да играя на золотом кресте видневшейся вдали графской церкви. Над нашими головами залетали встревоженные кобчики и иволги. Кто-то из мужчин выстрелил и еще более встревожил пернатое царство. Поднялся неугомонный птичий концерт. Этот концерт имеет свою прелесть весною и летом, но, когда в воздухе чувствуется приближение холодной осени, он раздражает нервы и напоминает о скором перелете.

Из чащи потянуло вечернею свежестью. Носы дам посинели, и зябкий граф стал потирать руки. Как нельзя более кстати запахло самоварной гарью и зазвякала чайная посуда. Одноглазый Кузьма, пыхтя и путаясь в высокой траве, притащил ящик с коньяком. Мы принялись греться.

Продолжительная прогулка на свежем, прохладном воздухе действует на аппетит лучше всяких аппетитных капель. После нее балык, икра, жареные куропатки и прочая снедь ласкают взоры, как розы в раннее весеннее утро.

— Ты сегодня умен, — сказал я графу, отрезывая себе кусок балыка. — Умен, как никогда. Трудно распорядиться умнее...

— Это мы вместе с графом распорядились! — захихикал Калинин, мигнув глазом на кучеров, таскавших из шарабанов кульки с закуской, вина и посуду. — Пикничок выйдет на славу... К концу шампанея будет...

Лицо мирового на этот раз лоснилось таким довольством, как никогда. Не думал ли он, что в этот вечер его Наденьке будет сделано предложение? Не для того ли он припас и шампанского, чтобы поздравить молодых? Я пристально взглянул на его физиономию, но, по обыкновению, не прочел ничего, кроме бесшабашного довольства, сытости и тупой важности, разлитой во всей его солидной фигуре.

Мы весело набросились на закуски. К съедобной роскоши, лежавшей перед нами на коврах, отнеслись безучастно только двое: Ольга и Наденька Калинина. Первая стояла в стороне и, облокотившись о задок шарабана, неподвижно и молча глядела на ягдташ, сброшенный на землю графом. В ягдташе ворочался подстреленный кулик. Ольга следила за движением несчастной птицы и словно ждала ее смерти.

Надя сидела рядом со мною и безучастно глядела на весело жевавшие рты.

«Когда же всё это кончится?» — говорили ее утомленные глаза.

Я предложил ей бутерброд с икрой. Она поблагодарила и положила его в сторону. Очевидно, ей было не до еды.

— Ольга Николаевна! Вы же чего не садитесь? — крикнул граф Ольге.

Ольга не ответила и продолжала стоять неподвижно, как статуя, и глядеть на птицу.

— Какие есть бессердечные люди, — сказал я, подходя к Ольге. — Неужели вы, женщина, в состоянии равнодушно созерцать мучения этого кулика? Чем глядеть, как он корчится, вы бы лучше приказали его добить.

— Другие мучаются, пусть и он мучается, — сказала Ольга, не глядя на меня и хмурия брови.

— Кто же еще мучается?

— Оставь меня в покое! — прохрипела она. — Я не расположена сегодня говорить ни с тобой... ни с твоим дураком графом! Отойти от меня прочь!

Она вскинула на меня глазами, полными злобы и слез. Лицо ее было бледно, губы дрожали.

— Какая перемена! — сказал я, поднимая ягдташ и добывая кулика. — Какой тон! Поражен! Совсем поражен!

— Оставь меня в покое, говорят тебе! Мне не до шуток!

— Что же с тобой, моя прелесть?

Ольга окинула меня взором снизу вверх и отвернулась.

— Таким тоном разговаривают с развратными и продажными женщинами, — проговорила она. — Ты

меня такой считаешь... ну и ступай к тем, святым!.. Я здесь хуже, подлее всех... Ты, когда ехал с этой добродетельной Наденькой, боялся глядеть на меня... Ну, и иди к ним! Чего же стоишь? Иди!

— Да, ты здесь хуже и подлее всех, — сказал я, чувствуя, как мною постепенно овладевает гнев. — Да, ты развратная и продажная.

— Да, я помню, как ты предлагал мне проклятые деньги... Тогда я не понимала значения их, теперь же понимаю...

Гнев овладел всем моим существом. И этот гнев был так же силен, как та любовь, которая начинала когда-то зарождаться во мне к девушке в красном... Да и кто бы, какой камень, остался бы равнодушен? Я видел перед собою красоту, брошенную немилосердной судьбою в грязь. Не были пощажены ни молодость, ни красота, ни грация... Теперь, когда эта женщина казалась мне прекрасней, чем когда-либо, я чувствовал, какую потерю в лице ее понесла природа, и мучительная злость на несправедливость судьбы, на порядок вещей наполняла мою душу...

В минуты гнева я не умею себя сдерживать. Не знаю, что бы еще пришлось Ольге выслушать от меня, если бы она, повернувшись ко мне спиной, не отошла. Она тихо направилась к деревьям и скоро скрылась за ними... Мне казалось, что она заплакала...

— Вы, милостивые государыни и милостивые государи! — услышал я речь Калинина. — В сей день, в который мы все соединились для... для того, чтоб объединиться... Мы здесь все в сборе, все между собою знакомы, все веселимся и этим давно желанным объединением нашим мы обязаны не кому другому, как нашему светилу, звезде нашей губернии... Вы, граф, не конфузьтесь... Дамы понимают, о ком я говорю... Хе-хе-хе!.. Ну-с, будем продолжать... Так как всем этим мы обязаны нашему просвещенному и юному... юному... графу Карнееву, то предлагаю выпить сей тост за... Но кто-то едет! Кто это?

К опушке, где мы сидели, по направлению от графской усадьбы катила коляска...

— Кто бы это мог быть? — удивился граф, направляя свой бинокль в сторону коляски. — Гм... странно... Это, должно быть, проезжие... Ах, нет! Я вижу рожу Каэтана Казимировича... С кем это он?

И граф вдруг вскочил, как ужаленный... Лицо его покрылось смертельною бледностью, из рук выпал бинокль. Глаза его забегали, как у пойманной мыши, и, словно прося о помощи, останавливались то на мне, то на Наде... Не все уловили его смущение, потому что внимание большинства было отвлечено приближавшейся коляской.

— Сережа, поди сюда на минутку! — зашептал он, хватая меня под руку и отводя в сторону. — Голубчик, умоляю тебя, как друга, как лучшего из людей... Ни вопросов, ни вопрошающих взглядов, ни удивления! Всё расскажу после! Клянусь, что ни одна йота не останется для тебя тайной... Это такое несчастье в моей жизни, такое несчастье, что и выразить тебе не могу! Всё узнаешь, а теперь без вопросов! Помоги мне!

Между тем коляска была всё ближе и ближе... Наконец она остановилась, и глупая тайна нашего графа стала достоянием уезда. Из коляски, пыхтя и улыбаясь, вылез Пшехоцкий, облеченный в новый чечунчовый костюм. За ним ловко выпрыгнула молодая дама, лет 23-х. Это была высокая стройная блондинка с правильными, но несимпатичными чертами лица и с синими глазами. Я помню только эти синие, ничего не выражающие глаза, напудренный нос, тяжелое, но роскошное платье и несколько массивных браслетов на обеих руках... Я помню, что запах вечерней сырости и пролитого коньяка уступил свое место пронзительному запаху каких-то духов.

— Как вас здесь много! — проговорила незнакомка ломаным русским языком. — Должно быть, очень весело! Здравствуй, Алексис!

Она подошла к Алексису и подставила ему свою щеку. Граф быстро чмокнул и тревожно взглянул на своих гостей.

— Моя жена, рекомендую! — забормотал он. — А это, Созя, мои хорошие знакомые... Гм... Кашель у меня.

— А я только что приехала! Каэтан говорит мне: отдохни! Но я говорю, зачем мне отдыхать, если я всю дорогу спала! И я лучше поеду на охоту! Оделась и поехала... Каэтан, где мои сигареты?

Пшехоцкий подскочил к блондинке и подал ей золотой портсигар.

— А это — брат моей жены... — продолжал граф бормотать, указывая на Пшехоцкого. — Да помоги же мне! — толкнул он меня под локоть. — Выручи, ради бога!

Говорят, что с Калининым сделалось дурно и что Надя, желая помочь ему, не могла подняться с места. Говорят, что многие поспешили сесть в свои экипажи и уехать. Я всего этого не видел. Помню, что я пошел в лес, и, ища тропинки, не глядя вперед, направился, куда ноги пойдут¹¹.

¹¹ Тут в рукописи Камышева зачеркнуто сто сорок строк. — А. Ч.

.....

На ногах моих висели куски липкой глины, и весь я был в грязи, когда вышел из лесу. Вероятно, мне приходилось перепрыгивать через ручей, но обстоятельства этого я не помню. Словно меня сильно избили палками, до того я чувствовал себя утомленным и замученным. Нужно было отправиться в графскую усадьбу, сесть на Зорьку и ехать. Но я этого не сделал, а отправился домой пешком. Не мог я видеть ни графа, ни его проклятой усадьбы¹².

.....

Дорога моя лежала по берегу озера. Водяное чудовище уже начинало реветь свою вечернюю песню. Высокие волны с белыми гребнями покрывали всю громадную поверхность. В воздухе стояли гул и рокот. Холодный, сырой ветер пронизывал меня до костей. Слева было сердитое озеро, а справа несся монотонный шум сурового леса. Я чувствовал себя с природой один на один, как на очной ставке. Казалось, весь ее гнев, весь этот шум и рев были для одной только моей головы. При других обстоятельствах я, быть может, ощутил бы робость, но теперь я едва замечал окружавших меня великанов. Что гнев природы был в сравнении с той бурей, которая кипела во мне?¹³

.....

Придя домой, я не раздеваясь повалился в постель.

— Опять, бесстыжие глаза, в озере в одежде купался! — заворчал Поликарп, стаскивая с меня мокрую и грязную одежду. — Опять, наказание мое! Еще тоже благородный, образованный, а хуже всякого трубочиста... Не знаю, чему там в университете вас учили.

Я, не вынося ни человеческого голоса, ни лица, хотел крикнуть на Поликарпа, чтоб он оставил меня в покое, но слово мое застряло в горле. Язык был так же обессилен и изнеможен, как и всё тело. Как это ни мучительно было, но пришлось позволить Поликарпу стащить с меня всё, даже измокшее нижнее белье.

— И хоть бы повернулся! — ворчал мой слуга, ворочая меня с боку на бок, как маленькую куклу. — Завтра же расчет! Ни-ни... ни за какие деньги! Будет с меня, дурака! Чтобы мне провалиться, ежели останусь!

Свежее, теплое белье не согрело и не успокоило меня. Я дрожал и от гнева и от страха до того сильно, что у меня стучали зубы. Страх был необъяснимый... Не пугали меня ни привидения, ни выходцы из могил, ни даже портрет моего предшественника, Пospelова, висевший над моей головой. Он не спускал с меня своих безжизненных глаз и, казалось, мигал ими, но меня нимало не коробило, когда я глядел на него. Будущее мое было не прозрачно, но все-таки можно было с большею вероятностью сказать, что мне ничто не угрожает, что черных туч вблизи нет. Смерть не скоро, болезни мне были не страшны, личным несчастьям я не придавал значения... Чего же я боялся и отчего стучали мои зубы?

Не был мне понятен и мой гнев... «Тайна» графа не могла разозлить меня так сильно. Мне не было дела ни до графа, ни до его женитьбы, которую он скрыл от меня.

Остается объяснить тогдашнее состояние моей души нервным расстройством и утомлением. Иное объяснение мне не под силу.

По уходе Поликарпа я укрылся с головой, намереваясь уснуть. Было темно и тихо... Беспокойно ворочался в своей клетке попугай, да доносилось мерное постукивание стенных часов из Поликарповой комнаты, во всем же остальном царили мир и тишина. Физическое и душевное утомление взяли свое, и я стал засыпать... Я чувствовал, как с меня постепенно спадала какая-то тяжесть, как ненавистные образы сменялись в сознании туманом... Помню, я даже начинал видеть сон. Снилось мне, что в светлое зимнее утро шел я по Невскому в Петербурге и от нечего делать засматривал в окна магазинов. На душе моей было легко, весело... Некуда было спешить, делать было нечего — свобода абсолютная... Сознание, что я далеко от своей деревни, от графской усадьбы и сердитого, холодного озера, еще более настраивало меня на мирный, веселый лад. Я остановился у самого большого окна и стал рассматривать женские шляпки... Шляпки были мне знакомы... В одной из них я видел Ольгу, в другой Надю, третью я видел в день охоты на белокурой голове внезапно приехавшей Сози... Под шляпками заулыбались знакомые физиономии... Когда я хотел им

¹² На этом месте рукописи нарисована чернилами хорошенькая женская головка с искаженными от ужаса чертами. Всё написанное ниже ее старательно зачеркнуто. Верхняя половина следующей страницы тоже зачеркнута, и сквозь сплошную чернильную кляксу можно разобрать одно только слово: «висок». — А. Ч.

¹³ Тут тоже зачеркнуто. — А. Ч.

что-то сказать, они все три слились в одну большую, красную физиономию. Эта сердито задвигала своими глазами и высунула язык... Кто-то сзади сдавил мне шею...

— Муж убил свою жену! — крикнула красная физиономия. Я вздрогнул, вскрикнул и, как ужаленный, вскочил с постели... Сердце мое страшно билось, на лбу выступил холодный пот.

— Муж убил свою жену! — повторил попугай. — Дай же мне сахару! Как вы глупы! Дурак!

— Это попугай... — успокоил я себя, ложась в постель. — Слава богу...

Слышался монотонный ропот... То о кровлю стучал дождь... Тучи, которые я видел на западе, когда шел по берегу озера, заволокли теперь всё небо. Слабо блеснула молния и осветила портрет покойного Пospelова... Над самой моей головой прогремел гром...

«Последняя гроза за это лето», — подумал я.

Вспомнилась мне одна из первых гроз... Точно такой же гром гремел когда-то в лесу, когда я первый раз был в домике лесничего... Я и девушка в красном стояли тогда у окна и глядели на сосны, которые освещала молния... В глазах прекрасного создания светился страх. Она сказала мне, что мать ее умерла от молнии и что она сама жаждет эффектной смерти... Хотелось бы ей одеться так, как одеваются богатейшие аристократки уезда. Она чувала, что к ее красоте шла роскошь наряда. И, сознавая свое суетное величие, гордая им, она хотела бы взойти на Каменную Могилу и там эффектно умереть.

Мечта ее сб... хотя и не на Камен...¹⁴

Потеряв всякую надежду уснуть, я поднялся и сел на кровати. Тихий ропот дождя постепенно обращался в сердитый рев, который я так любил, когда душа моя была свободна от страха и злости... Теперь же этот рев казался мне зловещим. Удар грома следовал за ударом.

— Муж убил свою жену! — каркнул попугай...

Эта была последняя его фраза... Закрыв в малодушном страхе глаза, я нащупал в темноте клетку и швырнул ее в угол...

— Черти бы тебя взяли! — крикнул я, услышав звон клетки и писк попугая...

Бедная, благородная птица! Полет в угол не обошелся ему даром... На другой день его клетка содержала в себе холодный труп. За что я убил его? Если его любимая фраза о муже, убившем свою жену, напомн...¹⁵

Мать моего предшественника, Пospelова, уступая мне квартиру, взяла с меня деньги за всю обстановку, даже за фотографические изображения не знакомых мне людей. Но она ни копейки не взяла с меня за дорогого попугая. Накануне своего отъезда в Финляндию она всю ночь прощалась со своей благородной птицей. Я помню всхлипыванья и причитыванья, которыми сопровождалось это прощанье. Помню слезы, с которыми она просила меня сберечь ее друга до ее возвращения. Я дал ей честное слово, что ее попугай не пожалеет о том, что познакомился со мною. И не сдержал я этого слова. Я убил птицу. Воображаю, что сказала бы старуха, если бы узнала о судьбе своего крикуна!

Кто-то осторожно постучался в мое окно. Домишко, в котором я жил, стоял по дороге одним из крайних, и стук в окно приходилось мне слышать нередко, в особенности в дурную погоду, когда проезжие искали ночлега. На сей раз стучались ко мне не проезжие. Пройдя к окну и дождавшись, когда блеснет молния, я увидел темный силуэт какого-то высокого и тонкого человека. Он стоял перед окном и, казалось, ежилась от холода. Я отворил окно.

— Кто здесь? Что нужно? — спросил я.

— Сергей Петрович, это я! — услышал я жалобный голос, каким говорят сильно иззябшие и испуганные люди. — Это я! К вам, мой дорогой!

В жалобном голосе темного силуэта узнал я, к своему великому удивлению, голос моего друга, доктора Павла Ивановича. Посещение «щур», ведущего регулярную жизнь и лежащего спать раньше двенадцати, было непонятно. Что могло заставить его изменить своим правилам и явиться ко мне в два часа ночи да вдобавок еще в такую ужасную погоду?

— Что вам нужно? — спросил я, послав в глубине души нежданного гостя к чёрту.

— Извините, голубчик... Я хотел постучать в дверь, но ваш Поликарп, наверное, спит теперь, как мертвец. Я решился постучать в окно.

— Да что вам нужно?

Павел Иваныч подошел ближе к моему окну и забормотал что-то непонятное. Он дрожал и походил на пьяного.

¹⁴ Тут беспорядочно зачеркнута почти целая страница. Пощажены только несколько слов, не дающих ключа к уразумению зачеркнутого. — А. Ч.

¹⁵ Тут, к сожалению, опять зачеркнуто. Заметно, что Камышев зачеркивал не во время писанья, а после... К концу повести я обращаю на эти зачеркиванья особое внимание. — А. Ч.

— Я вас слушаю! — сказал я, теряя терпение.

— Вы... вы, я вижу, сердитесь, но... если бы вы знали всё, что случилось, то вы перестали бы сердиться на также пустяки, как прерванный сон и визит не в пору... Не до сна теперь! Господи боже мой! Жил я на свете три десятка и только впервые сегодня так страшно несчастлив! Я несчастлив, Сергей Петрович!

— Ах, да что же случилось? И какое мне дело? Я сам еле стою на ногах... Не до людей мне!

— Сергей Петрович! — проговорил «щур» плачущим голосом, протягивая в потемках к моему лицу мокрую от дождя руку. — Честный человек! Друг мой!

И засим я услышал мужской плач. Плакал доктор.

— Павел Иванович, идите домой! — сказал я после некоторого молчания. — Сейчас я не могу с вами говорить... Я боюсь и своего и вашего настроения. Мы не пойдем друг друга...

— Дорогой мой! — проговорил доктор умоляющим голосом. — Женитесь на ней.

— Вы с ума сошли! — сказал я, захлопывая окно...

После попугая доктор был второй пострадавший от моего настроения. Я не пригласил его в комнату и захлопнул перед его носом окно. Две грубые, неприличные выходки, за которые я вызвал бы на дуэль даже женщину¹⁶. Но кроткий и незлобный «щур» не имел понятия о дуэли. Он не знал, что значит сердиться.

Минуты через две блеснула молния, и я, взглянув на окно, увидел согнувшуюся фигуру моего гостя. Поза его на этот раз была просительная, выжидательная, как у нищего, стерегущего милостыню. Он ждал, вероятно, что я прощу его и позволю ему высказаться.

К счастью, во мне зашевелилась совесть. Мне стало жаль себя, жаль, что природа всадила в меня столько жесткости и мерзости! Низкая душа моя была такой же кремень, как и мое здоровое тело...¹⁷ Я подошел к окну и открыл его.

— Войдите в комнату! — сказал я.

— Некогда!.. Каждая минута дорога! Бедная Надя отравилась, и врачу нельзя отходить от нее... Едва удалось спасти бедняжку... Это ли не несчастье? И вы можете не слушать, захлопывать окно?

— Она жива все-таки?

— Все-таки... Таким тоном не говорят о несчастных, мой хороший друг! Кто бы мог подумать, что эта умная, честная натура захочет расстаться с жизнью из-за такого субъекта, как граф? Нет, друг мой, к несчастью людей, женщины не могут быть совершенны! Как бы ни была умна женщина, какими бы совершенствами она ни была одарена, в ней все-таки сидит гвоздь, мешающий жить и ей и людям... Возьмем хоть Надю... Ну к чему она это сделала? Самолюбие и самолюбие! Болезненное самолюбие! Чтобы уколоть вас, она задумала выйти за этого графа... Не нужно ей было ни его денег, ни знатности... Ей нужно было только удовлетворить свое чудовищное самолюбие... И вдруг неудача!.. Вы знаете, что приехала его жена... Оказывается, что этот развратник женат... А еще тоже говорят, что женщины выносливы, что они умеют терпеть лучше мужчин!.. Где же тут выносливость, если такая жалкая причина заставляет хвататься за фосфорные спички? Это не выносливость, а суетность!

— Вы простудитесь...

— То, что я видел сейчас, хуже всякой простуды... Глаза эти, бледность... а! К неудавшейся любви, к неудавшейся попытке насолить вам прибавилось еще неудавшееся самоубийство... Большее несчастье и вообразить себе трудно!.. Дорогой мой, если у вас есть хотя капля сострадания, если... если бы вы ее увидели... ну, отчего бы вам не прийти к ней? Вы любили ее! Если уже не любите, то отчего бы и не пожертвовать ей своей свободой? Жизнь человеческая дорога, и за нее можно отдать... всё! Спасите жизнь!

Кто-то сильно постучал в мою дверь. Я вздрогнул... Сердце мое обливалось кровью!.. Я не верю в предчувствие, но на этот раз тревога моя была не напрасна... Стучались ко мне с улицы...

— Кто там? — крикнул я в окно...

— К вашей милости!

— Что нужно?

— От графа письмо, ваше благородие! Человека убили!

Какая-то темная фигура, закутанная в тулуп, подошла к окну и, ропща на погоду, подала мне письмо... Я быстро отошел от окна, зажег свечу и прочел следующее:

«Забудь, ради бога, всё на свете и приезжай сейчас же. Убита Ольга. Я потерял голову и сейчас сойду с ума. Твой А. К.».

¹⁶ Последняя фраза написана выше зачеркнутой строки, в которой можно разобрать: «сорвал бы с плеч голову и вышиб бы все окна». — А. Ч.

¹⁷ Далее следует пластически вычурное толкование о душевной выносливости автора. Вид человеческих скорбей, кровь, судебные вскрытия и пр. не производят якобы на него никакого впечатления. Всё это место носит оттенок хвастливой наивности, неискренности. Оно поражает своей грубостью, и я выпустил его. Для характеристики Камышева оно не важно. — А. Ч.

Убита Ольга! От этой короткой фразы у меня закружилась голова и потемнело в глазах... Я сел на кровать и, не имея сил соображать, опустил руки.

— Это вы, Павел Иванович? — услышал я голос присланного мужика. — А я только что к вам хотел ехать... И к вам письмо есть.

Через пять минут я и «щур» сидели в крытом экипаже и ехали к графской усадьбе... Поверху экипажа стучал дождь, впереди нас то и дело вспыхивала ослепительная молния.

Слышался рев озера...

Начиналось последнее действие драмы, и двое из действующих лиц ехали, чтобы увидеть раздирающую душу картину.

— Ну, как вы думаете, что нас ждет? — спросил я дорогой Павла Ивановича.

— Ничего я не думаю... Не знаю...

— Я тоже не знаю...

— Гамлет жалел когда-то, что господь земли и неба запретил грех самоубийства, так я теперь жалею, что судьба сделала меня врачом... Глубоко сожалею!

— Боюсь, чтобы, в свою очередь, мне не пришлось пожалеть, что я судебный следователь, — сказал я. — Если граф не смешал убийства с самоубийством и если действительно Ольга убита, то достанется моим бедным нервам!

— Вам можно отказаться от этого дела...

Я вопросительно поглядел на Павла Ивановича и, конечно, благодаря потемкам, ничего не увидел... Откуда он знал, что я могу отказаться от этого дела? Я был любовником Ольги, но кому это было известно, кроме самой Ольги да, пожалуй, еще Пшехоцкого, угостившего меня когда-то аплодисментами?..

— Почему вы думаете, что мне можно отказаться? — спросил я «щура».

— Так... Вы можете заболеть, подать в отставку... Всё это нисколько не бесчестно, потому что есть кому заменить вас, врач же поставлен совершенно в другие условия...

«Только-то?» — подумал я.

Экипаж после долгой, убийственной езды по глинистой почве остановился наконец у подъезда. Два окна над самым подъездом были ярко освещены, из крайнего правого, выходявшего из спальни Ольги, слабо пробивался свет, все же остальные окна глядели темными пятнами. На лестнице нас встретила Сычиха. Она поглядела на меня своими колючими глазками, и морщинистое лицо ее наморщилось в злую, насмешливую улыбку.

— Ужо будет вам сюрприз! — говорили ее глаза.

Вероятно, она думала, что мы приехали покутить и не знали, что в доме горе.

— Рекомендую вашему вниманию, — сказал я Павлу Ивановичу, стаскивая со старухи чепец и обнажая совершенно лысую голову. — Этой ведьме девяносто лет, душа моя. Если бы нам с вами пришлось когда-нибудь вскрывать этого субъекта, то мы сильно разошлись бы во мнениях. Вы нашли бы старческую атрофию мозга, я же уверил бы вас, что это самое умное и хитрое существо во всем нашем уезде... Чёрт в юбке!

Войдя в залу, я был поражен. Картина, которую я здесь увидел, была совсем неожиданная. Все стулья и диваны были заняты людьми... В углах и около окон тоже стояли группы людей. Откуда они могли взяться? Если бы мне ранее сказал кто-нибудь, что я встречу здесь этих людей, то я бы расхохотался. До того невероятно и неуместно было их присутствие в доме графа в то время, когда, быть может, в одной из комнат лежала умершая или умиравшая Ольга. Это был цыганский хор обер-цыгана Карпова из ресторана «Лондон», тот самый хор, который известен читателю по одной из первых глав. Когда я вошел, от одной из групп отделилась моя старая приятельница Тина и, узнав меня, радостно вскрикнула. По ее бледному смуглому лицу разлилась улыбка, когда я подал ей руку, и из глаз брызнули слезы, когда она хотела мне что-то сказать... Слезы не дали ей говорить, и я не добился от нее ни одного слова. Я обратился к другим цыганам, и они объяснили мне свое присутствие таким образом. Утром граф прислал им в город телеграмму, требуя, чтобы весь хор в полном своем составе обязательно был в графской усадьбе к 9 часам вечера. Они, исполняя этот «заказ», сели на поезд и в восемь часов были уже в этой зале...

— И мы мечтали доставить его сиятельству и господам гостям удовольствие... Мы знаем так много новых романсов!.. И вдруг...

И вдруг прилетел верхом мужик с известием, что на охоте совершено зверское убийство, и с приказанием приготовить постель Ольги Николаовны. Мужика не поверили, потому что мужик был пьян, «как свинья», но когда на лестнице послышался шум и через залу пронесли черное тело, сомневаться уже нельзя было...

— И теперь мы не знаем, что нам делать! Остаться нам здесь нельзя... Когда здесь священник, веселым людям нужно убираться... Да и к тому же все певички встревожены и плачут... Они не могут быть в том доме, где покойник... Нужно уехать, а между тем нам не хотят дать лошадей! Господин граф лежат

больны и никого к себе не впускают, а прислуга на просьбу о лошадях отвечает насмешками... Не идти же нам пешком в такую погоду и в такую темную ночь! Прислуга вообще ужасно груба!.. Когда мы попросили для наших дам самовар, нас послали к чёрту...

Все эти жалобы кончились слезным обращением к моему великодушью: не выхлопочу ли я для них экипажи, чтобы они могли убраться из этого «проклятого» дома?

— Если лошади не в загоне и если кучера не разосланы, то вы уедете, — сказал я. — Я прикажу...

Беднягам, одетым в шутовские костюмы и привыкшим кокетничать своими ухарскими манерами, были очень не к лицу их постные физиономии и нерешительные позы. Своим обещанием отправить их на станцию я несколько расшевелил их. Мужской шёпот обратился в громкий говор, а женщины перестали плакать...

Затем, проходя в графский кабинет через целую анфиладу темных, неосвещенных комнат, я заглянул в одну из многочисленных дверей и увидел умиляющую душу картину. За столом около шумевшего самовара сидели Созя и ее брат Пшехоцкий... Созя, одетая в легкую блузу, но всё в тех же браслетах и перстнях, нюхала что-то из флакона и, томничая, брезгливо отхлебывала из чашки. Глаза ее были заплаканы... Вероятно, событие на охоте сильно расстроило ее нервы и надолго испортило расположение ее духа. Пшехоцкий с таким же деревянным лицом, как и прежде, хлебал большими глотками из блюдечка и что-то говорил сестре. Судя по менторскому выражению его лица и манерам, он успокаивал и убеждал не плакать.

Графа, само собою разумеется, я застал в самых разлохмаченных чувствах. Дряблый и хилый человек похудел и осунулся больше прежнего... Он был бледен, и губы его дрожали, как в лихорадке. Голова была повязана белым носовым платком, от которого на всю комнату разлило острым укусом. При моем входе он вскочил с софы, на которой лежал, и, запахнувши полы халата, бросился ко мне...

— А? а? — начал он, дрожа и захлебываясь. — Ну?

И, издав несколько неопределенных звуков, он потащил меня за рукав к софе и, дождавшись, когда я сяду, прижался ко мне, как испуганная собачонка, и принялся изливать свою жалобу...

— Кто б мог ожидать? а? Постой, голубчик, я укроюсь пледом... у меня лихорадка... Убита, бедная! И как варварски убита! Еще жива, но земский врач говорит, что сегодня ночью умрет... Ужасный день!.. Приехала ни к селу ни к городу эта... чёрт бы ее взял совсем, жена... Это моя несчастнейшая ошибка. Меня, Сережа, в Петербурге пьяного женили. Я скрывал от тебя, мне совестно было, но вот она приехала, и ты можешь ее видеть... Гляди и казись... О, проклятая слабость! Под влиянием минуты и водки я в состоянии сделать всё, что хочешь! Приезд жены — первый подарок, скандал с Ольгой — второй... Жду третьего... Я знаю, что еще случится... Знаю! Я сойду с ума!

Всплакнувши, выпивши три рюмки водки и назвав себя ослом, негодяем и пьяницей, граф путающимся от волнения языком описал драму, имевшую место на охоте... Рассказал он мне приблизительно следующее.

Минут через 20–30 после моего ухода, когда удивление по поводу приезда Сози несколько поулеглось и когда Созя, познакомившись с обществом, стала изображать из себя хозяйку, компания услышала вдруг пронзительный, раздирающий душу крик. Этот крик неся со стороны леса и раза четыре был повторен эхом. Был он до того необычен, что люди, слышавшие его, вскочили на ноги, собаки залаяли, а лошади наострили уши. Крик был неестественный, но графу удалось узнать в нем женский голос... Звучали в нем отчаяние, ужас... Так должны вскрикивать женщины, когда видят привидение или внезапную смерть ребенка... Встревоженные гости поглядели на графа, граф на них... Минуты три царило гробовое молчание...

И пока господа переглядывались и молчали, кучера и лакеи побежали к тому месту, откуда был слышен крик. Первым вестником скорби был лакей, старый Илья. Он прибежал из леса к опушке и, бледный, с расширенными зрачками, хотел что-то сказать, но одышка и волнение долго мешали ему говорить. Наконец, поборов себя и перекрестившись, он выговорил:

— Убили барыню!

Какую барыню? Кто убил? Но Илья не дал ответа на эти вопросы... Роль второго вестника выпала на долю человека, которого не ожидали и появлением которого были страшно поражены. Были поразительны и неожиданное появление и вид этого человека... Когда граф увидел его и вспомнил, что Ольга гуляет в лесу, то у него замерло сердце и подогнулись от страшного предчувствия ноги.

Это был Петр Егорыч Урбенин, бывший управляющий графа и муж Ольги. Сначала компания услышала тяжелые шаги и треск хвороста... Казалось, что из леса на опушку пробирался медведь. Потом же показалось массивное тело несчастного Петра Егорыча... Выйдя на опушку и увидев компанию, он сделал шаг назад и остановился как вкопанный. Минуты две он молчал и не двигался и таким образом дал себя осмотреть... На нем были его обиходные серенькие пиджак и брюки, достаточно уже поношенные... На голове шляпы не было, и всклокоченные волосы прилипли к вспотевшим лбу и вискам... Лицо его, обыкновенно багровое, а часто и багрово-синее, на этот раз было бледно... Глаза смотрели безумно, неестественно широко... Губы и руки дрожали...

Но что поразительнее всего, что прежде всего обратило на себя внимание ошеломленных зрителей, так это окровавленные руки... Обе руки и манжеты были густо покрыты кровью, словно их вымыли в кровавой

ванне.

После трехминутного столбняка Урбенин, как бы очнувшись от сна, сел на траву по-турецки и простонал. Собаки, чуявшие что-то необычайное, окружили его и подняли лай... Обведя компанию мутными глазами, Урбенин закрыл обеими руками лицо, и наступил новый столбняк...

— Ольга, Ольга, что ты наделала! — простонал он.

Глухие рыдания вырвались из его груди и потрясли богатырские плечи... Когда он отнял от лица руки, то компания увидела на его щеках и на лбу кровь, перешедшую с рук на лицо...

Дойдя до этого места, граф махнул рукой, выпил судорожно рюмку водки и продолжал:

— Дальше мои воспоминания путаются. Как ты можешь себе представить, всё происшедшее так меня ошеломило, что я потерял способность мыслить... Ничего не помню, что потом было! Помню только, что мужчины принесли из лесу какое-то тело, одетое в порванное, окровавленное платье... Я не мог на него смотреть! Положили в коляску и повезли... Не слышал я ни стонов, ни плача... Говорят, что ей в бок засадили тот кинжальчик, который при ней всегда был... помнишь его? Эту вещь я ей подарил. Тупой кинжал, тупее, чем этот край стакана... Какую, стало быть, надо иметь силу, чтобы всадить его! Люблю я, братец, кавказское оружие, но теперь бог с ним, с этим оружием! Завтра же прикажу его выбросить вон!..

Граф выпил еще рюмку водки и продолжал:

— Но какой срам! Какая мерзость! Подвозим мы ее к дому... Все, знаешь, в отчаянии, в ужасе. И вдруг, чёрт бы их взял, этих цыган, слышится разудалое пение!.. Выстроились в ряд и давай, подлецы, орать!.. Хотели, видишь ли, с шиком встретить, а вышло очень некстати... Похоже на Иванушку-дурачка, который, встретивши похороны, пришел в восторг и заорал: «Таскать вам, не перетаскать!» Да, брат! хотел угодить гостям, выписал цыган, а вышла ерунда. Не цыган нужно приглашать, а докторов да духовенство. И теперь я не знаю, что делать! Что мне делать? Не знаю я этих формальностей, обычаев. Кого звать, за кем послать... Может быть, тут полиция нужна, прокурор... Ни черта я не смыслю, хоть убей!.. Спасибо, отец Иеремия, узнавши про скандал, пришел приобщить, а сам бы я не догадался его пригласить. Умоляю тебя, дружище, возьми на себя все эти хлопоты! Ей-богу, с ума схожу! Приезд жены, убийство... бррр!.. Где теперь моя жена? Ты ее не видел?

— Видел. Она с Пшехоцким чай пьет.

— С братцем, значит... Пшехоцкий — это шельма! Когда я удирал из Петербурга тайком, он пронюхал о моем бегстве и привязался... Сколько он у меня денег выжулил за всё это время, так это уму непостижимо! Разговаривать долго с графом мне было некогда. Я поднялся и направился к двери.

— Послушай, — остановил меня граф. — Тово... а меня не пырнет этот Урбенин?

— А Ольгу разве он пырнул?

— Понятно, он... Недоумеваю только, откуда он взялся! Какие черти его принесли в лес? И почему именно в этот самый лес! Допустим, что он притаился там и поджидал нас, но почему он знал, что я захочу остановиться именно там, а не в другом месте?

— Ты ничего не понимаешь, — сказал я. — Кстати, раз навсегда прошу тебя... Если я возьму на себя это дело, то, пожалуйста, не высказывай мне своих соображений... Ты потрудишься только отвечать на мои вопросы, но не больше.

Оставив графа, я отправился в комнату, где лежала Ольга¹⁸...

В комнате горела маленькая голубая лампа, слабо освещавшая лица... Читать и писать при ее свете было невозможно. Ольга лежала на своей кровати. Голова ее была в повязках; видны были только чрезвычайно бледный заостренный нос да веки закрытых глаз. Грудь в то время, когда я вошел, была обнажена: на нее клали пузырь со льдом¹⁹. Стало быть, Ольга еще не умерла. Около нее хлопотали два врача. Когда я вошел, Павел Иваныч, щуря глаза, бесконечно сопя и пыхтя, выслушивал ее сердце.

Земский врач, чрезвычайно утомленный и на вид больной человек, сидел около кровати в кресле и, задумавшись, делал вид, что считает пульс. Отец Иеремия, только что кончивший свое дело, заворачивал в епитрахиль крест и собирался уходить...

— А вы, Петр Егорыч, не скорбите! — говорил он, вздыхая и поглядывая в угол. — На все божья воля, к богу и прибегните.

В углу на табурете сидел Урбенин. Он до того изменился, что я едва узнал его. Безделье и пьянство последнего времени сильно сказывались как на его платье, так и на наружности: платье было изношено, лицо тоже.

¹⁸ Тут зачеркнуты две строки. — А. Ч.

¹⁹ Обращаю внимание читателя на одно обстоятельство. Камышев, любящий разглагольствовать о состоянии своей души всюду, даже в описаниях стычек своих с Поликарпом, ничего не говорит о впечатлении, произведенном на него видом умирающей Ольги. Думаю, что это пробел преднамеренный. — А. Ч.

Бедняга неподвижно сидел и, подперев кулаками голову, не отрывал глаз от кровати... Руки и лицо его всё еще были в крови... О мытье было забыто...

О, пророчество моей души и моей бедной птицы!

Когда моя благородная, убитая мной птица выкрикивала фразу о муже, убившем свою жену, в моем воображении всегда появлялся на сцену Урбенин. Почему?.. Я знал, что ревнивые мужья часто убивают жен-изменниц, знал в то же время, что Урбенины не убивают людей... И я отгонял мысль о возможности убийства Ольги мужем, как абсурд.

«Он или не он?» — задал я себе вопрос, поглядев на его несчастное лицо.

И, откровенно говоря, я не дал себе утвердительного ответа, несмотря даже на рассказ графа, на кровь, которую я видел на руках и лице.

«Если бы он убил, то он давно бы уже смыл с рук и лица кровь... — вспомнилось мне положение одного приятеля-следователя. — Убийцы не выносят крови своих жертв».

Если бы я захотел пошевелить мозгами, то я вспомнил бы немало сему подобных положений, но не следовало забегать вперед и набивать свою голову преждевременными заключениями.

— Мое почтение! — обратился ко мне земский врач. — Очень рад, что хоть вы пришли... Скажите, пожалуйста, кто здесь хозяин?

— Здесь нет хозяина... Здесь царит хаос... — сказал я.

— Изречение очень милое, но, тем не менее, мне нисколько не легче, — желчно закашлялся земский врач. — Три часа прошу, умоляю дать сюда бутылку портвейна или шампанского, и хоть бы кто снизошел к мольбам! Все глухи, как тетерева! Льду только что сейчас принесли, хотя я приказал достать его три часа тому назад. Что же это такое? Человек умирает, а они словно смеются! Граф изволит в своем кабинете распивать ликеры, а сюда не могут дать рюмки! Посылаю в город, в аптеку, — говорят, что лошади заморены и ехать некому, потому что все пьяны... Хочу послать к себе в больницу за лекарствами и повязками, и мне делают одолжение: дают мне какого-то пьяницу, который еле на ногах стоит. Послал его два часа тому назад, и что же? Говорят, что он только что сейчас уехал! Ну не безобразие ли это? Все пьяны, грубы, неотесаны!.. Все какие-то идиоты! Клянусь богом, первый раз в жизни вижу таких бессердечных людей!

Негодование врача было справедливо. Он нисколько не преувеличивал, а напротив... Чтоб излить желчь на все беспорядки и безобразия, имевшие место в графской усадьбе, не хватило бы целой ночи. Деморализованная бездельем и безначалием прислуга была отвратительна. Не было того лакея, который не мог бы служить типом зажившегося и зажившего человека.

Я отправился добывать вино. Дав две-три оплеухи, я добыл и шампанского и валерьяновых капель, чем несказанно порадовал медиков. Через час²⁰ приехал из больницы фельдшер и привез с собою всё необходимое.

Павлу Ивановичу удалось влить в рот Ольге столовую ложку шампанского. Она сделала глотательное движение и простонала. Затем ей впрыснули под кожу что-то вроде гофманских капель.

— Ольга Николаевна! — крикнул земский врач, нагнувшись к ее уху. — Ольга Ни-ко-ла-евна!

— Трудно ожидать, чтоб она пришла в сознание! — вздохнул Павел Иваныч. — Крови много потеряно, да и, кроме того, удар по голове каким-то тупым орудием, наверное, сопровождался сотрясением мозга.

Было ли сотрясение мозга или нет, не мое дело решать, но только Ольга открыла глаза и попросила пить... Возбуждающие средства на нее подействовали.

— Вы теперь можете спросить, что вам нужно... — толкнул меня под локоть Павел Иваныч. — Спрашивайте.

Я подошел к кровати... Глаза Ольги были обращены на меня.

— Где я? — спрашивала она.

— Ольга Николаевна! — начал я. — Вы узнаете меня?

Ольга несколько секунд поглядела на меня и закрыла глаза.

— Да! — простонала она. — Да!

— Я — Зиновьев, судебный следователь. Имел честь быть с вами знаком и даже, если припомните, был шафером на вашей свадьбе...

— Это ты? — прошептала Ольга, протягивая вперед левую руку. — Сядь...

— Бредит! — вздохнул «щур».

— Я — Зиновьев, следователь... — продолжал я. — Если помните, я присутствовал на охоте... Как вы

²⁰ Я должен обратить внимание читателя еще на одно очень важное обстоятельство. В продолжение 2 — 3-х часов г. Камышев занимается только тем, что ходит из комнаты в комнату, возмущается с врачами прислугой, щедро сыплет оплеухи и проч... Узнаёте ли вы в нем судебного следователя? Он, видимо, не спешит и старается чем-нибудь убить время. Очевидно, «ему убийца известен». Затем, описанный ниже, ничем не мотивированный, обыск у Сычихи и допрос цыган, более похожий на издевательство, чем на допрос, могут быть проделаны только для проволочки времени. — А. Ч.

себя чувствуете?

— Задавайте вопросы по существу! — шепнул мне земский врач. — Я не ручаюсь, что сознание будет продолжительно...

— Прошу, пожалуйста, не учить! — обиделся я. — Я знаю, что мне говорить... Ольга Николаевна, — продолжал я, обращаясь к Ольге, — вы потрудитесь припомнить события истекшего дня. Я помогу вам... В час дня вы сели на лошадь и поехали с компанией на охоту... Охота продолжалась часа четыре... Засим следует привал на опушке леса... Помните?

— И ты... и ты... убил.

— Кулика? После того, как я добил подстреленного кулика, вы поморщились и удалились от компании... Вы пошли в лес...²¹ Теперь потрудитесь собрать все свои силы, поработать памятью. В лесу во время прогулки вы потерпели нападение от неизвестного нам лица. Спрашиваю вас как судебный следователь, это кто был?

Ольга открыла глаза и поглядела на меня.

— Назовите нам имя этого человека! Здесь, кроме меня, трое...

Ольга отрицательно покачала головой.

— Вы должны назвать его, — продолжал я. — Он понесет тяжелую кару... Закон дорого взыщет за его зверство! Он пойдет в каторжные работы...²² Я жду.

Ольга улыбнулась и отрицательно покачала головой. Дальнейший допрос не привел ни к чему. Больше я не добился от Ольги ни одного слова, ни одного движения. В без четверти пять она скончалась.

В седьмом часу утра прибыли из деревни вытребованные мною староста и понятия. Ехать на место преступления было невозможно: дождь, начавшийся ночью, всё еще лил, как из ведра. Маленькие лужи обратились в озера. Серое небо глядело сурово и не обещало солнца; смоченные деревья, уныло свесив свои ветви, сыпали целый град крупных брызг при каждом дуновении ветра. Ехать было невозможно да и, пожалуй, незачем: следы преступления, как-то: кровавые пятна, человеческие следы и проч., вероятно, были за ночь размыты дождем. Но формальность требовала, чтобы место преступления было осмотрено, и я отложил эту поездку до приезда полиции, а пока занялся составлением начерно протокола и допросом. Прежде всего я допросил цыган. Бедные певцы всю ночь просидели в залах, ожидая, что им дадут лошадей для поездки на станцию. Но лошадей им не дали; прислуга посылала их к графу, предупреждая в то же время, что его сиятельство не велели никого «впускать». Не дали им и самовара, который они попросили утром. Это более чем странное, неопределенное положение в чужом доме, где лежала покойница, безызвестность относительно часа выезда и сырая, унылая погода — всё это вогнало бедных цыган и цыганок в такую тоску, что они за одну ночь похудели и побледнели. Они слонялись из угла в угол, словно испуганные или ожидающие строгого вердикта. Своим допросом я еще более увеличил их душевную тяжесть. Во-первых, мой продолжительный допрос надолго отсрочил их отъезд из «проклятого» дома и, во-вторых, испугал их. Простые люди, вообразив, что их сильно подозревают в убийстве, с плачем стали уверять меня, что они не виноваты и знать ничего не знают. Тина, увидав во мне официальное лицо, совсем забыла наши прежние отношения и, говоря со мной, дрожала и млела от страха, как высеченная девочка. На мою просьбу не волноваться и на уверения, что я вижу в них только свидетелей, помощников правосудия, они в один голос заявили мне, что никогда они свидетелями не были, знать ничего не знают и надеются, что бог и на будущее время избавит их от близкого знакомства с судейским людом.

Я спросил их, какую дорогою ехали они со станции, не ехали ли они через тот лес, где произошло убийство, не отделялся ли кто-нибудь из них от компании, хотя бы даже на короткое время, и не был ли им слышен раздирающий душу крик Ольги²³. Допрос этот не привел ни к чему. Испуганные им цыгане отрядили из хора двух молодцов и послали их в деревню нанять подводы. Бедняги страстно желали уехать. К их несчастью, в деревне, где уже шли разговоры об убийстве в лесу, подозрительно взглянули на смуглых посланцев, и, задержав их, привели ко мне. Только вечером измученный хор избавился от кошмара и вздохнул свободно, нанявши втридорога пять мужицких подвод и выехав из графского дома. Впоследствии за их приезд было им заплачено, но никто не заплатил им за нравственные муки, которые претерпели они в графских хоромах...

²¹ Это уклонение от вопроса первой важности имело в виду только одно: растянуть время и дожидаться потери сознания, когда Ольга не могла бы уже назвать имя убийцы. Прием характерный, и удивительно, что врачи не оценили его по достоинству. — А. Ч.

²² Всё это наивно только на первый взгляд. Очевидно, Камышеву нужно было дать понять Ольге, какие тяжелые последствия для убийцы будет иметь ее сознание. Если ей дорог убийца, ergo — она должна молчать. — А. Ч.

²³ Если всё это нужно было г. Камышеву, то не легче ли было допросить кучеров, которые везли цыган? — А. Ч.

Допросив их, я произвел у Сычихи обыск²⁴. В ее сундуках я нашел пропасть всякого старушечьего хлама, но, перебрав все поношенные чепцы и перештопанные чулки, я не нашел ни денег, ни драгоценных вещей, которые старуха воровала у графа и его гостей... Не нашел я и вещей, которые были когда-то украдены у Тины... Очевидно, у Яги было другое складочное место, известное ей одной...

Я не привожу здесь своего протокола, предварительных сведений и осмотра... Длиннен он, да и забыл я его... Сообщаю его здесь в общих чертах вкратце... Прежде всего я описал, в каком положении я застал Ольгу, и во всех подробностях изложил приведенный мною допрос ее. Из этого допроса видно было, что Ольга давала мне ответы сознательно и сознательно же скрывала от меня имя убийцы. Она не хотела, чтоб убийца понес кару, и это неминуемо наводит на предположение, что преступник был для нее дорог и близок.

Осмотр платья, произведенный мною вместе с приехавшим вскоре становым, дал очень многое... Козак от амазонки, бархатный, на шёлковой подкладке, был еще влажен... Правый бок, где находилось отверстие, сделанное кинжалом, был пропитан кровью и местами носил на себе кровавые сгустки... Кровотечение было сильное, и удивительно, как это Ольга не умерла на месте. Левый бок был тоже в крови... Левый рукав был порван на плече и у кисти руки... Верхние две пуговицы были оторваны, и при осмотре мы их не нашли. Юбка амазонки, черная кашемировая, найдена страшно измятой: ее смяли, когда несли Ольгу из лесу к экипажу и из экипажа к кровати. Потом ее стащили с Ольги и, безобразно скомкав, швырнули под кровать. У пояса она была разорвана; этот продольный разрыв, имевший в длину семь вершков, получился, вероятно, при переноске и стаскивании; он мог быть также сделан при жизни: Ольга, не любившая заниматься починками и не зная, кому отдать починить юбку, могла прятать этот разрыв под казакином. Думаю, что здесь ни при чем дикое остервенение преступника, на которое впоследствии напирал в своей речи товарищ прокурора. Правая часть пояса и правый карман были пропитаны кровью. Носовой платок и перчатка, лежавшие в этом кармане, представляли собой два бесформенных комочка ржавого цвета. На всей юбке, от пояса до конца шлейфа, были рассыпаны кровавые пятна различной величины и формы... Большинство из них были отпечатками окровавленных пальцев и ладоней, принадлежавших, как потом выяснилось на допросе, кучерам и лакеям, несшим Ольгу... Сорочка была окровавлена, и более всего на правой стороне, где находилась дыра, произведенная режущим орудием. Так же, как и в козаке, на левом плече и около кисти были разрывы... Манжетка была наполовину оторвана.

Вещи, бывшие при Ольге, как-то: золотые часы, длинная золотая цепочка, брошка с бриллиантом, серьги, кольца и портмоне с серебряной монетой, были найдены при одежде. Ясно, что преступником руководили не корыстные побуждения.

Судебно-медицинское вскрытие, произведенное в моем присутствии «щуром» и земским врачом, на другой день после смерти Ольги, дало в конечном результате очень длинный протокол, который привожу здесь в общих чертах. При наружном осмотре были найдены врачами следующие повреждения. На голове, на границе с левой височной и теменной костями, — рана, имеющая полтора дюйма длины и проникающая до кости. Края раны не ровны и не прямолинейны... Нанесена она тупым орудием, вероятно, как мы потом порешили, клинком кинжала. На шее, на уровне шейного позвонка, замечается красная полоса, имеющая вид полукруга и обхватывающая циркулярно заднюю половину шеи. На всем протяжении этой полосы усмотрены повреждения кожицы и незначительные кровоподтеки. На левой руке, на один вершок выше кисти, найдено четыре синих пятна: одно на тыльной стороне и другие три на ладонной. Произошли они от давления и, вероятнее всего, пальцами... Последнее подтверждается еще тем, что на одном из пятен усмотрена маленькая ссадина, произведенная ногтем... Соответственно месту, где находились эти пятна, как припомнит читатель, был разорван левый рукав казакина и наполовину оторвана левая манжетка сорочки... Менаду четвертым и пятым ребром на линии, мысленно проведенной от середины подмышковой впадины вертикально вниз, находится большая, зияющая рана, длиною в дюйм. Края ее ровные, как бы порезанные, пропитаны жидкой и свернувшейся кровью... Рана проникающая... Произведена она режущим орудием и, как видно из собранных предварительных сведений, кинжалом, ширина которого вполне соответствовала величине раны.

Внутренний осмотр показал поранение правых легкого и плевры, воспаление легкого и кровоизлияние в полость плевры.

Врачи, насколько помню, дали приблизительно такое заключение: а) смерть произошла от малокровия, которое последовало за значительной потерей крови; потеря крови объясняется присутствием на правой стороне груди зияющей раны; б) рану головы следует отнести к тяжким повреждениям, а рану груди к безусловно смертельным; последнюю следует признать за непосредственную причину смерти; в) рана головы нанесена тупым орудием, а рана груди — режущим, и притом, вероятно, обоюдоострым; г) все вышеописанные повреждения не могли быть нанесены собственной рукою умершей и е) покушения на

²⁴ К чему? Допустим, что всё это проделано судебным следователем спяна или спресонок, тогда зачем же об этом писать? Не лучше ли скрыть от читателя эти грубые ошибки? — А. Ч.

оскорбление женской чести, вероятно, не было.

Чтобы не откладывать в долгий ящик и потом не повторяться, передам тут же читателю картину убийства, набросанную мною под первым впечатлением осмотра, двух-трех допросов и чтения протокола вскрытия.

Ольга, отделившись от компании, гуляла в лесу. Замечтавшись или поддавшись печальным мыслям (читатель помнит ее настроение в тот злополучный вечер), она забрела далеко в чащу. Тут ей встретился убийца. Когда она стояла под деревом и думала свои думы, к ней подошел человек и заговорил с ней... Человек этот не был подозрителен, иначе бы она крикнула на помощь, но этот крик не был бы раздирающим душу. Поговорив с ней, убийца схватил ее за левую руку, и так сильно, что порвал рукав казакина и сорочки и оставил след в виде четырех пятен. Тут, вероятно, она вскрикнула тем криком, который слышала компания, — вскрикнула от боли и, вероятно, прочитав на лице и в движениях убийцы его намерение. Желая ли, чтоб она не вскрикнула еще раз, или, может быть, под влиянием злобного чувства он схватил ее за грудь около воротника, о чем свидетельствуют две оторванные верхние пуговицы и красная полоса, найденная врачами на шее... Убийца, хватая за грудь и потрясая, натянул золотую цепочку, бывшую на шее... От трения и давления цепочкой произошла полоса. Затем убийца наносит ей удар по голове каким-то тупым орудием, например палкой или, быть может, даже клинком кинжала, висевшего у Ольги на поясе. Придя в азарт или найдя, что одной этой раны недостаточно, он обнажает кинжал и с силой вонзает его в правый бок, — я говорю: с силой, потому что кинжал был туп.

Таков мрачный вид картины, которую я имел право набросать на основании вышеизложенных данных. Вопрос, кто был убийцей, по-видимому, не был труден и решался сам собою. Во-первых, убийцей руководили не корыстные цели, а какие-то другие... Подозревать, стало быть, какого-нибудь заблудившегося бродягу или оборванцев, занимавшихся на озере рыбной ловлей, не было надобности. Крик жертвы не мог обезоружить грабителя: снять брошку и часы было делом одной секунды...

Во-вторых, Ольга намеренно не назвала мне убийцы, чего бы она не сделала, если бы убийца был простым грабителем. Очевидно, убийца был ей дорог, и она не хотела, чтобы его подвергли из-за нее тяжелому наказанию... Такими людьми могли быть ее сумасшедший отец, ее муж, которого она не любила, но перед которым, вероятно, чувствовала себя виноватой, граф, которому она, быть может, в душе чувствовала себя обязанной... Сумасшедший отец в вечер убийства, как показала потом прислуга, сидел у себя в лесном домике и весь вечер сочинял письмо к исправнику, прося его обуздать мнимых воров, день и ночь будто бы окружавших квартиру сумасшедшего... Граф до и в момент убийства не отделялся от компании. Оставалось всю тяжесть подозрения взвалить на одного только несчастного Урбенина. Его внезапное появление, вид и прочее могли служить только хорошими уликами.

В-третьих, жизнь Ольги в последнее время состояла из сплошного романа. Роман этот был такого сорта, что обыкновенно оканчиваются уголовщиной. Старый, любящий муж, измена, ревность, побои, бегство к любовнику-графу через месяц-два после свадьбы... Если прекрасная героиня такого романа убита, то не ищите воров и мошенников, а поисследуйте героев романа. По этому третьему пункту самым подходящим героем-убийцей был всё тот же Урбенин...

Предварительное дознание делал я в мозаиковой гостиной, в которой любил когда-то валяться на мягких диванах и любезничать с цыганками... Первым, кого я допросил, был Урбенин. Его привели ко мне из комнаты Ольги, где он всё еще продолжал сидеть в углу на табурете и не отрывал глаз от опустевшей постели... Минуту он стоял передо мной молча, глядя на меня безучастно, потом же, догадавшись, вероятно, что я намереваюсь говорить с ним как судебный следователь, он проговорил голосом утомленного, убитого горем и тоскою человека:

— Допросите, Сергей Петрович, других свидетелей, а меня уж после... Не могу...

Урбенин считал себя свидетелем или думал, что его таковым считают...

— Нет, мне нужно допросить вас именно теперь, — сказал я. — Потрудитесь сесть...

Урбенин сел против меня и склонил голову. Он был утомлен и болен, отвечал неохотно, и я с большим трудом выжал из него показание.

Он показал, что он — Петр Егорыч Урбенин, дворянин, 50 лет, православного вероисповедания. Имеет имение в соседнем К — м уезде, где служил по выборам и два трехлетия состоял почетным мировым судьей. Разорившись, заложил имение и почел за нужное поступить на службу. В управляющие к графу поступил он шесть лет тому назад. Любя агрономию, он не стыдился служить частному лицу и находит, что только глупцы стыдятся труда. Жалованье получал он от графа исправно, и жаловаться ему не на что. От первого брака имеет сына и дочь, и т. д. и т. д.

На Ольге женился по страстной любви. С чувством своим он долго и мучительно боролся, но ни здравый смысл, ни логика практического пожилого ума — ничего не поделали: пришлось поддаться чувству и жениться. Что Ольга выходит за него не по любви, он знал, но, считая ее в высокой степени нравственной, он решил довольствоваться одной только ее верностью и дружбою, которую надеялся заслужить.

Дойдя до того места, где начинаются разочарование и оскорбление седи́н, Урбенин попросил позволения не говорить о «прошлом, которое ей простит господь», или же, по крайней мере, отложить разговор об этом до будущего.

— Не могу... Тяжело... Да и сами вы видели.

— Хорошо, оставим до будущего раза... Теперь только скажите мне: правда ли, что вы били вашу жену? Говорят, что, найдя однажды у нее записку графа, вы ударили ее...

— Это неправда... Я только схватил ее за руку, она же расплакалась и побежала в тот вечер с жалобой...

— Отношения ее к графу были вам известны?

— Я просил отложить этот разговор... Да и к чему он?

— Ответьте мне только на один этот вопрос, имеющий большую важность... Были ли вам известны отношения вашей жены к графу?

— Конечно...

— Я так и запишу, а об остальном, касающемся неверности вашей жены, до следующего раза... Теперь мы перейдем к другому, а именно: я попрошу вас объяснить мне, как вы попали вчера в лес, где была убита Ольга Николаевна... Ведь вы, как говорите, в городе были... Как же вы очутились в лесу?

— Да-с, я в городе живу, у двоюродной сестры, с самого того времени, как потерял место... Занимался тем, что искал место и пьянствовал с горя... Особенно сильно пил в этом месяце... Прошлой недели, например, совсем не помню, потому что пил без просыпа... Третьего дня напился тоже... одним словом, пропал... Пропал безвозвратно!..

— Вы хотели рассказать, каким образом вы очутились вчера в лесу...

— Да-с... Вчера утром проснулся я рано, часа в четыре... Голова болела от вчерашнего пьянства, тело всё ломило, словно в горячке... Лежу я на постели, вижу в окно как солнце всходит, и вспомнилось мне... разное... Тяжело стало... Захотелось вдруг увидеть ее, увидеть хоть раз, может, в последний. И злоба охватила и тоска... Вытащил я из кармана сто рублей, что мне граф прислал, поглядел на них и давай ногами топтать... Топтал-топтал и порешил пойти и бросить ему эту милостыню в лицо. Как бы я ни был голоден и оборван, но чести своей я продать не могу и всякую попытку купить ее считаю оскорблением моей личности. Так вот-с, захотелось взглянуть на Олю, а ему, оболъстителю, швырнуть в харю деньги. И так охватило меня это желание, что я чуть с ума не сошел. Чтоб ехать сюда, денег у меня не было. Его сто рублей на себя потратить я не мог. Пошел пешком. Спасибо, на пути попался мне знакомый мужичонка, который за гривенник провез меня восемнадцать верст, а то бы я до сих пор пешком шел. Мужичок ссадил меня в Тене́ве. Оттуда пошел я пешком сюда и пришел этак часа в четыре.

— Вас видел кто-нибудь здесь в это время?

— Да-с. Сторож Николай сидел у ворот и сказал мне, что господ дома нет и что они на охоте. Я изнемогал от усталости, но желание видеть жену было сильнее боли. Пришлось, ни минуты не отдыхая, идти пешком к месту, где охотились. По дороге я не пошел, а отправился лесочками... Мне каждое дерево знакомо, и заблудиться в графских лесах мне так же трудно, как в своей квартире.

— Но, идя по лесу, а не по дороге, вы могли разминуться с охотниками.

— Нет-с, я всё время держался дороги, и так близко, что мог услышать не только выстрелы, но и разговор.

— Стало быть, вы не предполагали, что встретитесь в лесу с женой?

Урбенин поглядел на меня с удивлением и, подумав немного, ответил:

— Вопрос, извините, странный. Нельзя предполагать, что с волком встретишься, а предполагать страшные несчастья невозможно и подавно: бог посылает их внезапно. Взять хоть этот ужасный случай... Иду я по Ольховскому лесу, никакого горя не жду, потому что у меня и без того много горя, и вдруг слышу страшный крик. Крик был до того резкий, что мне показалось, что меня кто-то резанул в ухо... Бегу на крик...

Рот Урбенина перекосило в сторону, подбородок его задрожал. Он замигал глазами и зарыдал.

— Бегу на крик и вдруг вижу... лежит Оля. Волоса и лоб в крови, лицо ужасное. Начинаю кричать, звать ее по имени... Она не движется... Целую ее, поднимаю.

Урбенин захлебнулся и закрыл лицо рукавом. Через минуту он продолжал:

— Негодяя я не видал... когда бежал к ней, слышал чьи-то поспешные шаги... Вероятно, это он убежал.

— Всё это прекрасно придумано, Петр Егорыч, — сказал я. — Но знаете ли, следователи плохо верят в такие редкие случайности, как совпадение убийства с вашей случайной прогулкой и проч. Придумано недурно, но объясняет очень мало.

— То есть как придумано? — спросил Урбенин, делая большие глаза. — Я не придумывал-с...

Урбенин вдруг покраснел и поднялся.

— Слово́но вы подозреваете меня... — пробормотал он. — Подозревать, конечно, всякого можно, но

вы-то, Сергей Петрович, знаете меня уже давно... Вам грех клеймить меня таким подозрением... Вы меня ведь знаете.

— Я вас знаю — это так... но мои личные мнения тут ни при чем... Личные мнения закон предоставляет только одним присяжным заседателям, в распоряжение же следователя отданы одни только улики... Улик много, Петр Егорыч.

Урбенин испуганно поглядел на меня и пожал плечами.

— Да какие ни были бы улики, — проговорил он, — вы должны понимать... Ну разве я могу... Я! И кого же?! Убить перепелку или кулика еще, пожалуй, можно, а человека... человека, который дороже мне жизни, моего спасения... одна мысль о котором просветляла мое мрачное состояние, как солнце... И вдруг вы подозреваете!

Урбенин махнул рукой и сел.

— Тут и так смерти хочется, а вы еще оскорбляете! Добро бы оскорблял незнакомый чиновник, а то вы, Сергей Петрович... Позвольте мне уйти-с!

— Можете... Еще раз я допрошу вас завтра, а пока, Петр Егорыч, я должен заключить вас под стражу... Надеюсь, что к завтрашнему допросу вы оцените всю важность имеющихся против вас улик, не станете затягивать понапрасну времени и сознаетесь. Что Ольга Николаевна убита вами, я убежден... Больше я вам сегодня ничего не скажу... Можете идти.

Я проговорил это и нагнулся к бумагам... Урбенин поглядел на меня с недоумением, поднялся и как-то странно растопырил руки.

— Вы это шутите или... серьезно? — проговорил он.

— Нам с вами не до шуток... — сказал я. — Можете идти.

Урбенин всё еще продолжал стоять. Я взглянул на него. Он был бледен и растерянно глядел на мои бумаги.

— А отчего это у вас руки в крови, Петр Егорыч? — спросил я.

Он взглянул на свои руки, на которых всё еще была кровь, и пошевелил пальцами.

— Отчего кровь?... Гм... Если это одна из улик, то это плохая улика... Поднимая окровавленную Ольгу, я не мог не опачкать рук в крови... Не в перчатках же я был.

— Вы говорили сейчас мне, что, увидев свою жену, вы кричали, звали на помощь... Отчего же никто не слышал вашего крика?

— Не знаю, меня так ошеломил вид Оли, что я не мог громко кричать... Впрочем, ничего не знаю... Незачем мне оправдываться, да и не в моих это правилах.

— Едва ли вы кричали... Убив жену, вы побежали и были ужасно поражены, когда увидели на опушке людей.

— Я и не заметил ваших людей. Не до людей мне было.

Этим допрос Урбенина на сей раз кончился. После него Урбенин был взят под стражу и заперт в одном из графских флигелей.

На другой или на третий день прикатил из города товарищ прокурора Полуградов — человек, которого я не могу вспомнить без того, чтобы не испортить себе расположение духа. Представьте себе высокого и тощего человека, лет тридцати, гладко выбритого, завитого, как барашек, и щегольски одетого; черты лица его топки, но до того сухи и малосодержательны, что по ним нетрудно угадать пустоту и хлыщеватость изображаемого индивида: голосок тихий, слащавый и до приторности вежливый.

Приехал он рано утром в наемной коляске с двумя чемоданами. Прежде всего он, с сильно озабоченным лицом и жеманно жалуясь на утомление, справился, есть ли в графском доме для него помещение. Ему по моей команде отвели маленькую, но очень уютную и светлую комнату, где поставили для него всё, начиная с мраморного рукомошника и кончая спичками.

— Па-аслушайте, милый! Приготовьте мне теплой воды! — начал он, расположившись в комнате и безглаголиво понюхивая воздух. — Чеаэк, я вам говорю! Теплой воды, пожалуйста...

И, прежде чем приступить к делу, он долго одевался, умывался и причесывался; даже почистил себе зубы красным порошком и минуты три обрезал свои острые, розовые ногти.

— Ну-с, — приступил он, наконец, к делу, перелистывая наши протоколы, — в чем дело?

Я рассказал ему, в чем дело, не пропуская ни одной подробности...

— А на месте преступления были?

— Нет, еще не был.

Товарищ прокурора поморщился, провел своей белой, женской рукой по свежевывытому лбу и зашагал по комнате.

— Мне непонятны соображения, по которым вы еще там не были, — забормотал он: — это прежде всего нужно было сделать, полагаю. Вы забыли или не сочли нужным?

— Ни то, ни другое: вчера ждал полицию, а сегодня поеду.

— Там теперь ничего не осталось: все дни идет дождь, да и вы дали время преступнику скрыть следы. По крайней мере, вы поставили там сторожа? Нет? Н-не понимаю!

И фронт авторитетно пожал плечами.

— Пейте чай, а то он простынет, — сказал я тоном равнодушного человека.

— Я люблю холодный.

Товарищ прокурора нагнулся к бумагам и, сопя на всю комнату, стал читать вполголоса, изредка вставляя свои замечания и поправки. Раза два его рот покривился в насмешливую улыбку: гусю лапчатому²⁵ не нравились почему-то ни мой протокол, ни протокол врачей. В вычищенном и вымытом чиновнике сильно высказывался педант, нафаршированный самомнением и чувством собственного достоинства.

В полдень мы были на месте преступления. Шел проливной дождь. Конечно, не нашли мы ни пятен, ни следов: всё было размыто дождем. Кое-как удалось мне найти пуговицу, недостававшую на амазонке убитой Ольги, да товарищ прокурора подобрал какую-то красную мякоть, которая впоследствии оказалась красной табачной оберткой. Сначала мы было набрели на куст, у которого были надломаны две боковые веточки; товарищ прокурора обрадовался этим веточкам: они могли быть сломаны преступником, а потому указывали бы направление, по которому шел преступник, убив Ольгу. Но радость прокурора была напрасна: скоро мы нашли много кустов с поломанными ветками и оципантыми листьями; оказалось, что через место преступления проходил скот.

Набросав план местности и расспросив взятых с нами кучеров о положении, в котором была найдена Ольга, мы поехали обратно, чувствуя себя не солоно хлебавши. Когда мы исследовали место, в движениях наших посторонний наблюдатель мог бы уловить лень, вялость... Быть может, движения наши отчасти были парализованы тем обстоятельством, что преступник был уже в наших руках и, стало быть, не было надобности пускаться в лекоковские анализы.

Возвратившись из леса, Полуградов опять долго умывался и одевался, опять требовал теплой воды. Покончивши с туалетом, он изъявил желание допросить еще раз Урбенина. На этом допросе бедный Петр Егорыч не сказал ничего нового: он по-прежнему отрицал свою виновность и ни во что ставил наши улики.

— Я даже удивляюсь, как это можно меня подозревать, — сказал он, пожимая плечами, — странно!

— Не наивничайте, любезнейший! — сказал ему Полуградов, — напрасно подозревать никто не станет, а если подозревают, то, значит, имеют на то причины!

— Да какие ни были бы причины, как бы ни были тяжелы улики, но надо же ведь рассуждать по-человечески! Не могу я убить... понимаете? Не могу... Стало быть, чего же стоят ваши улики?

— Ну! — махнул рукой товарищ прокурора, — беда с этими интеллигентными преступниками: мужику втолкуешь, а извольте-ка с этим поговорить! Не могу... по-человечески... так и бьют на психологию!

— Я не преступник, — обиделся Урбенин, — прошу вас быть в ваших выражениях поосторожнее...

— Замолчите, любезнейший! Некогда нам перед вами извиняться и выслушивать ваши неудовольствия... Не угодно вам сознаваться, так и не признавайтесь, — только позвольте уж нам считать вас лгуном...

— Как вам угодно, — проворчал Урбенин, — вы можете проделывать теперь со мной, что вам угодно... ваша власть...

Урбенин махнул рукой и продолжал, глядя в окно:

— Мне, впрочем, всё равно: жизнь пропала.

— Послушайте, Петр Егорыч, — сказал я, — вчера и третьего дня вы были так убиты горем, что еле держались на ногах, и едва выговаривали лаконические ответы; сегодня же, напротив, вы имеете такой цветущий, конечно, сравнительно, и веселый вид и даже пускаетесь в разглагольствования. Обыкновенно ведь горюющим людям не до разговоров, а вы мало того, что длинно разговариваете, но еще и высказываете мелочное неудовольствие. Чем объяснить такую резкую перемену?

— А вы чем объясняете ее? — спросил Урбенин, насмешливо шуря на меня глаза.

— Я это объясняю тем, что вы забыли свою роль. Трудно ведь долго актерствовать: или роль забудешь, или надоест.

— Это следовательское измышление, — усмехнулся Урбенин, — и оно делает честь вашей находчивости... Да, вы правы: перемена произошла во мне большая...

— Вы можете объяснить ее?

— Извольте, скрывать не нахожу нужным: вчера я был так убит и придавлен своим горем, что думал наложить на себя руки или... сойти с ума... но сегодня ночью я раздумался... мне пришла мысль, что смерть избавила Олю от развратной жизни, вырвала ее из грязных рук того шелопаля, моего губителя; к смерти я не ревную: пусть Ольга лучше ей достается, чем графу; эта мысль повеселила меня и подкрепила; теперь уже в

²⁵ Напрасно Камышев бранит товарища прокурора. Виноват этот прокурор только в том, что его физиономия не понравилась г. Камышеву. Честнее было бы сознаться или в неопытности, или же в умышленных ошибках. — А. Ч.

моей душе нет такой тяжести.

— Ловко придумано! — процедил сквозь зубы Полуградов, покачивая ногой. — За ответом в карман не лезет!

— Я чувствую, что я говорю искренно, и мне удивительно, что вы, образованные люди, не можете отличить искренности от притворства! Впрочем, предубеждение слишком сильное чувство, под влиянием его не ошибаться трудно; я понимаю ваше положение, воображаю, что будет, когда, поверив вашим уликам, станут меня судить... воображаю: возьмут во внимание мою зверскую физиономию, мое пьянство... у меня не зверская наружность, но предубеждение возьмет свое...

— Хорошо, хорошо, довольно, — сказал Полуградов, нагибаясь к бумагам, — ступайте...

По уходе Урбенина мы приступили к допросу графа. Его сиятельство пожаловал к допросу в халате и с искусной повязкой на голове; познакомившись с Полуградовым, он развалился на кресле и стал давать показания:

— Я вам всё расскажу, с самого начала... Ну, что поделывает теперь ваш председатель Лионский? Всё еще не развелся с женой? Я с ним случайно в Петербурге познакомился... Господа, да что же вы не велите себе чего-нибудь подать? С коньяком как-то веселее и разговаривать... а что в этом убийстве виноват Урбенин, я не сомневаюсь...

И граф рассказал нам всё то, что уже знакомо читателю. По просьбе прокурора, он во всех подробностях рассказал свое житье с Ольгой и, описывая прелести житья с хорошенькой женщиной, так увлекся, что несколько раз причмокнул губами и подмигнул глазом. Из его показания я узнал одну очень важную подробность, которая неизвестна читателю. Я узнал, что Урбенин, живя в городе, беспрестанно бомбардировал графа письмами; в одних письмах он проклинал, в других умолял возратить ему жену, обещая забыть все обиды и бесчестия; бедняга хватался за эти письма, как за соломинку.

Допросив двух-трех кучеров, товарищ прокурора плотно пообедал, прочел мне целую инструкцию и уехал. Перед отъездом он заходил во флигель, где содержался заключенный Урбенин, и объявил последнему, что наше подозрение в его виновности стало уверенностью. Урбенин махнул рукой и попросил позволения присутствовать на похоронах жены; последнее ему было разрешено.

Полуградов не лгал Урбенину: да, наше подозрение стало уверенностью, мы были убеждены, что нам известен преступник и что он уже в наших руках; но недолго сидела в нас эта уверенность!..

В одно прекрасное утро, когда я запечатывал пакет, чтобы отправить с ним Урбенина в город, в тюремный замок, я услышал страшный шум. Выглянув в окно, я увидел занимательное зрелище: десяток дюжих молодцов волокли из людской кухни одноглазого Кузьму.

Кузьма, бледный и растрепанный, упирался в землю ногами и, не имея возможности оборониться руками, бил своих врагов большой головой.

— Ваше благородие, пожалуйста туда! — сказал мне встревоженный Илья. — Не хочет идти!

— Кто не хочет идти?

— Убивец.

— Какой убивец?

— Кузьма... он убил, ваше благородие... Петр Егорыч занапрасну терпит... ей-богу-с...

Я вышел на двор и направился к людской кухне, где Кузьма, вырвавшийся уже из дюжих рук, рассыпал пощечины направо и налево...

— В чем дело? — спросил я, подойдя к толпе...

И мне рассказали нечто странное и неожиданное.

— Ваше благородие, Кузьма убил!

— Врут! — завопил Кузьма, — побей бог, врут!

— А зачем же ты, чёртов сын, кровь отмывал, ежели у тебя совесть чистая? Пстой, их благородие всё разберут!

Объездчик Трифон, проезжая мимо реки, заметил, что Кузьма что-то старательно мыл. Трифон думал сначала, что тот стирает белье, но, взглядевшись, он увидел поддевку и жилетку. Ему показалось это странным: суконного не стирают.

— Что ты делаешь? — крикнул Трифон.

Кузьма смутился. Взглядевшись еще пристальнее, Трифон заметил на поддевке бурые пятна...

— Я сейчас же догадался, что это кровь... пошел на кухню и рассказал нашим; те подстерегли и видели, как он ночью сушил в саду поддевку. Ну, известно, испужались. Зачем ему мыть, ежели он не виноват? Стало быть, крива душа, коли прячется... Думали мы, думали и потащили его к вашему благородию... Его тащим, а он пятится и в глаза плюет. Зачем ему пятиться, ежели он не виноват?

Из дальнейшего допроса оказалось, что Кузьма перед самым убийством, в то время, когда граф с гостями сидел на опушке и пил чай, отправился в лес. В переноске Ольги он не участвовал, а стало быть, испачкаться в крови не мог.

Приведенный ко мне в комнату, Кузьма сначала не мог выговорить от волнения ни слова; вращая белком своего единственного глаза, он крестился и бормотал божбу...

— Ты успокойся, Расскажи мне, и я тебя отпущу, — сказал я ему.

Кузьма повалился мне в ноги и, заикаясь, стал божиться...

— Чтобы мне сгинуть, ежели это я... Чтобы ни отцу, ни матери моей... Ваше благородие! Убей бог мою душу...

— Ты уходил в лес?

— Это правильно-с, я уходил... подавал господам коньяк и, извините, хлебнул малость; ударило мне в голову и захотелось полежать, пошел, лег и заснул... А кто убил и как, не знаю и ведать — не ведаю...

Истинно вам говорю!

— А зачем ты отмывал кровь?

— Боялся, чтобы чего не подумали... чтобы в свидетели не забрали...

— А откуда на твоей поддевке взялась кровь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Как же не можешь знать? Ведь поддевка твоя?

— Это точно, что моя, но не могу знать: увидел кровь, когда уже был проснувшись.

— Так, стало быть, ты во сне запачкал поддевку в кровь?

— Точно так...

— Ну, ступай, братец, подумай... Ты несешь чепуху; подумай, завтра мне скажешь... Иди.

На другой день, когда я проснулся, мне доложили, что Кузьма желает со мной говорить. Я велел его привести.

— Надумал? — спросил я его.

— Точно так, — надумал...

— Откуда же у тебя на поддевке кровь?

— Я, вашескоблагородие, как во сне помню: припоминается что-то, как в тумане, а правда это или нет, не разберу.

— Что же тебе припоминается?

Кузьма поднял вверх свой глаз, подумал и сказал:

— Чудное... словно, как во сне или в тумане... Лежу я на траве пьяный и дремлю, не то я дремлю, не то совсем сплю... Только слышу, кто-то идет мимо и ногами сильно стучит... открываю глаз и вижу, словно как бы в беспамятстве или во сне: подходит ко мне какой-то барин, нагинается и вытирает руки о мои полы... вытер о полы, а потом рукой по жилетке мазнул... вот так.

— Какой же это барин?

— Не могу знать; помню только, что это был не мужик, а барин... в господском платье, а какой это барин, какое у него лицо, совсем не помню.

— Какого же цвета у него было платье?

— А кто его знает! Может, белое, а может, и черное... помнится только, что это был барин, а больше ничего не помню... Ах, да, вспомнил! Нагнувшись, они вытерли свои ручки и сказали: «Пьяная сволочь!»

— Это тебе снилось?

— Не знаю... может, и снилось... Только откуда же кровь взялась?

— Барин, которого ты видел, похож на Петра Егорыча?

— Словно как бы нет... а может быть, это и они были... Только они сволочью ругаться не станут.

— Ты припомни... ступай, посиди и припомни... может быть, вспомнишь как-нибудь.

— Слушаю.

Это неожиданное вторжение одноглазого Кузьмы в почти уже законченный роман произвело неосветимую путаницу. Я решительно потерялся и не знал, как понимать мне Кузьму: виновность свою он отрицал безусловно, да и предварительное следствие было против его виновности: убита была Ольга не из корыстных целей, покушения на ее честь, по мнению врачей, «вероятно, не было»; можно было разве допустить, что Кузьма убил и не воспользовался ни одною из этих целей только потому, что был сильно пьян и потерял соображение или же струсил, что не вязалось с обстановкой убийства?..

Но если Кузьма был не виноват, то почему же он не объяснял присутствия крови на его поддевке и к чему выдумывал сны и галлюцинации? К чему припел он барина, которого он видел, слышал, но не помнит настолько, что забыл даже цвет его одежды?

Прилетал еще раз Полуградов.

— Вот видите-с! — сказал он. — Осмотри вы место преступления тотчас же, то, верьте, теперь всё было бы ясно, как на ладони! Допроси вы тотчас же всю прислугу, мы еще тогда бы знали, кто нес Ольгу Николаевну, а кто нет, а теперь мы не можем даже определить, на каком расстоянии от места происшествия лежал этот пьяница!

Часа два бился он с Кузьмой, но последний не сообщил ему ничего нового; сказал, что в полусне видел барина, что барин вытер о его полы руки и выбранил его «пьяной сволочью», но кто был этот барин, какие у него были лицо и одежда, он не сказал.

— Да ты сколько коньяку выпил?

— Я отпил полбутылки.

— Да то, может быть, был не коньяк?

— Нет-с, настоящий финь-шампань...

— Ах, ты даже и названия вин знаешь! — усмехнулся товарищ прокурора...

— Как не знать! Слава богу, при господах уж три десятка служим, пора научиться...

Товарищу прокурора для чего-то понадобилась очная ставка Кузьмы с Урбениным... Кузьма долго глядел на Урбенина, помотал головой и сказал:

— Нет, не помню... может быть, Петр Егорыч, а может, и не они... Кто его знает!

Полуградов махнул рукой и уехал, предоставив мне самому из двух убийц выбирать настоящего.

Следствие затянулось... Урбенин и Кузьма были заключены в арестантский дом, имевшийся в деревеньке, в которой находилась моя квартира. Бедный Петр Егорыч сильно пал духом; он осунулся, поседел и впал в религиозное настроение; раза два он присылал ко мне с просьбой прислать ему устав о наказаниях; очевидно, его интересовал размер предстоящего наказания.

— Как же мои дети-то будут? — спросил он меня в один из допросов. — Будь я одинок, ваша ошибка не причинила бы мне горя, но ведь мне нужно жить... жить для детей! Они погибнут без меня, да и я... не в состоянии с ними расстаться! Что вы со мной делаете?!

Когда стража стала говорить ему «ты» и когда раза два ему пришлось пройти пешком из моей деревни до города и обратно под стражей, на виду знакомого ему народа, он впал в отчаяние и стал нервничать.

— Это не юристы! — кричал он на весь арестантский дом, — это жестокие, бессердечные мальчишки, не щадящие ни людей, ни правды! Я знаю, почему я здесь сижу, знаю! Свалив на меня вину, они хотят скрыть настоящего виновника! Граф убил, а если не граф, то его наемник!

Когда ему стало известно о задержании Кузьмы, он на первых порах очень обрадовался.

— Вот и нашелся наемник! — сказал он мне, — вот и нашелся!

Но скоро, когда он увидел, что его не выпускают, и когда сообщили ему показание Кузьмы, он опять запечалился.

— Теперь я погиб, — говорил он, — окончательно погиб: чтоб выйти из заключения, этот кривой чёрт, Кузьма, рано или поздно назовет меня, скажет, что это я утирал свои руки о его полы. Но ведь видели же, что у меня руки были не вытерты!

Рано или поздно наши сомнения должны были разрешиться.

В конце ноября того же года, когда перед окнами моими кружились снежинки, а озеро глядело бесконечно белой пустыней, Кузьма пожелал меня видеть: он прислал ко мне сторожа сказать, что он «надумал». Я приказал привести его к себе.

— Я очень рад, что ты, наконец, надумал, — встретил я его, — пора уж бросить скрытничать и водить нас за нос, как малых ребят. Что же ты надумал?

Кузьма не отвечал; он стоял посреди моей комнаты и молча, не мигая глазами, глядел на меня... В глазах его светился испуг; да и сам он имел вид человека, сильно испуганного: он был бледен и дрожал, с лица его струился холодный пот.

— Ну, говори, что ты надумал? — повторил я.

— Такое, что чуднее и выдумать нельзя... — выговорил он. — Вчера я вспомнил, какой на том барине галстух был, а нынче ночью задумался и самое лицо вспомнил.

— Так кто же это был?

Кузьма болезненно усмехнулся и вытер со лба пот.

— Страшно сказать, ваше благородие, уж позвольте мне не говорить: больно чудно и удивительно, думается, что это мне снилось или причудилось...

— Но кто же тебе причудился?

— Нет, уж позвольте мне не говорить: если скажу, то засудите... Дозвольте мне подумать и завтра сказать... Боязно.

— Тьфу! — рассердился я. — Зачем же ты меня беспокоил, если не хочешь говорить? Зачем ты шел сюда?

— Думал, что скажу, а теперь вот страшно. Нет, ваше благородие, отпустите меня... лучше завтра скажу... Если я скажу, то вы так разгневаетесь, что мне пуще Сибири достанется, — засудите...

Я рассердился и велел увести Кузьму²⁶. В тот же день вечером, чтобы не терять времени и покончить раз навсегда с надоевшим мне «делом об убийстве», я отправился в арестантский дом и обманул Урбенина, сказав ему, что Кузьма назвал его убийцею.

— Я ждал этого... — сказал Урбенин, махнув рукой, — мне всё равно...

Одинокое заключение сильно повлияло на медвежье здоровье Урбенина: он пожелтел и убавился в весе чуть ли не наполовину. Я обещал ему приказать сторожам пускать его гулять по коридору днем и даже ночью.

— Нет нужды опасаться, что вы уйдете, — сказал я.

Урбенин поблагодарил меня и после моего ухода уже гулял по коридору: его дверь уж более не запиралась.

Уходя от него, я постучался в дверь, за которой сидел Кузьма.

— Ну что, надумал? — спросил я.

— Нет, барин... — слышался слабый голос, — пушай господин прокурор приезжает, ему объявлю, а вам не стану сказывать.

— Как знаешь...

Утром другого дня всё решилось.

Сторож Егор прибежал ко мне и сообщил, что одноглазый Кузьма найден в своей постели мертвым. Я отправился в арестантскую и убедился в этом... Здоровый, рослый мужик, который еще вчера дышал здоровьем и измышлял ради своего освобождения разные сказки, был неподвижен и холоден, как камень... Не стану описывать ужас мой и стражи: он понятен читателю. Для меня дорог был Кузьма как обвиняемый или свидетель, для сторожей же это был арестант, за смерть или побег которого с них дорого взыскивалось... Ужас наш был тем сильнее, что произведенное вскрытие констатировало смерть насильственную... Кузьма умер от задушения... Убедившись в том, что он задушен, я стал искать виновника и искал его недолго... Он был близко...

Я отправился в камеру Урбенина и, не имея сил сдержаться, забыв, что я следователь, назвал его в самой резкой и жестокой форме убийцей.

— Мало вам было, негодяй, смерти вашей несчастной жены, — сказал я, — вам понадобилась еще смерть человека, который уличил вас! И вы станете после этого продолжать вашу грязную, воровскую комедию!

Урбенин страшно побледнел и покачнулся...

— Вы лжете! — крикнул он, ударяя себя кулаком по груди.

— Не лгу я! Вы проливали крокодиловы слезы на наши улики, издевались над ними... Бывали минуты, когда мне хотелось верить более вам, чем уликам... о, вы хороший актер!.. Но теперь я не поверю вам, даже если из ваших глаз вместо этих актерских, фальшивых слез потечет кровь! Говорите, вы убили Кузьму?

— Вы или пьяны, или же издеваетесь надо мной! Сергей Петрович, всякое терпение и смирение имеет свои границы! Я этого не вынесу!

И Урбенин, сверкая глазами, застучал кулаком по столу.

— Вчера я имел неосторожность дать вам свободу, — продолжал я, — позволил вам то, чего не позволяют другим арестантам: гулять по коридору. И вот, словно в благодарность, вы ночью идете к двери этого несчастного Кузьмы и душили спящего человека! Знайте, что вы погубили не одного только Кузьму: из-за вас пропадут сторожа.

— Что же я сделал такое, боже мой? — проговорил Урбенин, хватая себя за голову.

— Вы хотите знать доказательства? Извольте... ваша дверь, по моему приказанию, была отперта... дурачье-прислуга отперла дверь и забыла припрятать замок... все камеры запираются одинаковыми замками... Вы ночью взяли свой ключ и, выйдя в коридор, отперли им дверь своего соседа... Задушив его, вы дверь заперли и ключ вставили в свой замок.

— За что же я мог его задушить? За что?

— За то, что он назвал вас... Не сообщите вы мне вчера этой новости, он остался бы жив... Грешно и стыдно, Петр Егорыч!

— Сергей Петрович, молодой человек! — заговорил вдруг нежным, мягким голосом убийца, хватая меня за руку. — Вы честный и порядочный человек... Не губите и не пятняйте себя несправедливыми подозрениями и опрометчивыми обвинениями! Вы не можете только понять, как жестоко и больно вы оскорбили меня, взвалив на мою ни в чем не повинную душу новое обвинение... Я мученик, Сергей Петрович! Бойтесь обидеть мученика! Будет время, когда вам придется извиняться передо мной, и это время

²⁶ Хорош следователь! Вместо того, чтобы продолжать допрос и вынудить полезное показание, он рассердился — занятие, не входящее в круг обязанностей чиновника. Впрочем, я мало верю всему этому... Если г. Камышеву были нипочем его обязанности, то продолжать допрос должно было заставить его простое человеческое любопытство. — А. Ч.

скоро... Не обвинят же меня в самом деле! Но извинение это не удовлетворит вас... Чем набрасываться на меня и оскорблять так ужасно, вы бы лучше по-человечески, — не говорю, по-дружески: вы уже отказались от наших хороших отношений, — вы бы лучше расспросили меня... Как свидетель и ваш помощник я для правосудия принес бы больше пользы, чем в роли обвиняемого. Взять бы хоть это новое обвинение... Я мог бы многое вам сообщить: ночью-то я не спал и всё слышал...

— Что вы слышали?

— Ночью, часа в два... были потемки... слышу, кто-то тихонько ходит по коридору и всё за дверь мою трогает... ходил-ходил, а потом отворил мою дверь и вошел.

— Кто?

— Не знаю: темно было — не видал... Постоял в моей камере минутку и вышел... и именно так, как вот вы говорите, — вынул из двери моей ключ и отпер соседскую камеру. Минутки через две я услышал хрипенье, а потом возню. Думал я, что это сторож ходит и возится, а хрипенье принял за храп, а то бы я поднял шум.

— Басни! — сказал я. — Некому тут, кроме вас, Кузьму убивать. Дежурные сторожа спали. Жена одного из них, не спавшая всю ночь, показала, что все три сторожа в течение ночи спали, как убитые, и не оставляли своих постелей ни на минуту; бедняги не знали, что в этой жалкой арестантской могут водиться такие звери. Служат они здесь уже более двадцати лет, и за всё это время у них не было ни одного случая побега, не говорю уж о такой мерзости, как убийство. Теперь жизнь их, благодаря вам, перевернута вверх дном; да и мне достанется за то, что я не отправил вас в тюремный замок и дал вам здесь свободу гулять по коридорам. Благодарю вас!

Это была последняя моя беседа с Урбениным. Больше я уж с ним никогда не беседовал, если не считать тех двух-трех вопросов, которые задал он мне как свидетелю, сидя на скамье подсудимых...

Мой роман в заголовке назван «уголовным», и теперь, когда «дело об убийстве Ольги Урбениной» осложнилось еще новым убийством, мало понятным и во многих отношениях таинственным, читатель вправе ожидать вступления романа в самый интересный и бойкий фазис. Открытие преступника и мотивов преступления составляет широкое поле для проявления остроумия и мозговой гибкости. Тут злая воля и хитрость ведут войну с знанием, войну интересную во всех своих проявлениях...

Я вел войну, и читатель вправе ожидать от меня описания средств, которые дали мне победу, и он, наверное, ждет следовательских тонкостей, которыми так блещут романы Габорио и нашего Шкляревского; и я готов оправдать ожидания читателя, но... одно из главных действующих лиц оставляет поле битвы, не дождавшись конца сражения, — его не делают участником победы; всё, что было им сделано ранее, пропадает даром, — и оно идет в толпу зрителей. Это действующее лицо — ваш покорнейший слуга. На другой день после описанной беседы с Урбениным я получил приглашение, или, вернее, приказ подать в отставку. Сплетни и разговоры наших уездных кумушек сделали свое дело... Моему увольнению много способствовали также убийство в арестантском доме, показания, взятые товарищем прокурора тайком от меня у прислуги, и, если помнит читатель, удар, нанесенный мною мужику веслом по голове в один из прошлых ночных кутежей. Мужик поднял дело. Произошла сильная перетасовка. В какие-нибудь два дня я должен был сдать дело об убийстве следователю по особо важным делам.

Благодаря толкам и газетным корреспонденциям, поднялся на ноги весь прокурорский надзор. Прокурор наезжал в графскую усадьбу через день и принимал участие в допросах. Протоколы наших врачей были отправлены во врачебную управу и далее. Поговаривали даже о вырытии трупов и новом осмотре, который, кстати сказать, ни к чему бы не повел.

Урбенина раза два таскали в губернский город для освидетельствования его умственных способностей, и оба раза он был найден нормальным. Я стал фигурировать в качестве свидетеля²⁷. Новые следователи так увлеклись, что в свидетели попал даже мой Поликарп.

Год спустя после моей отставки, когда я жил в Москве, мною была получена повестка, звавшая меня на разбирательство урбенинского дела. Я обрадовался случаю повидать еще раз места, к которым меня тянула привычка, и поехал. Граф, живший в Петербурге, не поехал и послал вместо себя медицинское свидетельство.

Дело разбиралось в нашем уездном городе, в отделении окружного суда. Обвинял Полуградов, тот самый, который раза четыре на день чистил свои зубы красным порошком; защищал некий Смирняев, высокий худошавый блондин с сентиментальным лицом и длинными, гладкими волосами. Присяжные всплошную состояли из мещан и крестьян; из них только четверо были грамотные, остальные же, когда им были поданы для просмотра письма Урбенина к жене, потели и конфузились. В старшины попал лавочник Иван Демьяныч, тот самый, который дал имя моему покойному попугаю.

²⁷ Роль, конечно, более подходящая г. Камышеву, чем роль следователя: в деле Урбенина он не мог быть следователем. — А. Ч.

Войдя в зал суда, я не узнал Урбенина: он совершенно поседел и постарел телом лет на двадцать. Я ожидал прочесть на лице его равнодушие к своей судьбе и апатию, но ожидания мои были ошибочны, — Урбенин горячо отнесся к суду: он отвел трех присяжных, давал длинные объяснения и допрашивал свидетелей; вину свою отрицал он безусловно и каждого свидетеля, говорившего не за него, допрашивал очень долго.

Свидетель Пшехоцкий показал на суде, что я жил с покойной Ольгой.

— Это ложь! — крикнул Урбенин, — он лжец! Жене моей я не верю, но ему я верю!

Когда я давал показания, защитник спросил меня, в каких отношениях я находился с Ольгой, и познакомил меня с показанием Пшехоцкого, когда-то мне аплодировавшего. Сказать правду — значило бы дать показание в пользу подсудимого: чем развратнее жена, тем снисходительнее присяжные к мужу-Отелло, — я понимал это... С другой стороны, моя правда оскорбила бы Урбенина... он, услышав ее, почувствовал бы неизлечимую боль... Я счел за лучшее солгать.

— Нет! — сказал я.

Прокурор в своей речи, описывая в ярких красках убийство Ольги, обращал особенное внимание на зверство убийцы, на его злобу... «Старый, поношенный сластолюбец увидал девушку, красивую собой и молодую. Зная весь ужас ее положения в доме сумасшедшего отца, он манит ее к себе куском хлеба, жильем и цветными покоем... Она соглашается: состоятельный муж-старик все-таки выносимое сумасшедшего отца и бедности. Но она молода, а молодость, гг. присяжные, имеет свои неотъемлемые права... Девушка, воспитанная на романах и среди природы, рано или поздно должна была полюбить...» и т. д. в том же роде. Кончается тем, что «он, не давший ей ничего, кроме своей старости и цветных тряпок, видя ускользящую добычу, впадает в ярость животного, к носу которого поднесли раскаленное железо. Любил он животное и ненавидеть должен животное» и проч.

Обвиняя Урбенина в убийстве Кузьмы, Полуградов указывал на те воровские приемы, здраво обдуманые и взвешенные, которыми сопровождалось убийство «спящего человека, имевшего неосторожность показать накануне против него. А что Кузьма хотел рассказать следователю именно против него, в этом вы, я полагаю, не сомневаетесь».

Защитник Смирняев не отрицал виновности Урбенина; он просил только признать, что Урбенин действовал под влиянием аффекта, и дать ему снисхождение. Описывая, как мучительно бывает чувство ревности, он привел в свидетели шекспировского Отелло. Взглянул он на этот «всечеловеческий тип» всесторонне, приводя цитаты из разных критиков, и забрел в такие дебри, что председатель должен был остановить его замечанием, что «знание иностранной литературы для присяжных необязательно».

Воспользовавшись последним словом, Урбенин призвал бога в свидетели, что он не виноват ни делом, ни мыслью.

— Мне лично всё равно, где ни быть: в этом ли уезде, где всё напоминает мне мой незаслуженный позор и жену, или на каторге, но меня смущает судьба моих детей.

И, повернувшись к публике, Урбенин заплакал и просил приютить его детей.

— Возьмите их. Граф, конечно, не упустит случая щегольнуть своим великодушием, но я уже предупредил детей: они не возьмут от него ни одной крохи.

Заметив меня среди публики, он поглядел на меня умоляющими глазами и сказал:

— Защитите моих детей от благодеяний графа.

Он, видимо, забыл о предстоящем вердикте и весь предался мысли о детях. Говорил он о них до тех пор, пока не был остановлен председателем.

Присяжные совещались недолго. Урбенин был признан виновным безусловно и ни на один пункт не получил снисхождения.

Приговорен он был к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на 15 лет.

Так дорого обошлась ему встреча в майское утро с поэтической «девушкой в красном»...

Со времени описанных событий прошло уже более восьми лет. Одни участники драмы умерли и уже сгнили, другие несут наказание за свой грех, третьи влачат жизнь, борясь с будничной скукой и ожидая смерти со дня на день.

В восемь лет изменилось многое... Граф Карнеев, не перестававший питать ко мне самую искреннюю дружбу, уже окончательно спился. Усадьба его, давшая место драме, ушла от него в руки жены и Пшехоцкого. Он теперь беден и живет на мой счет. Иногда, под вечер, лежа у меня в номере на диване, он любит вспомнить былое.

— Хорошо бы теперь цыган послушать, — бормочет он, — пошли, Сережа, за коньяком!

Я тоже изменился. Силы мои оставляют меня постепенно, и я чувствую, как выходят из моего тела здоровье и молодость. Нет уж той физической силы, нет ловкости, нет выносливости, которой я щеголял когда-то, бодрствуя несколько ночей подряд и выпивая количество, которое я теперь едва ли подниму.

На лице одна за другой появляются морщины, волосы редеют, голос грубеет и слабеет... Жизнь

прошла...

Прошрое я помню, как вчерашний день. Как в тумане, вижу я места и образы людей. Беспристрастно относиться к ним нет у меня сил; люблю и ненавижу я их с прежней силой, и не проходит того дня, чтобы я, охваченный чувством негодования или ненависти, не хватал бы себя за голову. Граф для меня по-прежнему гадок, Ольга отвратительна, Калинин смешон своим тупым чванством. Зло считаю я злом, грех — грехом.

Но бывают нередко минуты, когда я, взглядевшись в стоящий на моем столе портрет, чувствую непреодолимое желание пройтись с «девушкой в красном» по лесу под шумок высоких сосен и прижать ее к груди, несмотря ни на что. В эти минуты прощаю я и ложь и падение в грязную пропасть, готов простить всё для того, чтобы повторилась еще раз хотя бы частица прошлого... Утомленный городской скукой, я хотел бы еще раз послушать рев великана озера и промчаться по его берегу на моей Зорьке... Я простил и забыл бы всё, чтобы еще раз пройтись по тeneвской дороге и встретить садовника Франца с его водочным бочонком и жокейским картузиком... Бывают минуты, когда я готов даже пожать руку, обогренную кровью, и потолковать с благодушным Петром Егорычем о религии, урожае, народном образовании... Я хотел бы повидаться со «щуром», с его Наденькой...

Жизнь бешеная, беспутная и беспоконная, как озеро в августовскую ночь... Много жертв скрылось навсегда под ее темными волнами... На дне лежит тяжелый осадок...

Но за что я люблю ее в иные минуты? За что я прощаю ее и мчусь к ней душой, как нежный сын, как птица, выпущенная из клетки?..

Жизнь, которую я вижу сейчас сквозь номерное окно, напоминает мне серый круг: серый цвет и никаких оттенков, никаких светлых проблесков...

Но, закрыв глаза и припоминая прошлое, я вижу радугу, какую дает солнечный спектр... Да, там бурно, но там светлее...

С. Зиновьев.

Конец

Внизу рукописи написано:

Милостивый государь, г. редактор! Предлагаемый роман (или повесть, как хотите) прошу печатать, по возможности, без сокращений, урезок и вставок. Впрочем, изменения можно делать по соглашению с автором. В случае же невыгодности прошу рукопись сохранить для возвращения. Жительство (временное) имею в Москве, на Тверской, в номерах «Англия». Иван Петрович Камышев.

P. S. Гонорар — по усмотрению редакции.

Год и число.

Теперь, познакомив читателя с романом Камышева, продолжаю прерванную с ним беседу. Прежде всего я должен предупредить, что обещание, данное мною читателю в начале повести, не сдержано: роман Камышева напечатан не без пропусков, не *in toto*, как я обещал, а по значительном сокращении. Дело в том, что «Драма на охоте» не могла быть напечатана в газете, о которой шла речь в первой главе этой повести: газета прекратила свое существование, когда рукопись поступила в набор... Настоящая же редакция, давшая приют роману Камышева, нашла невозможным печатать его без урезок. Всякий раз, во всё время печатания, она присылала мне корректуры отдельных глав с просьбой «изменить». Я же не хотел брать греха на душу, изменять чужое, и находил лучшим и полезным совсем выпускать, чем изменять неудобное место. По соглашению со мной, редакция выпустила много мест, поражающих своим цинизмом, длиннотами и небрежностью в литературной отделке. Эти выпуски и урезки требовали осторожности и времени — причина, отчего многие главы запаздывали. Выпущены нами, между прочим, два описания ночных оргий. Одна оргия происходила в доме графа, другая на озере. Выпущено описание библиотеки Поликарпа и оригинальная манера его чтения: это место найдено слишком растянутым и утрированным.

Более всего я отстаивал и редакция более всего невзлюбила главу, в которой описывается отчаянная игра в карты, свирепствовавшая среди графской прислуги. Самыми страстными игроками были садовник Франц и старуха Сычиха; играли они преимущественно в стуколку и три листика. В период следствия Камышев, проходя однажды мимо одной из беседок и заглянув в нее, увидел сумасшедшую игру: играли Сычиха, Франц и... Пшехоцкий. Играли в стуколку, втемную, со ставкой в 90 коп.; ремиз достигал до 30 руб. Камышев подсел к игрокам и «обчистил» их, как куропаток. Обыгранный Франц, желая продолжать игру, отправился на озеро, где он прятал свои деньги. Камышев проследил его путь и, подметив, где он прячет свои деньги, обокрал садовника, не оставив ему ни одной копейки. Взятые деньги он отдал рыбаку Михею. Эта странная благотворительность прекрасно характеризует взбалмошного следователя, но описана она так небрежно и беседы партнеров пещрят такими перлами сквернословия, что редакция не согласилась даже на изменения.

Выпущено несколько описаний свиданий Ольги с Камышевым; пропущено одно объяснение его с Наденькой Калининой и т. д. Но думаю, что и напечатанного достаточно для характеристики моего героя.

Sapienti sat...²⁸

Ровно через три месяца редакционный сторож Андрей доложил мне о приходе «господина с кокардой».

— Проси! — сказал я.

Вошел Камышев, такой же краснощекий, здоровый и красивый, как и три месяца назад. Шаги его были по-прежнему бесшумны... Он положил на окно свою шляпу так осторожно, что можно было подумать, что он клал какую-нибудь тяжесть... В голубых глазах его светилось по-прежнему что-то детское, бесконечно добродушное...

— Опять я вас беспокою! — начал он, улыбаясь и осторожно садясь. — Простите, ради бога! Ну что?

Какой приговор произнесен для моей рукописи?

— Виновна, но заслуживает снисхождения, — сказал я.

Камышев засмеялся и высморкался в душистый платок.

— Стало быть, ссылка в огонь камина? — спросил он.

— Нет, зачем так строго? Карательных мер она не заслуживает, мы употребим исправительные.

— Исправить нужно?

— Да, кое-что... по взаимному соглашению...

Четверть минуты мы помолчали. У меня страшно билось сердце и стучало в висках, но подавать вид, что я взволнован, не входило в мои планы.

— По взаимному соглашению, — повторил я. — В прошлый раз вы говорили мне, что фабулой своей повести вы взяли истинное происшествие.

— Да, и теперь я готов повторить это же самое. Если вы читали мой роман, то... честь имею представиться: Зиновьев.

— Стало быть, это вы были шафером у Ольги Николаевны?..

— И шафером и другом дома. Не правда ли, я симпатичен в этой рукописи? — засмеялся Камышев, поглаживая колено и краснея, — хорош? Бить бы нужно, да некому.

— Так-с... Ваша повесть мне нравится: она лучше и интереснее очень многих уголовных романов... Только нам с вами, по взаимному соглашению, придется произвести в ней кое-какие весьма существенные изменения...

— Это можно. Например, что вы находите нужным изменить?

Самый *habitus*²⁹ романа, его физиономию. В нем, как в уголовном романе, всё есть: преступление, улики, следствие, даже пятнадцатилетняя каторга на закуску, но нет самого существенного.

— Чего же именно?

— В нем нет настоящего виновника...

Камышев сделал большие глаза и приподнялся.

— Откровенно говоря, я вас не понимаю, — сказал он после некоторого молчания, — если вы не считаете настоящим виновником человека, который зарезал и задушил, то... я уж не знаю, кого следует считать. Конечно, преступник есть продукт общества, и общество виновно, но... если вдаваться в высшие соображения, то нужно бросить писать романы, а взяться за рефераты.

— Ах, какие тут высшие соображения! Не Урбенин ведь убил!

— Как же? — спросил Камышев, придвигаясь ко мне.

— Не Урбенин!

— Может быть. *Humanum est errare*³⁰ — и следователи несовершенны: судебные ошибки часты под луной. Вы находите, что мы ошиблись?

— Нет, вы не ошиблись, а пожелали ошибиться.

— Простите, я вас опять не понимаю, — усмехнулся Камышев, — если вы находите, что следствие привело к ошибке и даже, как я вас стараюсь понять, к преднамеренной ошибке, то любопытно было бы знать ваш взгляд. По вашему мнению, кто убил?

— Вы!!

Камышев поглядел на меня с удивлением, почти с ужасом, покраснел и сделал шаг назад. Затем он отвернулся, отошел к окну и засмеялся.

— Вот так клюква! — пробормотал он, дыша на окно и нервно рисуя на нем вензель.

Я глядел на его рисующую руку и, казалось, узнавал в ней ту самую железную, мускулистую руку,

²⁸ Умному достаточно... (лат .)

²⁹ общий вид (лат .)

³⁰ Человеку свойственно ошибаться (лат .)

которая одна только могла в один прием задушить спящего Кузьму, растерзать хрупкое тело Ольги. Мысль, что я вижу перед собой убийцу, наполняла мою душу непривычным чувством ужаса и страха... не за себя — нет! — а за него, за этого красивого и грациозного великана... вообще за человека...

— Вы убили! — повторил я.

— Если не шутите, то поздравляю вас с открытием, — засмеялся Камышев, всё еще не глядя на меня. — Впрочем, судя по дрожи вашего голоса и по вашей бледности, трудно допустить, что вы шутите. Экий вы нервный!

Камышев повернул ко мне свое пылающее лицо и, сиюсь улыбнуться, продолжал:

— Любопытно, откуда вам могла прийти в голову такая мысль! Не писал ли я чего-нибудь такого в своем романе, — это любопытно, ей-богу... Расскажите, пожалуйста! Раз в жизни стоит поиспытать это ощущение, когда на тебя смотрят, как на убийцу.

— Убийца вы и есть, — сказал я, — и даже скрыть этого не можете: в романе проврались, да и сейчас плохо актерствуете.

— Это совсем таки интересно — любопытно было бы послушать, честное слово.

— Коли любопытно, так слушайте.

Я вскочил и, волнуясь, заходил по комнате. Камышев заглянул за дверь и плотнее притворил ее. Эта осторожность выдала его.

— Чего же вы боитесь? — спросил я.

Камышев конфузливо закашлялся и махнул рукой.

— Ничего я не боюсь, а просто так... взял да и взглянул за дверь. А вам и это понадобилось? Ну, рассказывайте.

— Позвольте вам допрос сделать?

— Сколько угодно.

— Предупреждаю, что я не следователь и допрашивать не мастер; порядка и системы не ждите, а потому не извольте сбивать и путать. Прежде всего скажите мне, куда вы исчезли после того, как оставили опушку, на которой кутили после охоты?

— В повести сказано: я пошел домой.

— В повести описание вашего пути старательно зачеркнуто. Вы шли тем лесом?

— Да.

— И могли, стало быть, встретиться там с Ольгой?

— Да, мог, — усмехнулся Камышев.

— И вы с ней встретились.

— Нет, не встречался.

— На следствии вы забыли допросить одного очень важного свидетеля, а именно себя... Вы слышали крик жертвы?

— Нет... Ну, батенька, допрашивать вы совсем не мастер...

Это фамильярное «батенька» меня покорило: оно плохо вязалось с теми извинениями и смущением, которыми началась наша беседа. Скоро я заметил, что Камышев глядел на меня снисходительно, свысока и почти любовался моим неумением выпутаться из массы волновавших меня вопросов...

— Допустим, что в лесу вы не встретились с Ольгой, — продолжал я, — хотя, впрочем, Урбенину труднее было встретиться с Ольгой, чем вам, так как Урбенин не знал, что она в лесу, а стало быть, не искал ее, а вы, будучи пьяным и взбешенным, не могли не искать ее. Вы, наверное, искали ее — иначе зачем же вам было идти домой лесом, а не дорогой... Но допустим, что вы ее не видали... Чем объяснить ваше мрачное, почти бешеное настроение в вечер злополучного дня? Что побудило вас убить попугая, кричавшего о муже, убившем жену? Мне кажется, что он напоминал вам о вашем злодействе... Ночью вас позвали в графский дом, и вы, вместо того, чтобы тотчас же приступить к делу, медлили до приезда полиции почти целые сутки и, вероятно, сами того не замечая... Так медлят только те следователи, которым известен преступник... Вам он был известен... Далее — Ольга не назвала имени убийцы, потому что он был для нее дорог... Будь убийцей муж, она назвала бы его. Если она в состоянии была доносить на него своему любовнику-графу, то обвинить его в убийстве ей ничего бы не стоило: она его не любила, и он не был ей дорог... Любила она вас, и именно вы для нее были дороги... вас шадила она... Позвольте вас также спросить, почему это вы медлили задать ей прямой вопрос, когда она пришла в минутное сознание? К чему вы ей задавали совершенно не идущие к делу вопросы? Позвольте уж мне думать, что всё это вы делали ради проволочки времени, чтобы не дать ей назвать вас. Ольга затем умирает... В своем романе вы ни полслова не говорите о впечатлениях, которые произвела на вас ее смерть... Тут я вижу осторожность: не забываете писать о рюмках, которые выпиваете, а такое важное событие, как смерть «девушки в красном», проходит в романе бесследно... Почему?

— Продолжайте, продолжайте...

— Следствие ведете вы безобразно... Трудно допустить, что вы, умный и очень хитрый человек, делали это не нарочно. Всё ваше следствие напоминает письмо, нарочно писанное с грамматическими ошибками, — утрировка выдает вас... Почему вы не осмотрели места преступления? Не потому, что забыли об этом или считали это неважным, а потому что ждали, чтобы дождь размыл ваши следы. Вы мало пишете о допросе прислуги. Стало быть, Кузьма не был вами допрошен до тех пор, пока его не застали за мытьем поддевки... Вам, очевидно, не было надобности впутывать его в дело. Почему вы не допросили гостей, кутивших с вами на опушке? Они видели окровавленного Урбенина и слышали крик Ольги, — допросить их следовало. Но вы этого не сделали, потому что хотя бы один из них мог бы вспомнить на допросе, что вы незадолго до убийства отправились в лес и пропали. Впоследствии, вероятно, они были допрошены, но это обстоятельство было ими уже забыто...

— Ловко! — проговорил Камышев, потирая руки, — продолжайте, продолжайте!

— Неужели для вас недостаточно всего сказанного?.. Чтобы доказать окончательно, что Ольга убита именно вами, следует еще напомнить вам, что вы были ее любовником, любовником, которого променяли на презираемого вами человека!.. Муж может убить из ревности, любовник, полагаю, тоже... Засим перейдем к Кузьме... Судя по последнему допросу, бывшему накануне его смерти, он имел в виду вас; вы утерли руки об его поддевку, и вы назвали его сволочью... Если не вы, то зачем вам было прерывать допрос на самом интересном месте? Почему вы не спросили о цвете галстуха убийцы, когда Кузьма объявил вам, что он вспомнил, какого цвета этот галстух? Почему вы дали Урбенину свободу именно тогда, когда Кузьма уже вспомнил имя убийцы? Почему не раньше и не позже? Очевидно, вам нужно было взвалить на кого-нибудь вину, нужен был человек, который гулял бы ночью по коридору... Итак, Кузьму вы убили, боясь, чтоб он не назвал вас.

— Ну, довольно! — проговорил Камышев, смеясь, — будет! Вы вошли в такой азарт и так побледнели, что, того и гляди, в обморок упадете. Не продолжайте. Действительно, вы правы: я убил.

Наступило молчание. Я прошелся из угла в угол. Камышев сделал то же самое.

— Я убил, — продолжал Камышев, — вы поймали секрет за хвост, — и ваше счастье. Редкому это удастся: больше половины наших читателей ругнет старика Урбенина и удивится моему следовательскому уму-разуму.

Ко мне в кабинет вошел сотрудник и прервал нашу беседу. Заметив, что я занят и взволнован, этот сотрудник повертелся около моего стола, с любопытством поглядел на Камышева и вышел. По уходе его Камышев отошел к окну и стал дышать на стекло.

— С тех пор прошло уже восемь лет, — начал он после некоторого молчания, — и восемь лет носил я в себе тайну. Но тайна и живая кровь в организме несовместимы; нельзя безнаказанно знать то, чего не знает остальное человечество. Все восемь лет я чувствовал себя мучеником. Не совесть меня мучила, нет! Совесть — само собой... да и я не обращаю на нее внимания: она прекрасно заглушается рассуждениями на тему о ее растяжимости. Когда рассудок не работает, я заглушаю ее вином и женщинами. У женщин я имею прежний успех — это а гророс. Мучило же меня другое: всё время мне казалось странным, что люди глядят на меня, как на обыкновенного человека; ни одна живая душа ни разу за все восемь лет пытливо не взглянула на меня; мне казалось странным, что мне не нужно прятаться; во мне сидит страшная тайна, и вдруг я хожу по улицам, бываю на обедах, любезничаю с женщинами! Для человека преступного такое положение неестественно и мучительно. Я не мучился бы, если бы мне приходилось прятаться и скрывать. Психоз, батенька! В конце концов на меня напал какой-то задор... Мне вдруг захотелось излиться чем-нибудь: начхать всем на головы, выпалить во всех своей тайной... сделать что-нибудь этакое... особенное... И я написал эту повесть — акт, по которому только недалекий затруднится узнать во мне человека с тайной... Что ни страница, то ключ к разгадке... Не правда ли? Вы, небось, сразу поняли... Когда я писал, я брал в соображение уровень среднего читателя...

Нам опять помешали. Вошел Андрей и принес на подносе два стакана чая... Я поспешил выслать его...

— И теперь словно легче стало, — усмехнулся Камышев, — вы смотрите на меня теперь как на необыкновенного, как на человека с тайной, — и я чувствую себя в положении естественном... Но... однако, уже три часа, и меня ждут на извозчике...

— Постойте, положите шляпу... Вы рассказали мне о том, что довело вас да авторства, теперь скажите: как вы убили?

— Это вы желаете знать в дополнение прочитанного? Извольте... Убил я под влиянием аффекта. Теперь ведь и курят и чай пьют под влиянием аффекта. Вы вот в волнении мой стакан захватили вместо своего и курите чаще обыкновенного... Жизнь есть сплошной аффект... так мне кажется... Когда я шел в лес, я далек был от мысли об убийстве; я шел туда с одною только целью: найти Ольгу и продолжать жалить ее... Когда я бываю пьян, у меня всегда является потребность жалить... Я встретил ее в двухстах шагах от опушки... Стояла она под деревом и задумчиво глядела на небо... Я окликнул ее... Увидев меня, она улыбнулась и протянула ко мне руки...

— Не брани меня, я несчастна! — сказала она.

В этот вечер она была так хороша, что я, пьяный, забыл всё на свете и сжал ее в своих объятиях... Она стала клясться мне, что никого никогда не любила, кроме меня... и это было справедливо: она любила меня... И, в самый разгар клятв, ей вздумалось вдруг сказать отвратительную фразу: «Как я несчастна! Не выйди я за Урбенина, я могла бы выйти теперь за графа!» — Эта фраза была для меня ушатом воды... Все накипевшее в груди забурлило... Меня охватило чувство отвращения, омерзения... Я схватил маленькое, гаденькое существо за плечо и бросил его оземь, как бросают мячик. Злоба моя достигла максимума... Ну... и добил ее... Взял и добил... История с Кузьмой вам понятна...

Я взглянул на Камышева. На лице его я не прочел ни раскаяния, ни сожаления. «Взял и добил» — было сказано так же легко, как «взял и покурил». В свою очередь, и меня охватило чувство злобы и омерзения... Я отвернулся.

— А Урбенин там, на каторге? — спросил я тихо.

— Да... Говорят, что умер на дороге, но это еще неизвестно... А что?

— А что... Невинно страдает человек, а вы спрашиваете: «А что?»

— А что же мне делать? Идти да сознаваться?

— Полагаю.

— Ну, это положим!.. Я не прочь сменить Урбенина, но без борьбы я не отдамся... Пусть берут, если хотят, но сам я к ним не пойду. Отчего они не брали меня, когда я был в их руках? На похоронах Ольги я так ревел и такие истерики со мной делались, что даже слепые могли бы узреть истину... Я не виноват, что они... глупы.

— Вы мне гадки, — сказал я.

— Это естественно... И сам я себе гадок...

Наступило молчание... Я открыл счетную книгу и стал машинально читать цифры... Камышев взялся за шляпу.

— Вам, я вижу, со мной душно, — сказал он, — кстати: не хотите ли поглядеть графа Карнеева? Вон он, на извозчике сидит!

Я подошел к окну и взглянул в него... На извозчике, затылком к нам, сидела маленькая, согбенная фигурка в поношенной шляпе и с полинявшим воротником. Трудно было узнать в ней участника драмы!

— Узнал я, что здесь, в Москве, в номерах Андреева, живет сын Урбенина, — сказал Камышев. — Хочу устроить так, чтобы граф принял от него подачку... Пусть хоть один будет наказан! Но, однако, adieu³¹!

Камышев кивнул головой и быстро вышел. Я сел за стол и предался горьким думам.

Мне было душно.

Душечка

Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой.

Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи», квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо.

— Опять! — говорил он с отчаянием. — Опять будет дождь! Каждый день дожди, каждый день дожди — точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки!

Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке:

— Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работаешь, стараешься, мучишься, ночей не спишь, всё думаешь, как бы лучше, — и что же? С одной стороны, публика, невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов, по разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган! Ей подавай пошлость! С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядило с десятого мая, так потом весь май и июнь, просто ужас! Публика не ходит, но ведь я за аренду плачу? Артистам плачу?

На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом:

— Ну что ж? И пускай! Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого! Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете! Пускай артисты подают на меня в суд! Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь! Хоть на эшафот! Ха-ха-ха!

И на третий день то же...

³¹ прощайте! (франц.)

Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот; и на лице у него всегда было написано отчаяние, но всё же он возбудил в ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле, и тяжело дышал; любила свою тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе...» и тоже улыбались, а гости-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия:

— Душечка!

Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее имя, находился на окраине города, в Цыганской Слободке, недалеко от сада «Тиволи»; по вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага — равнодушную публику; сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и, когда под утро он возвращался домой, она тихо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась...

Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидел как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил:

— Душечка!

Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния.

После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалованье, и ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние улыбка мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете — это театр и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре.

— Но разве публика понимает это? — говорила она. — Ей нужен балаган! Вчера у нас шел «Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ваничкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ваничкой ставим «Орфея в аду», приходите.

И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться.

Актеры любили ее и называли «мы с Ваничкой» и «душечкой»; она жалела их и давала им понемножку займы, и если, случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась.

И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали.

— Какой ты у меня славенький! — говорила она совершенно искренно, приглаживая ему волосы. — Какой ты у меня хорошенький!

В великом посту он уехал в Москву набирать труппу, а она без него не могла спать, всё сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к Святой, и в письмах уже делал распоряжения насчет «Тиволи». Но под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг раздался зловещий стук в ворота; кто-то бил в калитку, как в бочку: бум! бум! бум! Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять.

— Отворите, сделайте милость! — говорил кто-то за воротами глухим басом. — Вам телеграмма!

Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее:

«Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно сучала ждем распоряжений хохороны вторник».

Так и было напечатано в телеграмме «хохороны» и какое-то еще непонятное слово «сучала»; подпись была режиссера опереточной труппы.

— Голубчик мой! — зарыдала Оленька. — Ваничка мой миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой

повстречалась? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную Оленьку, бедную, несчастную?..

Кукина похоронили во вторник, в Москве, на Ваганькове; Оленька вернулась домой в среду, и как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах.

— Душечка! — говорили соседки, крестясь. — Душечка Ольга Семеновна, матушка, как убивается!

Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с нею шел рядом тоже возвращавшийся из церкви один из ее соседей Василий Андреич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца.

— Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна, — говорил он степенно, с сочувствием в голосе, — и если кто из наших ближних умирает, то, значит, так богу угодно, и в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью.

Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос, и едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился. И, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что немного погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая как только села за стол, то немедля заговорила о Пустовалове, о том, что он хороший, солидный человек и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня пришел с визитом и сам Пустовалов; он сидел недолго, минут десять, и говорил мало, но Оленька его полюбила, так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба.

Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар.

— Теперь лес с каждым годом дорожает на двадцать процентов, — говорила она покупателям и знакомым. — Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васичка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф! — говорила она, в ужасе закрывая обе щеки руками. — Какой тариф!

Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное это лес, и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах: балка, кругляк, тес, шелёвка, безымянка, решетник, лафет, горбыль... По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные, бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город; спилось ей, как целый полк двенадцатиаршинных, пятивершковых бревен стоймя шел войной на лесной склад, как бревна, балки и горбыли стучались, издавая гулкий звук сухого дерева, всё падало и опять вставало, громоздясь друг на друга; Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно:

— Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись!

Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений и в праздники сидел дома, и она тоже.

— И всё вы дома или в конторе, — говорили знакомые. — Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк.

— Нам с Васичкой некогда по театрам ходить, — отвечала она степенно. — Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?

По субботам Пустовалов и она ходили ко всенощной, в праздники к ранней обедне и, возвращаясь из церкви, шли рядышком, с умиленными лицами, от обоих хорошо пахло, и ее шелковое платье приятно шумело; а дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями, потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни — рыбой, и мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел самовар, и покупателей угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком, оба красные.

— Ничего, живем хорошо, — говорила Оленька знакомым, — слава богу. Дай бог всякому жить, как мы с Васичкой.

Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с нею в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни; он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по сорока рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его.

— Ну, спаси вас господи, — говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы. —

Спасибо, что поскучали со мной, дай бог вам здоровья, царица небесная...

И всё она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу; ветеринар уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила:

— Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ее хоть ради сына!.. Мальчишечка-то небось всё понимает.

А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь, и оба вздыхали и покачивали головами и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отце, потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы бог послал им детей.

И так прожили Пустоваловы тихо и смиренно, в любви и полном согласии шесть лет. Но вот как-то зимой Василий Андреич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпустить лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, проболев четыре месяца. И Оленька опять овдовела.

— На кого же ты меня покинул, голубчик мой? — рыдала она, похоронив мужа. — Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую...

Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток, выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа, и жила дома, как монашенка. И только когда прошло шесть месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой, но о том, как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. По тому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей вслух газету, и еще по тому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала:

— У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора и от этого много болезней. То и дело слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных в сущности надо заботиться так же, как о здоровье людей.

Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и одного года и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно, и всё было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть, но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай или подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях, а он страшно конфузился и, когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито:

— Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь! Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, по вмешивайся. Это, наконец, скучно!

А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала:

— Володичка, о чем же мне говорить?!

И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы.

Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна.

Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки. Она похудела и подурнела, и на улице встречные уже не глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей; очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам Оленька сидела на крыльчке, и ей слышно было, как в «Тиволи» играла музыка и лопались ракеты, но это уже не вызывало никаких мыслей. Глядела она безучастно на свой пустой двор, ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор. Ела и пила она, точно поневоле.

А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала всё, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнения и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно не иметь никакого мнения! Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы. При Кукине и Пустовалове и потом при ветеринаре Оленька могла объяснить всё и сказала бы свое мнение о чем угодно, теперь же и среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе. И так жутко, и так горько, как будто объелась полыни.

Город мало-помалу расширялся во все стороны; Цыганскую Слободку уже называли улицей, и там, где были сад «Тиволи» и лесные склады, выросли уже дома и образовался ряд переулков. Как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился, и весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела; летом она сидит на крыльчке, и на душе у нее по-прежнему и

пусто, и нудно, и отдаёт полынью, а зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы, но это только на минуту, а там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка Брыска ласкается и мягко мурлычет, но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь, которая захватила бы всё ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную Брыску и говорит ей с досадой:

— Поди, поди... Нечего тут!

И так день за днем, год за годом, — и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо.

В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять и, как взглянула, так и обомлела: за воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось всё, она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова, и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить.

— Голубчик мой! — бормотала она, дрожа от радости. — Владимир Платоныч! Откуда бог принес?

— Хочу здесь совсем поселиться, — рассказывал он. — Подал в отставку и вот приехал попробовать счастья на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уж отдавать в гимназию. Вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой.

— А где же она? — спросила Оленька.

— Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу.

— Господи, батюшка, да возьмите у меня дом! Чем не квартира? Ах, господи, да я с вас ничего и не возьму, — заволновалась Оленька и опять заплакала. — Живите тут, а с меня и флигеля довольно. Радость-то, господи!

На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченясь, ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением, и с нею мальчик, Саша, маленький не по летам (ему шел уже десятый год), полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый, радостный смех.

— Тетенька, это ваша кошка? — спросил он у Оленьки. — Когда она у вас оценится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей.

Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось, точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умиленной и с жалостью и шептала:

— Голубчик мой, красавчик... Деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький.

— Островом называется, — прочел он, — часть суши, со всех сторон окруженная водой.

— Островом называется часть суши... — повторила она, и это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях.

И она уже имела свои мнения и за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога: хочешь — иди в доктора, хочешь — в инженеры.

Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась; отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и, случалось, не жила дома дня по три, и Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду; и она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате.

И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату; он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его.

— Сашенька, — говорит она печально, — вставай, голубчик! В гимназию пора.

Он встает, одевается, молится богу, потом садится чай пить; выпивает три стакана чаю и съедает два больших бублика и пол французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе.

— А ты, Сашенька, не твердо выучил басню, — говорит Оленька и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю дорогу. — Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись... Слушайся учителей.

— Ах, оставьте, пожалуйста! — говорит Саша.

Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька.

— Сашенька-а! — окликает она.

Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот переулок, где

стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина; он оглядывается и говорит:

— Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам дойду.

Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней всё более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает — почему?

Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная; ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет; встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей:

— Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка?

— Трудно теперь стало в гимназии учиться, — рассказывает она на базаре. — Шутка ли, вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу... Ну, где тут маленькому?

И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках, — то же самое, что говорит о них Саша.

В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву, потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится и у него родятся дети... Она засыпает и всё думает о том же, и слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет:

— Мур... мур... мур...

Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха; сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук.

«Это телеграмма из Харькова, — думает она, начиная дрожать всем телом. — Мать требует Сашу к себе в Харьков... О господи!»

Она в отчаянии; у нее холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса: это ветеринар вернулся домой из клуба.

«Ну, слава богу», — думает она.

От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко; она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду:

— Я тебе! Пошел вон! Не дерись!

Женское счастье

Хоронили генерал-лейтенанта Запупырина. К дому покойника, где гудела похоронная музыка и раздавались командные слова, со всех сторон бежали толпы, желавшие поглядеть на вынос. В одной из групп, спешивших к выносу, находились чиновники Пробкин и Свистков. Оба были со своими женами.

— Нельзя-с! — остановил их помощник частного пристава с добрым, симпатичным лицом, когда они подошли к цепи. — Не-ельзя-с! Пра-ашу немножко назад! Господа, ведь это не от нас зависит! Прошу назад! Впрочем, так и быть, дамы могут пройти... пожалуйста, mesdames, но... вы, господа, ради бога...

Жены Пробкина и Свисткова зарделись от неожиданной любезности помощника пристава и юркнули сквозь цепь, а мужья их остались по сю сторону живой стены и занялись созерцанием спин пеших и конных блюстителей.

— Пролезли! — сказал Пробкин, с завистью и почти ненавистью глядя на удалявшихся дам. — Счастье, ей-богу, этим шиньонам! Мужскому полу никогда таких привилегий не будет, как ихнему, дамскому. Ну, что вот в них особенного? Женщины, можно сказать, самые обыкновенные, с предрассудками, а их пропустили; а нас с тобой, будь мы хоть статские советники, ни за что не пустят.

— Странно вы рассуждаете, господа! — сказал помощник пристава, укоризненно глядя на Пробкина. — Впусти вас, так вы сейчас толкаться и безобразить начнете; дама же, по своей деликатности, никогда себе не позволит ничего подобного!

— Оставьте, пожалуйста! — рассердился Пробкин. — Дама в толпе всегда первая толкается. Мужчина стоит и глядит в одну точку, а дама растопыривает руки и толкается, чтоб ее нарядов не помяли. Говорить уж нечего! Женскому полу всегда во всем фортуна. Женщин и в солдаты не берут, и на танцевальные вечера им бесплатно, и от телесного наказания освобождают... А за какие, спрашивается, заслуги? Девица платок уронила — ты поднимай, она входит — ты вставай и давай ей свой стул, уходит — ты провожай... А возьмите чины! Чтоб достигнуть, положим, статского советника, мне или тебе нужно всю жизнь протрубить, а девица в какие-нибудь полчаса обвенчалась со статским советником — вот уж она и персона. Чтоб мне князем или графом сделаться, нужно весь свет покорить, Шипку взять, в министрах побывать, а

какая-нибудь, прости господи, Варенька или Катенька, молоко на губах не обсохло, покрутит перед графом шлейфом, пощурит глазки — вот и ваше сиятельство... Ты сейчас губернский секретарь... Чин этот себе ты, можно сказать, кровью и потом добыл; а твоя Марья Фоминишна? За что она губернская секретарша? Из поповен и прямо в чиновницы. Хороша чиновница! Дай ты ей наше дело, так она тебе и впишет входящую в исходящие.

— Зато она в болезнях чад родит, — заметил Свистков.

— Велика важность! Постояла бы она перед начальством, когда оно холоду напускает, так ей бы эти самые чада удовольствием показались. Во всем и во всем им привилегия! Какая-нибудь девица или дама из нашего круга может генералу такое выпалить, чего ты и при экзекуторе не посмеешь сказать. Да... Твоя Марья Фоминишна может смело со статским советником под ручку пройти, а возьми-ка ты статского советника под руку! Возьми-ка попробуй! В нашем доме, как раз под нами, брат, живет какой-то профессор с женой... Генерал, понимаешь, Анну первой степени имеет, а то и дело слышишь, как его жена чешет: «Дурак! дурак! дурак!» А ведь баба простая, из мещанок. Впрочем, тут законная, так тому и быть... испокон века так положено, чтоб законные ругались, но ты возьми незаконных! Что эти себе дозволяют! Во веки веков не забыть мне одного случая. Чуть было не погиб, да так уж, зная, за молитвы родителей уцелел. В прошлом году, помнишь, наш генерал, когда уезжал в отпуск к себе в деревню, меня взял с собой, корреспонденцию вести... Дело пустяковое, на час работы. Отработал свое и ступай по лесу ходить или в лакейскую романсы слушать. Наш генерал — человек холостой. Дом — полная чаша, прислуги, как собак, а жены нет, управлять некому. Народ всё распущенный, непослушный... и над всеми командует баба, экономка Вера Никитишна. Она и чай наливает, и обед заказывает, и на лакеев кричит... Баба, братец ты мой, скверная, ядовитая, сатаной глядит. Толстая, красная, визгливая... Как начнет на кого кричать, как поднимет визг, так хоть святых выноси. Не так руготня донимала, как этот самый визг. О господи! Никому от нее житья не было. Не только прислугу, но и меня, бестия, задирали... Ну, думаю, погоди; улучу минутку и всё про тебя генералу расскажу. Он погружен, думаю, в службу и не видит, как ты его обкрадываешь и народ жуешь, постой же, открою я ему глаза. И открыл, брат, глаза, да так открыл, что чуть было у самого глаза не закрылись навеки, что даже теперь, как вспомню, страшно делается. Иду я однажды по коридору, и вдруг слышу визг. Сначала думал, что свинью режут, потом же прислушался и слышу, что это Вера Никитишна с кем-то бранится: «Тварь! Дрянь ты этакая! Чёрт!» — Кого это? — думаю. И вдруг, братец ты мой, вижу, отворяется дверь и из нее вылетает наш генерал, весь красный, глаза выпученные, волосы, словно чёрт на них подул. А она ему вслед: «Дрянь! Чёрт!»

— Врешь!

— Честное мое слово. Меня, знаешь, в жар бросило. Наш убежал к себе, а я стою в коридоре и, как дурак, ничего не понимаю. Простая, необразованная баба, кухарка, смерд — и вдруг позволяет себе такие слова и поступки! Это значит, думаю, генерал хотел ее расчитать, а она воспользовалась тем, что нет свидетелей, и отчеканила его на все корки. Всё одно, мол, уходить! Взорвало меня... Пошел я к ней в комнату и говорю: «Как ты смела, негодница, говорить такие слова высокопоставленному лицу? Ты думаешь, что как он слабый старик, так за него некому вступить?» — Взял, знаешь, да и смазал ее по жирным щекам разика два. Как подняла, братец ты мой, визг, как заорала, так будь ты трижды неладна, унеси ты мое горе! Заткнул я уши и пошел в лес. Этак часика через два бежит навстречу мальчишка. «Пожалуйте к барину». Иду. Вхожу. Сидит, насупившись, как индюк, и не глядит.

— «Вы что же, говорит, это у меня в доме выстраиваете?» — «То есть как? — говорю. Ежели, говорю, это вы насчет Никитишны, ваше — ство, то я за вас же вступился». — «Не ваше дело, говорит, вмешиваться в чужие семейные дела!» — Понимаешь? Семейные! И как начал, брат, он меня отчитывать, как начал печь — чуть я не помер! Говорил-говорил, ворчал-ворчал, да вдруг, брат, как захохочет ни с того ни с сего. — «И как, говорит, это вы смогли?! Как это у вас хватило храбрости? Удивительно! Но надеюсь, друг мой, что всё это останется между нами... Ваша горячность мне понятна, но согласитесь, что дальнейшее пребывание ваше в моем доме невозможно...» — Вот, брат! Ему даже удивительно, как это я смог такую важную паву побить. Слепила баба! Тайный советник, Белого Орла имеет, начальства над собой не знает, а бабе поддался... Ба-альшие, брат, привилегии у женского пола! Но... снимай шапку! Несут генерала... Орденов-то сколько, батюшки светы! Ну, что, ей-богу, пустили дам вперед, разве они понимают что-нибудь в орденах?

Заиграла музыка.

Злоумышленник

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонко в пестрядинной рубаше и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.

— Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

— Чаво?

— Так ли всё это было, как объясняет Акинфов?

— Знамо, было.

— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

— Чаво?

— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок.

— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...

— Кто это — мы?

— Мы, народ... Климовские мужики, то есть.

— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

— Отродясь не врал, а тут вру... — бормочет Денис, мигая глазами. — Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру... — усмехается Денис. — Чёрт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко... В нашей реке не живет шилишпер... Эта рыба простор любит.

— Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

— Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан...

— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

— А то что же? Не в бабки ж играть!

— Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь...

— Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтись... И тяжелая, и дыра есть.

— Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

— Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещенные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было... Спаси и помилуй, царица небесная... Что вы-с!

— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.

— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогда, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!

— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

— Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...

Денис зевает и крестит рот.

— В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, — говорит следователь. Теперь понятно, почему...

— Чего изволите?

— Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов... Я понимаю!

— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... Господь знал, кому понятие давал... Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит... Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано — мужик, мужицкий и ум... Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.

— Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку... Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

— Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?

— Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

— Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.

— С каким Митрофаном?

— С Митрофаном Петровым... Нешто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много

этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять...

— Послушай... 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастие... понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание... он приговаривается к ссылке в каторжные работы.

— Конечно, вы лучше знаете... Мы люди темные... нешто мы понимаем?

— Всё ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

— Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите... Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

— Ты еще про шилишпера расскажи! — улыбается следователь.

— Шилишпер у нас не водится... Пуцаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

— Ну, молчи...

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.

— Мне идтить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.

— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

— То есть, как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить...

— Молчи, не мешай.

— В тюрьму... Было б за что, пошел бы, а то так... здорово живешь... За что? И не крал, кажись, и не дрался... А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте... Вы господина неперменного члена спросите... Креста на нем нет, на старосте-то...

— Молчи!

— Я и так молчу... — бормочет Денис. — А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой... Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев...

— Ты мне мешаешь... Эй, Семен! — кричит следователь. — Увести его!

— Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брата не ответчик... Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай... Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести...

Ионыч

I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худошавая, миловидная дама в *pinse-nez*, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник — это было Вознесение, — после приема больных Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел

пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было) и все время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия...

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

— Здравствуйте пожалуйста, — сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. — Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, — продолжал он, представляя доктора жене, — я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

— Садитесь здесь, — говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. — Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

— Ах ты, цыпка, баловница... — нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. — Вы очень кстати пожаловали, — обратился он опять к гостю, — моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

— Жанчик, — сказала Вера Иосифовна мужу, — dites que l'on nous donne du the³².

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера, мало-помалу, сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

— Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника, — читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли всё такие хорошие, покойные мысли, — не хотелось вставать.

— Недурственно... — тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

— Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

— Вы печатаете свои произведения в журналах? — спросил у Веры Иосифовны Старцев.

— Нет, — отвечала она, — я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? — пояснила она. — Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

— А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, — сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки, — было так приятно, так ново...

— Ну, Котик, сегодня ты играла как никогда, — сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его

³² Скажи, чтобы нам дали чаю (франц.)

дочь кончила и встала. — Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слышали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

— Прекрасно! превосходно!

— Прекрасно! — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. — Вы где учились музыке? — спросил он у Екатерины Ивановны. — В консерватории?

— Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

— Вы кончили курс в здешней гимназии?

— О нет! — ответила за нее Вера Иосифовна. — Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

— А все-таки в консерваторию я поеду, — сказала Екатерина Ивановна.

— Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

— Нет, поеду! Поеду! — сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженный, с полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

— Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно», — подумал Старцев, выходя на улицу. Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый и томный...

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно...» — вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II

Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перебивали все городские врачи; дошла наконец очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепотом, сильно волнуясь:

— Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдёмте в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевающая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

— Вы по три, по четыре часа играете на рояле, — говорил он, идя за ней, — потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, а на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

— Я не видел вас целую неделю, — продолжал Старцев, — а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

— Что вам угодно? — спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

— Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса.

Говорите.

Она восхищала его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все С-ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

— Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? — спросил он теперь. — Говорите, прошу вас.

— Я читала Писемского.

— Что именно?

— «Тысяча душ», — ответила Котик. — А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

— Куда же вы? — ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. — Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом и там опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера, — прочел Старцев, — будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно, — подумал он, придя в себя. — При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности, — думал он. — Котик тоже странная, и — кто знает? — быть может, она не шутит, придет», — и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же...» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь, ласке. Как, в сущности, нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось кричать, что он хочет, что он ждет

любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота, — уже было темно, как в осеннюю ночь, — потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

— Я устал, едва держусь на ногах, — сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал: «Ох, не надо бы полнеть!»

III

На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запираательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало», — думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач...»

«Ну, что ж? — думал он. — И пусть».

«К тому же если ты женишься на ней, — продолжал кусочек, — то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну что ж? — думал он. — В городе так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку...»

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он — оставаться тут ему было уже незачем — поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

— Делать нечего, — сказал Иван Петрович, — поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

— Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, — говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску, — он идет, пока врет... Трогай! Прощайте пожалуйста! Поехали.

— А я вчера был на кладбище, — начал Старцев. — Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны...

— Вы были на кладбище?

— Да, я был там и ждал вас почти до двух часов.

Я страдал...

— И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

— Довольно, — сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городской около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

— Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

— О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична... Прошу, умоляю вас, — выговорил наконец Старцев, — будьте моей женой!

— Дмитрий Ионыч, — сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. —

Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но... — она встала и продолжала стоя, — но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой — о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех... — у нее слезы навернулись на глазах, — я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймете...

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.

У Старцева перестало беспокоиться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено, — он не ожидал отказа, — и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

— Сколько хлопот, однако!

IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходилась близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откусать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, — это по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, — было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. Я.».

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

— А, здравствуйте пожалуйста! — встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. — Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

— Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде и в манерах было что-то новое — несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

— Сколько лет, сколько зим! — сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: — Как вы пополнили! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее, — он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, — и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен, — думал он, — не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

— Недурственно, — сказал Иван Петрович.

Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился», — подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

— Давайте же поговорим, — сказала она, подходя к нему. — Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас, — продолжала она нервно, — я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала, — бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдемте в сад.

Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

— Как же вы поживаете? — спросила Екатерина Ивановна.

— Ничего, живем понемножку, — ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

— Я волнуюсь, — сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо, — но вы не обращайтесь внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

— А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? — сказал он. — Тогда шел дождь, было темно...

Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь...

— Эх! — сказал он со вздохом. — Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

— Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! — повторила Екатерина Ивановна с увлечением. — Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким

идеальным, возвышенным...

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

— Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, — продолжала она. — Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять: «А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

— Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, — говорил Иван Петрович, провожая его. — Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! — сказал он, обращаясь в передней к Паве.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, подняв вверх руку и сказал трагическим голосом:

— Умри, несчастная!

Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу — и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.

«Вы не едете к нам. Почему? — писала она. — Я боюсь, что вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что все хорошо.

Мне необходимо поговорить с Вами. Ваша Е. Г.».

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:

— Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и... не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

V

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным: «Пррррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на не одетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но все же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»

Вероятно, оттого что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом:

— Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старший и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже все — и старшины клуба, и повар, и лакей — знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

— Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

— Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и все, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

— Прощайте пожалуйста!

И машет платком.

1898

Каштанка

Глава первая. Дурное поведение

Молодая рыжая собака — помесь такса с дворняжкой — очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар.

День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул:

— Каштанка, пойдем!

Услыхав свое имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конно-железки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:

— Чтоб... ты... из...дох...ла, холера!

Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал; от сестры пошел он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и т. д. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал:

— Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а как помрем — в гиене огненной гореть будем...

Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей:

— Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты всё равно, что плотник супротив столяра...

Когда он разговаривал с ней таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завывала. К великому её удивлению, столяр, вместо того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фронт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка еще громче завывала и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился... Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковою вонью, так что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари и в окнах домов показались огни. Шел крупный, пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед

проходили незнакомые заказчики. (Всё человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания.

Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило ее, уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу — вот и все. Если бы она была человеком, то наверное подумала бы:

«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»

Молодая рыжая собака — помесь такса с дворняжкой — очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар.

День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул:

— Каштанка, пойдем!

Услышав свое имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конно-железки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:

— Чтоб... ты... из...дох...ла, холера!

Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал; от сестры пошел он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и т. д. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал:

— Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а как померем — в гиене огненной гореть будем...

Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей:

— Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты всё равно, что плотник супротив столяра...

Когда он разговаривал с ней таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завывала. К великому её удивлению, столяр, вместо того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фронт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка еще громче завывала и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился... Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковою вонью, так что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари и в окнах домов показались огни. Шел крупный, пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоня ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. (Всё человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания.

Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило ее, уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу — вот и все. Если бы она была человеком, то наверное подумала бы:

«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»

Глава вторая. Таинственный незнакомец

Но она ни о чем не думала и только плакала. Когда мягкий, пушистый снег совсем облепил ее спину и голову и она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг подъездная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Из отворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил:

— Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О, бедная, бедная... Ну, не сердись, не сердись... Виноват.

Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и в шубе нараспашку.

— Что же ты скулишь? — продолжал он, сбивая пальцем с ее спины снег. — Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный песик! Что же мы теперь будем делать?

Уловив в голосе незнакомца теплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее.

— А ты хорошая, смешная! — сказал незнакомец. — Совсем лисица! Ну, что ж, делать нечего, пойдем со мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь... Ну, фюйть!

Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой, который мог означать только одно: «Пойдем!» Каштанка пошла.

Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой, светлой комнате и, склонив голову набок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки... Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, полпирожка, куриных костей, а она с голодухи всё это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод.

— Однако, плохо же кормят тебя твои хозяева! — говорил незнакомец, глядя, с какою свирепою жадностью она глотала неразжеванные куски. — И какая ты тощая! Кожа да кости...

Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всем теле приятную истому, завалила хвостом. Пока ее новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше — у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижигом, лохань... У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество — он дает много есть и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул: «По-ошла вон, треклятая!»

Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик.

— Эй ты, пес, поди сюда! — сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. — Ложись здесь. Спи!

Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза; с улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком... Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею... Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табак... Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка.

Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью... Она стала засыпать. В ее воображении забегали собаки; пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице, с бельмом на глазу и с клочьями шерсти около носа. Федюшка, с долотом в руке, погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около Каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу...

Глава третья. Новое, очень приятное знакомство

Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В

комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, угрюмая, прошла по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была еще одна дверь. Подумав, Каштанка поцарапала ее обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца.

— Prrr... — заворчала она, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать.

Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадьё. Из спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на нее шел серый гусь. Несколько в стороне от него, на матрасике, лежал белый кот; увидев Каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту... Кот еще сильнее выгнул спину, зашипел и ударил Каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким, визгливым лаем; в это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся...

— Это что такое? — послышался громкий, сердитый голос, и в комнату вошел незнакомец в халате и с сигарой в зубах. — Что это значит? На место!

Он подошел к коту, щелкнул его по выгнутой спине и сказал:

— Федор Тимофеич, это что значит? Драку подняли? Ах ты, старая каналья! Ложись!

И, обратившись к гусю, он крикнул:

— Иван Иванович, на место!

Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чем-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно.

— Ладно, ладно! — сказал хозяин, зевая. — Надо жить мирно и дружно. — Он погладил Каштанку и продолжал: — А ты, рыжик, не бойся... Это хорошая публика, не обидит. Пстой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат.

Незнакомец подумал и сказал:

— Вот что... Ты будешь — Тетка... Понимаешь? Тетка!

И, повторив несколько раз слово «Тетка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своею речью... Послушав его и ответив ему «rrrr...», Каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояло маленькое корытце, в котором она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох — невкусно, попробовала корки — и стала есть. Гусь несколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а, напротив, заговорил еще горячее и, чтобы показать свое доверие, сам подошел к корытцу и съел несколько горошинок.

Глава четвертая. Чудеса в решетке

Немного погодя опять вошел незнакомец и принес с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П. На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного П висел колокол и был привязан пистолет; от языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомец поставил П посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал:

— Иван Иванович, пожалуйста!

Гусь подошел к нему и остановился в ожидательной позе.

— Ну-с, — сказал незнакомец, — начнем с самого начала. Прежде всего поклонись и сделай реверанс! Живо!

Иван Иванович вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой.

— Так, молодец... Теперь умри!

Гусь лег на спину и задрал вверх лапы. Прodelав еще несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своем лице ужас и закричал:

— Караул! Пожар! Горим!

Иван Иванович подбежал к П, взял в клюв веревку и зазвонил в колокол.

Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал:

— Молодец, Иван Иванович! Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и брильянтами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров. Как бы ты поступил в данном случае?

Гусь взял в клюв другую веревочку и потянул, отчего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг П и залаяла.

— Тетка, на место! — крикнул ей незнакомец. — Молчать!

Работа Ивана Ивановича не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом, причем гусь должен был прыгать через барьер и сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Ивановича, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер со лба пот и крикнул:

— Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!

Через минуту послышалось хрюканье... Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила черную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчанье Каштанки, свинья подняла вверх свой пяточок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и Ивана Ивановича. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пяточком и потом о чем-то заговорила с гусем, в ее движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов — бесполезно.

Хозяин убрал П и крикнул:

— Федор Тимофеич, пожалуйста!

Кот поднялся, лениво потянулся и нехотя, точно делая одолжение, подошел к свинье.

— Ну-с, начнем с египетской пирамиды, — начал хозяин.

Он долге объяснял что-то, потом скомандовал: «Раз... два... три!» Иван Иванович при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи... Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине, Федор Тимофеич вяло и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит ни в грош свое искусство, полез на спину свиньи, потом нехотя взобрался на гуся и стал на задние лапы. Получилось то, что незнакомец называл египетской пирамидой. Каштанка взвизгнула от восторга, но в это время старик кот зевнул и, потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иванович пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал опять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирамидой, неутомимый хозяин принялся учить Ивана Ивановича ездить верхом на коте, потом стал учить кота курить и т. п.

Ученье кончилось тем, что незнакомец вытер со лба пот и вышел. Федор Тимофеич брезгливо фыркнул, лег на матрасик и закрыл глаза, Иван Иванович направился к корытцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впечатлений день прошел для Каштанки незаметно, а вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Федора Тимофеича и гуся.

Глава пятая. Талант! Талант!

Прошел месяц.

Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали Теткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу.

Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иванович и тотчас же подходил к Тетке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чем-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умен, но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение; когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уж не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливый болтуна, который не дает никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему: «рррр»...

Федор же Тимофеич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому что, как видно было, он недолго любил жизни. Ничто его не интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, всё презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал.

Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире; гусь же не имел права переступать порог комнатки с грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила где-то на дворе в сарайчике и появлялась только во время ученья. Хозяин просыпался поздно и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку

вносились П, бич, обручи, и каждый день проделывалось почти одно и то же. Ученье продолжалось часа три-четыре, так что иной раз Федор Тимофеич от утомления пошатывался, как пьяный, Иван Иванович раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот.

Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собою гуся и кота. Оставшись одна, Тетка ложилась на матрасик и начинала грустить... Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комнатам и даже глядеть, затем в воображении ее появлялись какие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными; при появлении их Тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила... А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигурок пахнет клеем, стружками и лаком.

Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей, костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхоленного пса, однажды перед ученьем хозяин погладил ее и сказал:

— Пора нам, Тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать... Ты хочешь быть артисткой?

И он стал учить ее разным наукам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над ее головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц уже могла с успехом заменять Федора Тимофеича в «египетской пирамиде». Училась она очень охотно и была довольна своими успехами; беганье с высунутым языком на корде, прыганье в обруч и езда верхом на старом Федоре Тимофеиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки.

— Талант! Талант! — говорил он. — Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!

И Тетка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой.

Глава шестая. Беспкойная ночь

Тетке приснился собачий сон, будто за нею гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха.

В комнатке было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемок, но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин, потом, немного погодя, в своем сарайчике хрюкнула свинья, и опять всё смолкло. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче, и Тетка стала думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофеича куриную лапку и спрятала ее в гостиной между шкапом и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть: цела эта лапка или нет? Очень может быть, что хозяин нашел ее и скушал. Но раньше утра нельзя выходить из комнатки — такое правило. Тетка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснешь, тем скорее наступит утро. Но вдруг недалеко от нее раздался странный крик, который заставил ее вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иванович, и крик его был не болтливый и убедительный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потемках и не поняв, Тетка почувствовала еще больший страх и проворчала:

— Prrrrr...

Прошло немного времени, сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость; крик не повторялся. Тетка мало-помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две большие черные собаки с ключьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках; они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шел белый пар и очень вкусный запах; изредка они оглядывались на Тетку, скалили зубы и ворчали: «А тебе мы не дадим!» Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом; тогда Тетка подошла к лохани и стала кушать, но, как только мужик ушел за ворота, обе черные собаки с ревом бросились на нее, и вдруг опять раздался пронзительный крик.

— К-ге! К-ге-ге! — крикнул Иван Иванович.

Тетка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иванович, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья.

Но вот послышалось шарканье туфель, и в комнатку вошел хозяин в халате и со свечой. Мелькающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку и прогнал потемки. Тетка увидела, что в комнатке нет никого постороннего. Иван Иванович сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены и клюв раскрыт, и вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Федор Тимофеич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком.

— Иван Иванович, что с тобой? — спросил хозяин у гуся. — Что ты кричишь! Ты болен?

Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею, погладил по спине и сказал:

— Ты чудак. И сам не спишь, и другим не даешь.

Когда хозяин вышел и унес с собою свет, опять наступили потемки. Тетке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять стало чудиться, что в потемках стоит кто-то чужой. Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Федор Тимофеич тоже был непокоен. Тетка слышала, как он возился на своем матрасике, зевал и встряхивал головой.

Где-то на улице застучали в ворота, и в сарайчике хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула передние лапы и положила на них голову. В стуке ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи, в потемках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Ивановича. Всё было в тревоге и в беспокойстве, но отчего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около Тетки на мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это в первый раз за всё время знакомства подошел к ней Федор Тимофеич. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачем он пришел, завывала тихо и на разные голоса.

— К-ге! — крикнул Иван Иванович. — К-ге-ге!

Опять отворилась дверь, и вошел хозяин со свечой. Гусь сидел в прежней позе, с разинутым клювом и растопырив крылья. Глаза у него были закрыты.

— Иван Иванович! — позвал хозяин.

Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал:

— Иван Иванович! Что же это такое? Умираешь ты, что ли? Ах, я теперь вспомнил, вспомнил! — вскрикнул он и схватил себя за голову. — Я знаю, отчего это! Это оттого, что сегодня на тебя наступила лошадь! Боже мой, боже мой!

Тетка не понимала, что говорит хозяин, но по его лицу видела, что и он ждет чего-то ужасного. Она протянула морду к темному окну, в которое, как казалось ей, глядел кто-то чужой, и завывала.

— Он умирает, Тетка! — сказал хозяин и всплеснул руками. — Да, да, умирает! К вам в комнату пришла смерть. Что нам делать?

Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тетке жутко было оставаться в потемках, и она пошла за ним. Он сел на кровать и несколько раз повторил:

— Боже мой, что же делать?

Тетка ходила около его ноги, не понимая, отчего это у нее такая тоска и отчего все так беспокоятся, и стараясь понять, следила за каждым его движением. Федор Тимофеич, редко покидавший свой матрасик, тоже вошел в спальню хозяина и стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как будто хотел вытряхнуть из нее тяжелые мысли, и подозрительно заглядывал под кровать.

Хозяин взял блюдечко, налил в него из рукомойника воды и опять пошел к гусю.

— Пей, Иван Иванович! — сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко. — Пей, голубчик.

Но Иван Иванович не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но гусь не пил, еще шире растопырил крылья, и голова его так и осталась лежать в блюдечке.

— Нет, ничего уже нельзя сделать! — вздохнул хозяин. — Всё кончено. Пропал Иван Иванович!

И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чем дело, Тетка и Федор Тимофеич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся.

— Бедный Иван Иванович! — говорил хозяин, печально вздыхая. — А я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет! Как же я теперь буду обходиться без тебя?

Тетке казалось, что и с нею случится то же самое, то есть что и она тоже вот так, неизвестно отчего, закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на нее будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Федора Тимофеича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь.

Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так Тетку. Когда совсем рассвело, пришел дворник, взял гуся за лапы и унес его куда-то. А немного погодя явилась старуха и вынесла корытце.

Тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкаф: хозяин не скушал куриной лапки, она лежала на своем месте, в пыли и паутине. Но Тетке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким голоском:

— Ску-ску-ску...

Глава седьмая. Неудачный дебют

В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнатку с грязными обоями и, потирая руки, сказал:

— Ну-с...

Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. Тетка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит. Немного погодя он вернулся и сказал:

— Сегодня я возьму с собой Тетку и Федора Тимофеича. В египетской пирамиде ты, Тетка, заменишь сегодня покойного Ивана Ивановича. Чёрт знает что! Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало! Осрамимся, провалимся!

Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу, причем Федор Тимофеич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно всё равно: лежать ли, или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике, или покоиться на груди хозяина под шубой...

— Тетка, пойдем, — сказал хозяин.

Ничего не понимая и виляя хвостом, Тетка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал:

— Осрамимся! Провалимся!

Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись и, как рты, глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много, часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно.

Хозяин взял на руки Тетку и сунул ее на грудь, под шубу, где находился Федор Тимофеич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки — это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными, жесткими лапами соседки. Тетка лизнула его ухо и, желая усесться возможно удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ; из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи: лошадиные, рогатые, длинноухие, и какая-то одна толстая, громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта.

Кот сипло замыкал под лапами Тетки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «гоп!», и Федор Тимофеич с Теткою прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами; тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было никакой другой мебели, и, вместо лампы или свечи, горел яркий веерообразный огонек, приделанный к трубочке, вбитой в стену. Федор Тимофеич облизал свою шубу, помятую Теткой, пошел под табурет и лег. Хозяин, всё еще волнуясь и потирая руки, стал раздеваться... Он разделся так, как обыкновенно раздевался у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть снял всё, кроме белья, потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выдвигать над собой удивительные штуки. Прежде всего он надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами, похожими на рога, потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал еще брови, усы и румяны. Затем его этим не кончились. Опачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем не сообразный костюм, какого Тетка никогда не видала раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе широчайшие панталоны, сшитые из ситца с крупными цветами, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели, панталоны, которые застегиваются у самых подмышек; одна панталона сшита из коричневого ситца, другая из светло-желтого. Утонувши в них, хозяин надел еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зеленые башмаки...

У Тетки запестрило в глазах и в душе. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином, голос у нее был тоже знакомый, хозяйский, но бывали минуты, когда Тетку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять. Новое место, веерообразный огонек, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином, — всё это вселяло в нее неопределенный страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут еще где-то за стеной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный рев. Одно только и успокаивало ее — это невозмутимость Федора Тимофеича. Он преспокойно дремал под табуретом и не открывал глаз, даже когда двигался табурет.

Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал:

— Сейчас выход мисс Арабеллы. После нее — вы.

Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался, и Тетка слышала, как дрожало его дыхание.

— М-г Жорж, пожалуйста! — крикнул кто-то за дверью.

Хозяин встал и три раза перекрестился, потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан.

— Иди, Тетка! — сказал он тихо.

Тетка, ничего не понимая, подошла к его рукам; он поцеловал ее в голову и положил рядом с Федором Тимофеичем. Засим наступили потемки... Тетка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука, а чемодан покачивался, как на волнах, и дрожал...

— А вот и я! — громко крикнул хозяин. — А вот и я!

Тетка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о что-то твердое и перестал качаться. Послышался громкий густой рев: по ком-то хлопали, и этот кто-то, вероятно рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рев раздался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома.

— Га! — крикнул он, стараясь перекричать рев. — Почтеннейшая публика! Я сейчас только с вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мне наследство! В чемодане что-то очень тяжелое — очевидно, золото... Га-а! И вдруг здесь миллион! Сейчас мы откроем и посмотрим...

В чемодане щелкнул замок. Яркий свет ударил Тетку по глазам; она прыгнула вон из чемодана и, оглушенная ревом, быстро, во всю прыть забегала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем.

— Га! — закричал хозяин. — Дядюшка Федор Тимофеич! Дорогая тетушка! Милые родственники, чёрт бы вас взял!

Он упал животом на песок, схватил кота и Тетку и принялся обнимать их. Тетка, пока он тискал ее в своих объятиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла ее судьба, и, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга, потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света; куда ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего.

— Тетушка, прошу вас сесть! — крикнул хозяин.

Помня, что это значит, Тетка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьезно и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подергивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячей лиц. Тетка поверила его веселости, вдруг почувствовала всем своим телом, что на нее смотрят эти тысячи лиц, подняла вверх свою лисью морду и радостно завывала.

— Вы, Тетушка, посидите, — сказал ей хозяин, — а мы с дядюшкой попляшем камаринского.

Федор Тимофеич в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движениям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя... Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел.

— Ну-с, Тетушка, — сказал хозяин, — сначала мы с вами споем, а потом попляшем. Хорошо?

Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завывала. Со всех сторон слышались рев и аплодисменты. Хозяин поклонился и, когда всё стихло, продолжал играть... Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул.

— Тятка! — крикнул детский голос. — А ведь это Каштанка!

— Каштанка и есть! — подтвердил пьяненький дребезжащий тенорок. — Каштанка! Федюшка, это, накажи бог, Каштанка! Фюйть!

Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один — детский, другой — мужской, громко позвали:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое — пухлое, краснощекое и испуганное — ударили ее по глазам, как раньше ударил яркий свет... Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рев, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо, очутилась в ложе; чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену; Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась всё выше и выше и наконец попала на галерку...

Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрыч покачивался и инстинктивно, наученный опытом, старался держаться подальше от канавы.

— В бездне греховней валяюся во утробе моей... — бормотал он. — А ты, Каштанка, — недоумение. Супротив человека ты всё равно, что плотник супротив столяра.

Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту.

Вспоминала она комнатку с грязными обоями, гуся, Федора Тимофеича, вкусные обеды, ученье, цирк,

но всё это представлялось ей теперь, как длинный, перепутанный, тяжелый сон...

Крыжовник

Еще с раннего утра всё небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иванович и Буркин были проникнуты любовью к этому полю и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.

— В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, — сказал Буркин, — вы собирались рассказать какую-то историю.

— Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.

Иван Иванович протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, обложной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иванович и Буркин остановились в раздумье; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.

— Нам нужно укрыться куда-нибудь, — сказал Буркин. — Пойдемте к Алехину. Тут близко.

— Пойдемте.

Они свернули в сторону и шли всё по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белою купальней. Это было Софьино, где жил Алехин.

Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понутив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неудобно, и вид у плеса был холодный, злой. Иван Иванович и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга.

В одном из амбаров шумела вейлка; дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Ивановича и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался.

— Пожалуйте, господа, в дом, — сказал он, улыбаясь. — Я сейчас, сию минуту.

Дом был большой, двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешевой водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Ивановича и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.

— Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа, — говорил Алехин, входя за ними в переднюю. — Вот не ожидал! Пелагея, — обратился он к горничной, — дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да кстати и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню, а тут пока приготовят.

Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошел в купальню.

— Да, давно я уже не мылся, — говорил он, раздеваясь. — Купальня у меня, как видите, хорошая, отец еще строил, но мыться как-то всё некогда.

Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.

— Да, признаюсь... — проговорил Иван Иванович значительно, глядя на его голову.

— Давно я уже не мылся... — повторил Алехин конфузливо и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила.

Иван Иванович вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии; он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте и поплыл дальше, и всё нырял, стараясь достать дно. «Ах, боже мой... — повторял он, наслаждаясь. — Ах, боже мой...» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там

с мужиками и повернул назад, и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собрались уходить, а он всё плавал и нырял.

— Ах, боже мой... — говорил он. — Ах, господи помилуй.

— Будет вам! — крикнул ему Буркин.

Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иванович, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесанный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иванович приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не один только Буркин и Алехин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам.

— Нас два брата, — начал он, — я, Иван Иванович, и другой — Николай Иванович, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате. Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьешко. После его смерти именьешко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, всё равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу, и прочее тому подобное... А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он всё сидел на одном месте, писал всё те же бумаги и думал всё об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую усадьбу где-нибудь на берегу реки или озера.

Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.

Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.

— Деревенская жизнь имеет свои удобства, — говорил он, бывало. — Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо и... и крыжовник растет.

Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: а) барский дом, б) людская, в) огород, г) крыжовник. Жил он скупой: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и всё копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь.

Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок лет, а он всё читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Всё с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньги. Он и с ней тоже жил скупой, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни да года через три взяла и отдала богу душу. И конечно брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудачком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет — страшное дело, а он всё просит, чтобы ногу его отыскали, и всё беспокоится; в сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.

— Это вы уж из другой оперы, — сказал Буркин.

— После смерти жены, — продолжал Иван Иванович, подумав полминуты, — брат мой стал

высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но всё же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую — костопальный. Но мой Николай Иваныч мало печалился; он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.

В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбароклова Пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, посажены рядами елки, — и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, — того и гляди, хрюкнет в одеяло.

Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение.

— Ну, как ты тут поживаешь? — спросил я.

— Да ничего, слава богу, живу хорошо.

Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уж обжился тут, привык и вошел во вкус; кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные полведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им полведра, а они пьют и кричат ура, и пьяные кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

— Я знаю народ и умею с ним обращаться, — говорил он. — Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает всё, что захочу.

И всё это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он раз двадцать повторил: «мы, дворяне», «я, как дворянин»; очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец — солдат. Даже наша фамилия Чимша-Гималайский, в сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной.

Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник, молча, со слезами, — он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал:

— Как вкусно!

И он с жадностью ел и всё повторял:

— Ах, как вкусно! Ты попробуй!

Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по яголке. Я соображал: как, в сущности, мною довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмущился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников, но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно,

нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, — и все обстоит благополучно.

— В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив, — продолжал Иван Иванович, вставая. — Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как верить, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросил Иван Иванович, сердито глядя на Буркина. — Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не всё сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!

Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гоюсь для борьбы, я неспособен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досаую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать... Ах, если б я был молод!

Иван Иванович прошелся в волнении из угла в угол и повторил:

— Если б я был молод!

Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую.

— Павел Константиныч, — проговорил он умоляющим голосом, — не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!

И всё это Иван Иванович проговорил с жалкой, просящей улыбкой, как будто просил лично для себя.

Потом все трое сидели в креслах, в разных концах гостиной, и молчали. Рассказ Ивана Ивановича не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где всё — и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами говорили, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, — это было лучше всяких рассказов.

Алехину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иванович, он не вникал; гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали...

— Однако пора спать, — сказал Буркин, поднимаясь. — Позвольте пожелать вам спокойной ночи.

Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями и в углу было распятие из слоновой кости; от их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.

Иван Иванович молча разделся и лег.

— Господи, прости нас грешных! — проговорил он и укрылся с головой.

От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и всё никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах.

Дождь стучал в окна всю ночь.

Лошадина фамилия

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него

была вата, смоченная в спирту, но всё это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он наковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, — лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и как рукой! Сила ему такая дадена...

— Где же он теперь?

— А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели, у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних, саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

— Ерунда! Шарлатанство!

— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша. — Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

— Ну, ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к чёрту депешу пошлешь... Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

— Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его благородию господину Якову Васильичу... Васильичу...

— Ну?

— Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Чёрт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

— Ну, что же? Скорей думай!

— Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло...

— Жеребятников?

— Никак нет. Постойте... Кобылицын... Кобылятников... Кобелев...

— Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

— Нет, и не Жеребчиков... Лошаднин... Лошаков... Жеребкин... Всё не то!

— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

— Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...

— Коренников? — спросила генеральша.

— Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!

— Так зачем же, чёрт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал. — Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

— Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...

Немного погодя его позвали к господам.

— Вспомнил? — спросил генерал.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию...

Приказчика то и дело требовали в дом.

— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? Жеребовский?

— Никак нет, — отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. — Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...

— Папа! — кричали из детской. — Тройкин! Уздечкин!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...

— Гнедов! — говорили ему. — Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия всё еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

— Не Меринов ли? — спросил он плачущим голосом.

— Нет, не Меринов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

— Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

— Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

— Пускай рвет! — решил он. — Нет больше сил терпеть...

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича... Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...

— Буланов... Чересседельников... — бормотал он. — Засупонин... Лошадский...

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. — Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

— На-кося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!

Мертвое тело

Тихая августовская ночь. С поля медленно поднимается туман и матовой пеленой застилает всё, доступное для глаза. Освещенный луною, этот туман дает впечатление то спокойного, беспредельного моря, то громадной белой стены. В воздухе сыро и холодно. Утро еще далеко. На шаг от проселочной дороги, идущей по опушке леса, светится огонек. Тут, под молодым дубом, лежит мертвое тело, покрытое с головы до ног новой белой холстиной. На груди большой деревянный образок. Возле трупа, почти у самой дороги, сидит «очередь» — два мужика, исполняющих одну из самых тяжелых и неприглядных крестьянских повинностей. Один — молодой высокий парень с едва заметными усами и с густыми черными бровями, в рваном полушубке и лаптях, сидит на мокрой траве, протянув вперед ноги, и старается скоротать время работой. Он нагнул свою длинную шею и, громко сопя, делает из большой угловатой деревяжки ложку. Другой — маленький мужичонко со старческим лицом, тощий, рябой, с жидкими усами и козлиной бородкой, свесил на колени руки и, не двигаясь, глядит безучастно на огонь. Между обоими лениво догорает небольшой костер и освещает их лица в красный цвет. Тишина. Слышно только, как скрипит под ножом деревяжка и потрескивают в костре сырые бревнышки.

— А ты, Сема, не спи... — говорит молодой.

— Я... не сплю... — заикается козлиная бородка.

— То-то... Одному сидеть жутко, страх берет. Рассказал бы что-нибудь, Сема!

— Не... не умею...

— Чудной ты человек, Семушка! Другие люди и посмеются, и небылицу какую расскажут, и песню споют, а ты — бог тебя знает, какой. Сидишь, как пугало огородное, и глаза на огонь тарачишь. Слова путем сказать не умеешь... Говоришь и будто боишься. Чай, уж годов пятьдесят есть, а рассудка меньше, чем в дите... И тебе не жалко, что ты дурачок?

— Жалко... — угрюмо отвечает козлиная бородка.

— А нам нешто не жалко глядеть на твою глупость? Мужик ты добрый, тверезый, одно только горе — ума в голове нету. А ты бы, ежели господь тебя обидел, рассудка не дал, сам бы ума набирался... Ты понатужься, Сема... Где что хорошее скажут, ты и вникай, бери себе в толк, да всё думай, думай... Ежели какое слово тебе непонятно, ты понатужься и рассуди в голове, в каких смыслах это самое слово. Понял?

Понатужься! А ежели сам до ума доходить не будешь, то так и помрешь дурачком, последним человеком.

Вдруг в лесу раздается протяжный, стонущий звук. Что-то, как будто сорвавшись с самой верхушки дерева, шелестит листвой и падает на землю. Всему этому глухо вторит эхо. Молодой вздрагивает и вопросительно глядит на своего товарища.

— Это сова пташек забирает, — говорит угрюмо Сема.

— А что, Сема, ведь уж время птицам лететь в теплые края!

— Знамо, время.

— Холодные нынче зори стали. Х-холодно! Журавль зябкая тварь, нежная. Для него такой холод — смерть. Вот я не журавль, а замерз... Подложи-ка дровец!

Сена поднимается и исчезает в темной чаще. Пока он возится за кустами и ломает сухие сучья, его товарищ закрывает руками глаза и вздрагивает от каждого звука. Сема приносит охапку хворосту и кладет ее на костер. Огонь нерешительно облизывает язычками черные сучья, потом вдруг, словно по команде, охватывает их и освещает в багровый цвет лица, дорогу, белую холстину с ее рельефами от рук и ног мертвеца, образок... «Очередь» молчит. Молодой еще ниже нагибает шею и еще нервнее принимается за работу. Козлиная борода сидит по-прежнему неподвижно и не сводит глаз с огня...

— «Ненавидящие Сиона... посрамитесь от господ»... — слышится вдруг в ночной тишине поющая фистула, потом слышатся тихие шаги и на дороге в багровых лучах костра вырастает темная человеческая фигура в короткой монашеской ряске, широкополой шляпе и с котомкой за плечами.

— Господи, твоя воля! Мать честная! — говорит эта фигура сиплым дискантом. — Увидел огонь во тьме кромешной и взыгрался духом... Сначала думал — ночное, потом же и думаю: какое же это ночное, ежели коней не видать? Не тати ли сие, думаю, не разбойники ли, богатого Лазаря поджидающие? Не цыганская ли это нация, жертвы идолам приносящая? И взыгрался дух мой... Иди, говорю себе, раб Феодосий, и прими венец мученический! И понесло меня на огонь, как мотыля легкокрылого. Теперь стою перед вами и по наружным физиогномиям вашим сужу о душах ваших: не тати вы и не язычники. Мир вам!

— Здорово.

— Православные, не знаете ли вы, как тут пройтись до Макухинских кирпичных заводов?

— Близко. Вот это, стало быть, пойдете прямо по дороге; версты две пройдете, там будет Ананово, наша деревня. От деревни, батюшка, возьмешь вправо, берегом, и дойдешь до заводов. От Ананова версты три будет.

— Дай бог здоровья. А вы чего тут сидите?

— Понятыми сидим. Вишь, мертвое тело...

— Что? Какое тело? Мать честная!

Странник видит белую холстину с образком и вздрагивает так сильно, что его ноги делают легкий прыжок. Это неожиданное зрелище действует на него подавляюще. Он весь съеживается и, раскрыв рот, выпуча глаза, стоит, как вкопанный... Минуты три он молчит, словно не верит глазам своим, потом начинает бормотать:

— Господи! Мать честная!! Шел себе, никого не трогал, и вдруг это такое наказание...

— Вы из каких будете? — спрашивает парень. — Из духовенства?

— Не... нет... Я по монастырям хожу... Знаешь Ми... Михайлу Поликарпыча, заводского управляющего? Так вот я ихний племянник... Господи, твоя воля! Зачем же вы тут?

— Сторожим... Велят.

— Так, так... — бормочет ряска, поводя рукой по глазам. — А откуда покойник-то?

— Прохожий.

— Жизнь наша! Одначе, братцы, я тово... пойду... Оторопь берет. Боюсь мертвецов пуще всего, родимые мои... Ведь вот, скажи на милость! Покуда этот человек жив был, не замечали его, теперь же, когда он мертв и тлену предается, мы трепещем перед ним, как перед каким-нибудь славным полководцем или преосвященным владыкою... Жизнь наша! Что ж, его убили, что ли?

— Христос его знает! Может, убили, а может и сам помер.

— Так, так... Кто знает, братцы, может, душа его теперь сладости райские вкушает!

— Душа его еще здесь около тела ходит... — говорит парень. — Она три дня от тела не идет.

— М-да... Холода какие нынче! Зуб на зуб не попадет... Так, стало быть, идти всё прямо и прямо...

— Покуда в деревню не упруешься, а там возьмешь вправо берегом.

— Берегом... Так... Что же это я стою? Идти надо... Прощайте, братцы!

Ряска делает шагов пять по дороге и останавливается.

— Забыл копеечку на погребение положить, — говорит она. — Православные, можно монетку положить?

— Тебе это лучше знать, ты по монастырям ходишь. Ежели настоящей смертью он помер, то пойдет за душу, ежели самоубивец, то грех.

— Верно... Может, и в самом деле самоубийца! Так уж лучше я свою монетку при себе оставлю. Ох, грехи, грехи! Дай мне тыщу рублей, и то б не согласился тут сидеть... Прощайте, братцы!

Ряска медленно отходит и опять останавливается.

— Ума не приложу, как мне быть... — бормочет она. — Тут около огня остаться, рассвета подождать... страшно. Идти тоже страшно. Всю дорогу в потемках покойник будет мерещиться... Вот наказал господь! Пятьсот верст пешком прошел, и ничего, а к дому стал подходить, и горе... Не могу идти!

— Это правда, что страшно...

— Не боюсь ни волков, ни татей, ни тьмы, а покойников боюсь. Боюсь, да и шабаш! Братцы православные, молю вас коленопреклоненно, проводите меня до деревни!

— Нам не велено от тела отходить.

— Никто не увидит, братцы! Ей же ей, не увидит! Господь вам сторицею воздаст! Борода, проводи, сделай милость! Борода! Что ты всё молчишь?

— Он у нас дурачок... — говорит парень.

— Проводи, друг! Пятачок дам!

— За пятак бы можно, — говорит парень, почесывая затылок, — да не велено... Ежели вот Сема, дурачок-то, один посидит, то провожу. Сема, посидишь тут один?

— Посижу... — соглашается дурачок.

— Ну и ладно. Пойдем!

Парень поднимается и идет с ряской. Через минуту их шаги и говор смолкают. Сема закрывает глаза и тихо дремлет. Костер начинает тухнуть, и на мертвое тело ложится большая черная тень...

Мститель

Федор Федорович Сигаев вскоре после того, как застал свою жену на месте преступления, стоял в оружейном магазине Шмукс и К° и выбирал себе подходящий револьвер. Лицо его выражало гнев, скорбь и бесповоротную решимость.

«Я знаю, что мне делать... — думал он. — Семейные основы поруганы, честь затоптана в грязь, порок торжествует, а потому я, как гражданин и честный человек, должен явиться мстителем. Сначала убью ее и любовника, а потом себя...»

Он еще не выбрал револьвера и никого еще не убил, но его воображение уже рисовало три окровавленных трупа, разможенные черепа, текущий мозг, сумятицу, толпу зевак, вскрытие... С злорадством оскорбленного человека он воображал себе ужас родни и публики, агонию изменницы и мысленно уже читал передовые статьи, трактующие о разложении семейных основ.

Приказчик магазина — подвижная, французистая фигурка с брюшком и в белом жилете — раскладывал перед ним револьверы и, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, говорил:

— Я советовал бы вам, мсье, взять вот этот прекрасный револьвер. Система Смит и Вессон. Последнее слово огнестрельной науки. Тройного действия, с экстрактором, бьет на шестьсот шагов, центрального боя. Обращаю, мсье, ваше внимание на чистоту отделки. Самая модная система, мсье... Ежедневно продаем по десятку для разбойников, волков и любовников. Очень верный и сильный бой, бьет на большой дистанции и убивает навывлет жену и любовника. Что касается самоубийц, то, мсье, я не знаю лучшей системы...

Приказчик поднимал и опускал курки, дышал на стволы, прицеливался и делал вид, что задыхается от восторга. Глядя на его восхищенное лицо, можно было подумать, что сам он охотно пустил бы себе пулю в лоб, если бы только обладал револьвером такой прекрасной системы, как Смит и Вессон.

— А какая цена? — спросил Сигаев.

— Сорок пять рублей, мсье.

— Гм!.. Для меня это дорого!

— В таком случае, мсье, я предложу вам другой системы, подешевле. Вот, не угодно ли посмотреть? Выбор у нас громадный, на разные цены... Например, этот револьвер системы Лефоше стоит только восемнадцать рублей, но... (приказчик презрительно поморщился)... но, мсье, эта система уже устарела. Ее покупают теперь только умственные пролетарии и психопатки. Застрелиться или убить жену из Лефоше считается теперь знаком дурного тона. Хороший тон признает только Смита и Вессон.

— Мне нет надобности ни стреляться, ни убивать, — угрюмо солгал Сигаев. — Я покупаю это просто для дачи... пугать воров...

— Нам нет дела, для чего вы покупаете, — улыбнулся приказчик, скромно опуская глаза. — Если бы в каждом случае мы доискивались причин, то нам, мсье, пришлось бы закрыть магазин. Для пуганья воров Лефоше не годится, мсье, потому что он издает негромкий, глухой звук, а я предложил бы вам обыкновенный капсюльный пистолет Мортимера, так называемый дуэльный...

«А не вызвать ли мне его на дуэль? — мелькнуло в голове Сигаева. — Впрочем, много чести... Таких

скотов убивают, как собак...»

Приказчик, грациозно поворачиваясь и семена ножками, не переставая улыбаться и болтать, положил перед ним целую кучу револьверов. Аппетитнее и внушительнее всех выглядел Смит и Вессон. Сигаев взял в руки один револьвер этой системы, тупо уставился на него и погрузился в раздумье. Воображение его рисовало, как он размозжает черепа, как кровь рекою течет по ковру и паркету, как дрыгает ногой умирающая изменница... Но для его негодующей души было мало этого. Кровавые картины, вопль и ужас его не удовлетворяли... Нужно было придумать что-нибудь более ужасное.

«Вот что, я убью его и себя, — придумал он, — а ее оставлю жить. Пусть она чахнет от угрызений совести и презрения окружающих. Это для такой нервной натуры, как она, гораздо мучительнее смерти...»

И он представил себе свои похороны: он, оскорбленный, лежит в гробу, с кроткой улыбкой на устах, а она, бледная, замученная угрызениями совести, идет за гробом, как Ниобея, и не знает, куда деваться от уничтожающих презрительных взглядов, какие бросает на нее возмущенная толпа...

— Я вижу, мсье, что вам нравится Смит и Вессон, — перебил приказчик его мечтания. — Если он кажется вам дорог, то извольте, я уступлю пять рублей... Впрочем, у нас еще есть другие системы, подешевле.

Французистая фигурка грациозно повернулась и достала с полок еще дюжину футляров с револьверами.

— Вот, мсье, цена тридцать рублей. Это недорого, тем более, что курс страшно понизился, а таможенные пошлины, мсье, повышаются каждый час. Мсье, клянусь богом, я консерватор, но и я уже начинаю роптать! Помилуйте, курс и таможенный тариф сделали то, что теперь оружие могут приобретать только богачи! Беднякам осталось только тульское оружие и фосфорные спички, а тульское оружие — это несчастье! Стреляешь из тульского револьвера в жену, а попадаешь себе в лопатку...

Сигаеву вдруг стало обидно и жаль, что он будет мертв и не увидит мучений изменницы. Мечь тогда лишь сладка, когда имеешь возможность видеть и осязать ее плоды, а что толку, если он будет лежать в гробу и ничего не сознавать.

«Не сделать ли мне так, — раздумывал он. — Убью его, потом побуду на похоронах, погляжу, а после похорон себя убью... Впрочем, меня до похорон арестуют и отнимут оружие... Итак: убью его, она останется в живых, я... я до поры до времени не убиваю себя, а пойду под арест. Убить себя я всегда успею. Арест тем хорош, что на предварительном дознании я буду иметь возможность раскрыть перед властью и обществом всю низость ее поведения. Если я убью себя, то она, пожалуй, со свойственной ей лживостью и наглостью, во всем обвинит меня, и общество оправдает ее поступок и, пожалуй, посмеется надо мной; если же я останусь жив, то...»

Через минуту он думал:

«Да, если я убью себя, то, пожалуй, меня же обвинят и заподозрят в мелком чувстве... И к тому же, за что себя убивать? Это раз. Во-вторых, застрелиться — значит струсить. Итак: убью его, ее оставлю жить, сам иду под суд. Меня будут судить, а она будет фигурировать в качестве свидетельницы... Воображаю ее смущение, ее позор, когда ее будет допрашивать мой защитник! Симпатии суда, публики и прессы будут, конечно, на моей стороне...»

Он размышлял, а приказчик раскладывал перед ним товар и считал своим долгом занимать покупателя.

— Вот английские новой системы, недавно только получены, — болтал он. — Но предупреждаю, мсье, все эти системы бледнеют перед Смит и Вессон. На днях — вы, вероятно, уже читали — один офицер приобрел у нас револьвер системы Смит и Вессон. Он выстрелил в любовника и — что же вы думаете? — пуля прошла навывлет, пробила затем бронзовую лампу, потом рояль, а от рояля рикошетом убила болонку и контузила жену. Эффект блистательный и делает честь нашей фирме. Офицер теперь арестован... Его, конечно, обвинят и сошлют в каторжные работы! Во-первых, у нас еще слишком устарелое законодательство; во-вторых, мсье, суд всегда бывает на стороне любовника. Почему? Очень просто, мсье! И судьи, и присяжные, и прокурор, и защитник сами живут с чужими женами, и для них будет покойнее, если в России одним мужем будет меньше. Обществу было бы приятно, если бы правительство сослало всех мужей на Сахалин. О, мсье, вы не знаете, какое негодование возбуждает во мне современная порча нравов! Любить чужих жен теперь так же принято, как курить чужие папиросы и читать чужие книги. С каждым годом у нас торговля становится всё хуже и хуже — это не значит, что любовников становится всё меньше, а значит, что мужья мирятся со своим положением и боятся суда и каторги.

Приказчик оглянулся и прошептал:

— А кто виноват, мсье? Правительство!

«Идти на Сахалин из-за какой-нибудь свиньи тоже не разумно, — раздумывал Сигаев. — Если я пойду на каторгу, то это даст только возможность жене выйти замуж вторично и надуть второго мужа. Она будет торжествовать... Итак: *ее* я оставлю в живых, себя не убиваю, *его* ... тоже не убиваю. Надо придумать что-нибудь более разумное и чувствительное. Буду казнить их презрением и подниму скандальный бракоразводный процесс...»

— Вот, мсье, еще новая система, — сказал приказчик, доставая с полки дюжину. — Обращаю ваше внимание на оригинальный механизм замка...

Сигаеву, после его решения, револьвер был уже не нужен, а приказчик между тем, вдохновляясь всё более и более, не переставал раскладывать перед ним свой товар. Оскорбленному мужу стало совестно, что из-за него приказчик даром трудился, даром восхищался, улыбался, терял время...

— Хорошо, в таком случае... — забормотал он, — я зайду после или... или пришлю кого-нибудь.

Он не видел выражения лица у приказчика, но, чтобы хотя немного сгладить неловкость, почувствовал необходимость купить что-нибудь. Но что же купить? Он оглядел стены магазина, выбирая что-нибудь подешевле, и остановил свой взгляд на зеленой сетке, висевшей около двери.

— Это... это что такое? — спросил он.

— Это сетка для ловли перепелов.

— А что стоит?

— Восемь рублей, мсье.

— Заверните мне...

Оскорбленный муж заплатил восемь рублей, взял сетку и, чувствуя себя еще более оскорбленным, вышел из магазина.

Накануне поста

— Павел Васильич! — будит Пелагея Ивановна своего мужа. — А Павел Васильич! Ты бы пошел позанимался со Степой, а то он сидит над книгой и плачет. Опять чего-то не понимает!

Павел Васильич поднимается, крестит зевающий рот и говорит мягко:

— Сейчас, душенька!

Кошка, спящая рядом с ним, тоже поднимается, вытягивает хвост, перегибает спину и жмурится. Тишина... Слышно, как за обоями бегают мыши. Надев сапоги и халат, Павел Васильич, помятый и хмурый спросонок, идет из спальни в столовую; при его появлении другая кошка, которая обнюхивала на окне рыбное заливное, прыгает с окна на пол и прячется за шкаф.

— Просили тебя нюхать! — сердится он, накрывая рыбу газетной бумагой. — Свинья ты после этого, а не кошка...

Из столовой дверь ведет в детскую. Тут за столом, покрытым пятнами и глубокими царапинами, сидит Степа, гимназист второго класса, с капризным выражением лица и с заплаканными глазами. Приподняв колени почти до подбородка и охватив их руками, он качается, как китайский болванчик, и сердито глядит в задачник.

— Учишься? — спрашивает Павел Васильич, подсаживаясь к столу и зевая. — Так, братец ты мой... Погуляли, поспали, блинов покушали, а завтра сухоядение, покаяние и на работу пожалуйте. Всякий период времени имеет свой предел. Что это у тебя глаза заплаканные? Зубренция одолела? Знать, после блинов противно науками питаться? То-то вот оно и есть.

— Да ты что там над ребенком смеешься? — кричит из другой комнаты Пелагея Ивановна. — Чем смеяться, показал бы лучше! Ведь он завтра опять единицу получит, горе мое!

— Ты чего не понимаешь? — спрашивает Павел Васильич у Степы.

— Да вот... деление дробей! — сердито отвечает тот. — Деление дроби на дробь...

— Гм... чудак! Что же тут? Тут и понимать нечего. Отзубри правило, вот и всё... Чтобы разделить дробь на дробь, то для этой цели нужно числителя первой дроби помножить на знаменателя второй, и это будет числителем частного... Ну-с, засим знаменатель первой дроби...

— Я это и без вас знаю! — перебивает его Степа, сбивая щелчком со стола ореховую скорлупу. — Вы покажите мне доказательство!

— Доказательство? Хорошо, давай карандаш. Слушай. Положим, нам нужно семь восьмых разделить на две пятых. Так-с. Механика тут в том, братец ты мой, что требуется эти дроби разделить друг на дружку... Самовар поставили?

— Не знаю.

— Пора уж чай пить... Восьмой час. Ну-с, теперь слушай. Будем так рассуждать. Положим, нам нужно разделить семь восьмых не на две пятых, а на два, то есть только на числителя. Делим. Что же получается?

— Семь шестнадцатых.

— Так. Молодец. Ну-с, штукенция в том, братец ты мой, что мы... что, стало быть, если мы делили на два, то... Постой, я сам запутался. Помню, у нас в гимназии учителем арифметики был Сигизмунд Урбаныч, из поляков. Так тот, бывало, каждый урок путался. Начнет теорему доказывать, спутается и побагровеет весь и по классу забегает, точно его шилом кто-нибудь в спину, потом раз пять высморкается и начнет плакать. Но мы, знаешь, великодушны были, делали вид, что не замечаем. «Что с вами, спрашиваем, Сигизмунд

Урбаныч? У вас зубы болят?» И скажи, пожалуйста, весь класс из разбойников состоял, из сорвиголов, но, понимаешь ты, великодушны были! Таких маленьких, как ты, в мое время не было, а всё верзилы, этикие балбесы, один другого выше. К примеру сказать, у нас в третьем классе был Мамахин: господи, что за дубина! Понимаешь ты, дылда в сажень ростом, идет — пол дрожит, хватит кулачищем по спине — дух вон! Не то, что мы, даже учителя его боялись. Так вот этот самый Мамахин, бывало...

За дверью слышатся шаги Пелагеи Ивановны. Павел Васильич мигает на дверь и шепчет:

— Мать идет. Давай заниматься. Ну, так вот, братец ты мой, — возвышает он голос, — эту дробь надо помножить на эту. Ну-с, а для этого нужно числителя первой дроби пом...

— Идите чай пить! — кричит Пелагея Ивановна.

Павел Васильич и его сын бросают арифметику и идут пить чай. А в столовой уже сидит Пелагея Ивановна и с ней тетенька, которая всегда молчит, и другая тетенька, глухонемая, и бабушка Марковна — повитуха, принимавшая Степу. Самовар шипит и пускает пар, от которого на потолке ложатся большие волнистые тени. Из передней, задрвав вверх хвосты, входят кошки, заспанные, меланхолические...

— Пей, Марковна, с вареньем, — обращается Пелагея Ивановна к повитухе, — завтра пост великий, наедайся сегодня!

Марковна набирает полную ложечку варенья, нерешительно, словно порох, подносит ко рту и, покосившись на Павла Васильича, ест; тотчас же ее лицо покрывается сладкой улыбкой, такой же сладкой, как само варенье.

— Варенье очень даже отличное, — говорит она. — Вы, матушка, Пелагея Ивановна, сами изволили варить?

— Сама. Кому же другому? Я всё сама. Степочка, я тебе не жидко чай налила? Ах, ты уже выпил! Давай, ангелочек мой, я тебе еще налью.

— Так вот этот самый Мамахин, братец ты мой, — продолжает Павел Васильич, поворачиваясь к Степе, — терпеть не мог учителя французского языка. «Я, кричит, дворянин и не позволю, чтоб француз надо мною старшим был! Мы, кричит, в двенадцатом году французов били!» Ну, его, конечно, пороли... си-ильно пороли! А он, бывало, как заметит, что его пороть хотят, прыг в окно и был таков! Этак дней пять-шесть потом в гимназию не показывается. Мать приходит к директору, молит Христом-богом: «Господин директор, будьте столь добры, найдите моего Мишку, посеките его, подлеца!» А директор ей: «Помилуйте, сударыня, у нас с ним пять швейцаров не справятся!»

— Господи, уродятся же такие разбойники! — шепчет Пелагея Ивановна, с ужасом глядя на мужа. — Каково-то бедной матери!

Наступает молчание. Степа громко зевает и рассматривает на чайнице китайца, которого он видел уж тысячу раз. Обе тетеньки и Марковна осторожно хлеблют из блюдец. В воздухе тишина и духота от печки... На лицах и в движениях лень, пресыщение, когда желудки до верха полны, а есть все-таки нужно. Убираются самовар, чашки и скатерть, а семья всё сидит за столом... Пелагея Ивановна то и дело вскакивает и с выражением ужаса на лице убегает в кухню, чтобы поговорить там с кухаркой насчет ужина. Обе тетеньки сидят в прежних позах, неподвижно, сложив ручки на груди, и дремлют, поглядывая своими оловянными глазками на лампу. Марковна каждую минуту икает и спрашивает:

— Отчего это я икаю? Кажется, и не кушала ничего такого... и словно бы не пила..

Ик!

Павел Васильич и Степа сидят рядом, касаясь друг друга головами, и, нагнувшись к столу, рассматривают «Ниву» 1878 года.

— «Памятник Леонардо да-Винчи перед галлереей Виктора Эмануила в Милане». Ишь ты... Вроде как бы триумфальные ворота... Кавалер с дамой... А там вдали человечки...

— Этот человечек похож на нашего гимназиста Нискубина, — говорит Степа.

— Перелистывай дальше... «Хоботок обыкновенной мухи, видимый в микроскоп». Вот так хоботок! Ай да муха! Что же, брат, будет, ежели клопа под микроскопом поглядеть? Вот гадость!

Старинные часы в зале сипло, точно простуженные, не бьют, а кашляют ровно десять раз. В столовую входит кухарка Анна и — бух хозяину в ноги!

— Простите Христа ради, Павел Васильич! — говорит она, поднимаясь вся красная.

— Прости и ты меня Христа ради, — отвечает Павел Васильич равнодушно.

Анна тем же порядком подходит к остальным членам семьи, бухает в ноги и просит прощенья. Минует она одну только Марковну, которую, как неблагородную, считает недостойной поклонения.

Проходит еще полчаса в тишине и спокойствии... «Нива» лежит уже на диване, и Павел Васильич, подняв вверх палец, читает наизусть латинские стихи, которые он выучил когда-то в детстве. Степа глядит на его палец с обручальным кольцом, слушает непонятную речь и дремлет; трет кулаками глаза, а они у него еще больше слипаются.

— Пойду спать... — говорит он, потягиваясь и зевая.

— Что? Спать? — спрашивает Пелагея Ивановна. — А заговляться?

— Я не хочу.

— Да ты в своем уме? — пугается мамаша. — Как же можно не заговляться? Ведь во весь пост не дадут тебе скоромного!

Павел Васильич тоже пугается.

— Да, да, брат, — говорит он. — Семь недель мать не даст скоромного. Нельзя, надо заговориться.

— Ах, да мне спать хочется! — капризничает Степа.

— В таком случае накрывайте скорей на стол! — кричит встревоженно Павел Васильич. — Анна, что ты там, дура, сидишь? Иди поскорей, накрывай на стол!

Пелагея Ивановна всплескивает руками и бежит в кухню с таким выражением, как будто в доме пожар.

— Скорей! Скорей! — слышится по всему дому. — Степочка спать хочет! Анна! Ах боже мой, что же это такое? Скорей!

Через пять минут стол уже накрыт. Кошки опять, задрав вверх хвосты, выгибая спины и потягиваясь, сходятся в столовую... Семья начинает ужинать. Есть никому не хочется, у всех желудки переполнены, но есть все-таки нужно.

На страстной неделе

— Иди, уже звонят. Да смотри, не шали в церкви, а то бог накажет.

Мать сует мне на расходы несколько медных монет и тотчас же, забыв про меня, бежит с остывшим утюгом в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпиваю два стакана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты бурым месивом, на котором уже начинают обозначаться будущие тропинки; крыши и тротуары сухи; под заборами сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная, молодая зелень. В канавах, весело журча и пенясь, бежит грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные лучи. Щепочки, соломинки, скорлупа подсолнухов быстро несутся по воде, кружатся и цепляются за грязную пену. Куда, куда плывут эти щепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, из реки в море, из моря в океан... Я хочу вообразить себе этот длинный, страшный путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до моря.

Проезжает извозчик. Он чмокает, дергает вожжи и не видит, что на задке его пролетки повисли два уличных мальчика. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю про исповедь, и мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками.

«На Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика? — думаю я. — Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей и подавать нищим по копейке или по бублику, то бог сжадется над ними и пустит их в рай».

Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней ни души. Нерешительно я открываю дверь и вхожу в церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никогда, мною овладевает сознание греховности и ничтожества. Прежде всего бросаются в глаза большое распятие и по сторонам его божия мать и Иоанн Богослов. Паникадила и ставники одеты в черные, траурные чехлы, лампадки мерцают тускло и робко, а солнце как будто умышленно минует церковные окна. Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображенные в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия; я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу; церковные сумерки делаются гуще и мрачнее, и божия мать с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими.

За свечным шкапом стоит Прокофий Игнатьич, старый отставной солдат, помощник церковного старосты. Подняв брови и поглаживая бороду, он объясняет полушёпотом какой-то старухе:

— Утренняя будет сегодня с вечера, сейчас же после вечерни. А завтра к часам ударят в восьмом часу. Поняла? В восьмом.

А между двух широких колонн направо, там, где начинается придел Варвары Великомученицы, возле ширмы, ожидая очереди, стоят исповедники... Тут же и Митька, оборванный, некрасиво остриженный мальчик с оттопыренными ушами и маленькими, очень злыми глазами. Это сын вдовы поденщицы Настасьи, забияка, разбойник, хватяющий с лотков у торговки яблоки и не раз отнимавший у меня бабки. Он сердито оглядывает меня и, мне кажется, злорадствует, что не я, а он первый пойдет за ширму. Во мне закипает злоба, я стараюсь не глядеть на него и в глубине души досаую на то, что этому мальчишке простятся сейчас грехи.

Впереди него стоит роскошно одетая, красивая дама в шляпке с белым пером. Она заметно волнуется,

напряженно ждет, и одна щека у нее от волнения лихорадочно зарумянилась.

Жду я пять минут, десять... Из-за ширм выходит прилично одетый молодой человек с длинной, тощей шеей и в высоких резиновых калошах; начинаю мечтать о том, как я вырасту большой и как куплю себе такие же калоши, непременно куплю! Дама вздрагивает и идет за ширмы. Ее очередь.

В щелку между двумя половинками ширмы видно, как дама подходит к аналою и делает земной поклон, затем поднимается и, не глядя на священника, в ожидании поникает головой. Священник стоит спиной к ширмам, а потому я вижу только его седые кудрявые волосы, цепочку от наперсного креста и широкую спину. А лица не видно. Вздыхнув и не глядя на даму, он начинает говорить быстро, покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шёпот. Дама слушает покорно, как виноватая, коротко отвечает и глядит в землю.

«Чем она грешна? — думаю я, благоговейно посматривая та ее кроткое, красивое лицо. — Боже, прости ей грехи! Пошли ей счастье!»

Но вот священник покрывает ее голову епитрахилью.

— И аз недостойный иерей... — слышится его голос, — властью его, мне данною, прощаю и разрешаю ты от всех грехов твоих...

Дама делает земной поклон, целует крест и идет назад. Уже обе щеки ее румяны, но лицо спокойно, ясно, весело.

«Она теперь счастлива, — думаю я, глядя то на нее, то на священника, простившего ей грехи. — Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать».

Теперь очередь Митьки, но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику, я хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первым... Заметив мое движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится пыхтение и такие звуки, как будто кто-то ломает свечи... Нас разнимают. Мой враг робко подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется в землю, но, что дальше, я не вижу; от мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и расплываться предметы; оттопыренные уши Митьки растут и сливаются с темным затылком, священник колеблется, пол кажется волнистым...

Раздается голос священника:

— И аз недостойный иерей...

Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху... Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное, утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край анаоя. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы, слышу строгий голос, и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть... Многого от волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренно, не своим, каким-то странным голосом, вспоминаю одиноких богородицу и Иоанна Богослова, распятие, свою мать, и мне хочется плакать, просить прощения.

— Тебя как зовут? — спрашивает священник, покрывая мою голову мягкой епитрахилью.

Как теперь легко, как радостно на душе!

Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай! Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как от рясы, я иду из-за ширм к дьякону записываться и нюхаю свои рукава. Церковные сумерки уже не кажутся мне мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, без злобы.

— Как тебя зовут? — спрашивает дьякон.

— Федя.

— А по отчеству?

— Не знаю.

— Как зовут твоего папашу?

— Иван Петрович.

— Фамилия?

Я молчу.

— Сколько тебе лет?

— Девятый год.

Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или Диоскора жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в келии и питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол — это собираются ужинать; будут есть винегрет, пирожки с капустой и жареного судака. Как мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведей из собственных рук, но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой!

— Боже, очисти меня грешного, — молюсь я, укрываясь с головой. — Ангел-хранитель, защити меня от нечистого духа.

На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаша, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви всё дышит радостью, счастьем и весной; лица богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица причастников озарены надеждой, и, кажется, всё прошлое предано забвению, всё прощено. Митька тоже причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши и, чтобы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему:

— Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали так волосы и если бы ты не был так бедно одет, то все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на Пасху, будем в бабки играть.

Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне под полой кулаком.

А вчерашняя дама кажется мне прекрасной. На ней светло-голубое платье и большая сверкающая брошь в виде подковы. Я люблю её и думаю, что когда я вырасту большой, то непременно женюсь на такой женщине, но, вспомнив, что жениться — стыдно, я перестаю об этом думать и иду на клирос, где дьячок уже читает часы.

Неприятная история

— У тебя, извозчик, сердце вымазано дегтем. Ты, братец, никогда не был влюблен, а потому тебе не понять моей психики. Этому дождю не потушить пожара души моей, как пожарной команде не потушить солнца. Чёрт возьми, как я поэтически выражаюсь! Ведь ты, извозчик, не поэт?

— Никак нет.

— Ну вот видишь ли...

Жирков нащупал наконец у себя в кармане портмоне и стал расплачиваться.

— Договорились мы с тобой, друже, за рубль с четвертаком. Получай гонорарий. Вот тебе руб, вот три гривенника. Пятачек прибавки. Прощай и помни обо мне. Впрочем, сначала снеси эту корзину и поставь на крыльцо. Поосторожней, в корзине бальное платье женщины, которую я люблю больше жизни.

Извозчик вздохнул и неохотно слез с козел. Балансируя в потемках и шлепая по грязи, он дотащил корзину до крыльца и опустил ее на ступени.

— Ну, пого-ода! — проворчал он укоризненно и, крикнув со вздохом, издав носом всхлипывающий звук, неохотно взобрался на козла.

Он чмокнул губами, и лошаденка его нерешительно зашлепала по грязи.

— Кажется, со мною всё, что нужно, — рассуждал Жирков, шаря рукой по косяку и ища звонка. — Надя просила заехать к модистке и взять платье — есть, просила конфет и сыру — есть, букет — есть. «Привет тебе, приют священный...» — запел он. — Но где же, чёрт возьми, звонок?

Жирков находился в благодушном состоянии человека, который недавно поужинал, хорошо выпил и отлично знает, что завтра ему не нужно рано вставать. К тому же после полуторачасовой езды из города по грязи и под дождем его ожидали тепло и молодая женщина... Приятно озябнуть и промокнуть, если знаешь, что сейчас согреешься.

Жирков поймал в потемках шишечку звонка и дернул два раза. За дверью послышались шаги.

— Это вы, Дмитрий Григорич? — спросил женский шёпот.

— Я, восхитительная Дуняша! — ответил Жирков. — Отворяйте скорее, а то я промокаю до костей.

— Ах, боже мой! — зашептала встревоженно Дуняша, отворяя дверь. — Не говорите так громко и не стучите ногами. Ведь барин из Парижа приехал! Нынче под вечер вернулся!

При слове «барин» Жирков сделал шаг назад от двери, и им на мгновение овладел малодушный, чисто мальчишеский страх, какой испытывают даже очень храбрые люди, когда неожиданно наталкиваются на возможность встречи с мужем.

«Вот-те клюква! — подумал он, прислушиваясь, с какою осторожностью Дуняша запирает дверь и уходила назад по коридорчику. — Что же это такое? Это значит — поворачивай назад оглобли? Мерси, не ожидал!»

И ему стало вдруг смешно и весело. Его поездка к ней из города на дачу, в глубокую ночь и под проливным дождем, казалась ему забавным приключением; теперь же, когда он нарвался на мужа, это приключение стало казаться ему еще курьезнее.

— Презанимательная история, ей-богу! — сказал он себе вслух. — Куда же я теперь денусь? Назад ехать?

Шел дождь, и от сильного ветра шумели деревья, но в потемках не видно было ни дождя, ни деревьев. Точно посмеиваясь и ехидно поддразнивая, в канавках и в водосточных трубах журчала вода. Крыльцо, на котором стоял Жирков, не имело навеса, так что тот в самом деле стал промокать.

«И как нарочно принесло его именно в такую погоду, — думал он, смеясь. — Черт бы побрал всех мужей!»

С Надеждой Осиповной начался у него роман месяц тому назад, но мужа ее он еще не знал. Ему было только известно, что муж ее родом француз, фамилия его Буазо и что занимается он комиссионерством. Судя по фотографии, которую видел Жирков, это был дюжинный буржуа лет сорока, с усатой, франко-солдатской рожой, глядя на которую почему-то так и хочется потрепать за усы и за бородку à la Napoléon и спросить: «Ну, что новенького, г. сержант?»

Шлепая по жидкой грязи и спотыкаясь, Жирков отошел несколько в сторону и крикнул:

— Извозчик! Изво-зчик!!!

Ответа не последовало.

— Ни гласа, ни воздыхания, — проворчал Жирков, возвращаясь ощупью к крыльцу. — Своего извозчика усрал, а тут и днем-то извозчиков не найдешь. Ну, положение! Придется до утра ждать! Чёрт подери, корзина промокнет и платье изгадится. Двести рублей стоит... Ну, положение!

Раздумывая, куда бы спрятаться с корзиной от дождя, Жирков вспомнил, что на краю дачного поселка у танцевального круга есть будка для музыкантов.

— Нешто пойти в будку? — спросил он себя. — Идея! Но дотащу ли я корзину? Громоздкая, проклятая... Сыр и букет можно к чёрту.

Он поднял корзину, но тотчас же вспомнил, что, пока он дойдет до будки, корзина успеет промокнуть пять раз.

— Ну, задача! — засмеялся он. — Батюшки, вода за шею потекла! Бррр... Промок, озяб, пьян, извозчика нет... недостает только, чтобы муж выскочил на улицу и отколотил меня палкой. Но что же, однако, делать? Нельзя тут до утра стоять, да и к чёрту платье пропадет... Вот что... Я позвоню еще раз и сдам Дуняше вещи, а сам пойду в будку.

Жирков осторожно позвонил. Через минуту за дверь послышались шаги и в замочной скважине мелькнул свет.

— Кто издесь? — спросил хриплый мужской голос с нерусским акцентом.

«Батюшки, должно быть, муж, — подумал Жирков. — Надо соврать что-нибудь...»

— Послушайте, — спросил он, — это дача Злючкина?

— Чегт возми, никакой Злючкин издесь нет. Убигайтесь к чегту з вашей Злючкин!

Жирков почему-то сконфузился, виновато кашлянул и отошел от крыльца. Наступив в лужу и набрав в калошу, он сердито плюнул, но тотчас же опять засмеялся. Приключение его с каждой минутой становилось всё курьезнее и курьезнее. Он с особенным удовольствием думал о том, как завтра он будет описывать приятелям и самой Наде свое приключение, как передразнит голос мужа и всхлипыванье калош... Приятели, наверное, будут рвать животы от смеха.

«Одно только подло: платье промокнет! — думал он. — Не будь этого платья, я давно бы уже в будке спал».

Он сел на корзину, чтобы заслонить ее собою от дождя, но с его промокшей крылатки и со шляпы потекло сильнее, чем с неба.

— Тьфу, чтоб тебя чёрт взял!

Простояв полчаса на дожде, Жирков вспомнил о своем здоровье.

«Этак, чего доброго, горячку схватишь, — подумал он. — Удивительное положение! Нешто еще раз позвонить? А? Честное слово, позвоню... Если муж отворит, то соврну что-нибудь и отдам ему платье... Не до утра же мне здесь сидеть! Э, была не была! Звони!»

В школьническом задоре, показывая двери и потемкам язык, Жирков дернул за шишечку. Прошла минута в молчании; он еще раз дернул.

— Кто издесь? — спросил сердитый голос с акцентом.

— Здесь m-me Буазо живет? — спросил почтительно Жирков.

— А-а? Какому чегту вам надо?

— Модистка m-me Катишь прислала г-же Буазо платье. Извините, что так поздно. Дело в том, что г-жа Буазо просила прислать платье как можно скорее... к утру... Я выехал из города вечером, но... погода отвратительная... едва доехал... Я не...

Жирков не договорил, потому что перед ним отворилась дверь и на пороге, при колеблющемся свете лампочки, предстал пред ним m-г Буазо, точно такой же, как и на карточке, с солдатской рожой и с длинными усами; впрочем, на карточке он был изображен франтом, теперь же стоял в одной сорочке.

— Я не стал бы вас беспокоить, — продолжал Жирков, — но m-me Буазо просила прислать платье как можно скорее. Я брат m-me Катишь... и... и к тому же погода отвратительная.

— Карьошо, — сказал Буазо, угрюмо двигая бровями и принимая корзину. — Блягодарите ваш сестра. Моя жена сегодня до первой час ждала платье. Ей обещал привезти его какой-то мусье.

— Также вот потрудитесь передать сыр и букет, которые ваша супруга забыла у m-me Катишь.

Буазо принял сыр и букет, понюхал то и другое и, не запирая двери, остановился в ожидательной позе.

Он глядел на Жиркова, а Жирков на него. Прошла минута в молчании. Жирков вспомнил своих приятелей, которым будет завтра рассказывать о своем приключении, и ему захотелось в довершение курьеза устроить какую-нибудь штуку посмешнее. Но штука не придумывалась, а француз стоял и ждал, когда он уйдет.

— Ужасная погода, — пробормотал Жирков. — Темно, грязно и мокро. Я весь промок.

— Да, *monsieur*, вы завсем мокрый.

— И к тому же мой извозчик уехал. Не знаю, куда деваться. Вы были бы очень любезны, если бы позволили мне побыть здесь в сенях, пока пройдет дождь.

— А? *Bien*³³, *monsieur*. Вы снимайте калоши и идите сюда. Это ничво, можно.

Француз запер дверь и ввел Жиркова в маленькую, очень знакомую залу. В зале было всё по-старому, только на столе стояла бутылка с красным вином и на стульях, поставленных в ряд среди залы, лежал узенький, тощенький матрасик.

— Холодно, — сказал Буазо, ставя на стол лампу. — Я только вчера приехал из Париж. Везде карьошо, тепло, а тут в Расея холод и эти кумыри... крамори... *les cousins*³⁴. Проклятый кузаются.

Буазо налил полстакана вина, сделал очень сердитое лицо и выпил.

— Всю ночь не спал, — сказал он, садясь на матрасик. — *Les cousins* и какой-то скотин всё звонит, спрашивает Злюшкин.

И француз умолк и поник головою, вероятно, в ожидании, когда пройдет дождь. Жирков почел долгом приличия поговорить с ним.

— Вы, значит, были в Париже в очень интересное время, — сказал он. — При вас Буланже в отставку вышел.

Далее Жирков поговорил про Греви, Деруледи, Зола, и мог убедиться, что эти имена француз слышал от него только впервые. В Париже он знал только несколько торговых фирм и свою *tante*³⁵ *m-me Blesser* и больше никого. Разговор о политике и литературе кончился тем, что Буазо еще раз сделал сердитое лицо, выпил вина и разлегся во всю свою длину на тощеньком матрасике.

«Ну, права этого супруга, вероятно, не особенно широки, — думал Жирков. — Чёрт знает что за матрац!»

Француз закрыл глаза; пролежав покойно с четверть часа, он вдруг вскочил и тупо, точно ничего не понимая, уставился своими оловянными глазами на гостя, потом сделал сердитое лицо и выпил вина.

— Проклятый кумари, — проворчал он и, потеряв одной шершавой ногой о другую, вышел в соседнюю комнату.

Жирков слышал, как он разбудил кого-то и сказал:

— *Il y lá un monsieur roux, qui t'a apporté une robe*³⁶.

Скоро он вернулся и еще раз приложился к бутылке.

— Сейшац жена выйдет, — сказал он, зевая. — Я понимаю, вам деньги нужно?

«Час от часу не легче, — думал Жирков. — Прекурьезно! Сейчас выйдет Надежда Осиповна. Конечно, сделаю вид, что не знаю ее».

Послышалось шуршание юбок, отворилась слегка дверь, и Жирков увидел знакомую кудрявую головку с заспанными щеками и глазами.

— Кто от *m-me* Катишь? — спросила Надежда Осиповна, но тотчас же, узнав Жиркова, вскрикнула, засмеялась и вошла в залу. — Это ты? — спросила она. — Что это за комедия? Да откуда ты такой грязный?

Жирков покраснел, сделал строгие глаза и, решительно не зная, как держать себя, покосился на Буазо.

— Ах, понимаю! — догадалась барыня. — Ты, вероятно, Жака испугался? Забыла я предупредить Дуняшу... Вы знакомы? Это мой муж Жак, а это Степан Андреич... Платье привез? Ну, *merci*, друг... Пойдем же, а то я спать хочу. А ты, Жак, спи... — сказала она мужу. — Ты устал в дороге.

Жак удивленно поглядел на Жиркова, пожал плечами и с сердитым лицом направился к бутылке. Жирков тоже пожал плечами и пошел за Надеждой Осиповной.

Он глядел на мутное небо, на грязную дорогу и думал:

«Грязно! И куда только не заносит нелегкая интеллигентного человека!»

И он стал думать о том, что нравственно и что безнравственно, о чистом и нечистом. Как часто

³³ хорошо (*франц.*)

³⁴ комары (*франц.*)

³⁵ тетку (*франц.*)

³⁶ Там рыжий господин принес тебе платье (*франц.*)

случается это с людьми, попавшими в нехорошее место, он вспомнил с тоской о своем рабочем кабинете с бумагами на столе, и его потянуло домой.

Он тихо прошел через залу мимо спавшего Жака.

Всю дорогу он молчал, старался не думать о Жаке, который почему-то лез ему в голову, и уж не заговаривал с извозчиком. На душе у него было так же нехорошо, как и на желудке.

О любви

На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны.

Алехин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так; он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бранил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности.

Стали говорить о любви.

— Как зарождается любовь, — сказал Алехин, — почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло, — тут у нас все зовут его мурлом, — поскольку в любви важны вопросы личного счастья — всё это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», всё же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему, — это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.

— Совершенно верно, — согласился Буркин.

— Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает — это я знаю.

Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.

— Я живу в Софьино и занимаюсь хозяйством уже давно, — начал Алехин, — с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям — кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает не много, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в саях или где-нибудь в лесной сторожке — какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта

прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.

В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черному сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, всё юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди — это такая роскошь!

В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал:

— Знаете что? Пойдемте ко мне обедать.

Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня всё было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоду у моей матери.

В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна всё покачивала головой и говорила мужу:

— Дмитрий, как же это так?

Луганович — это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.

— Мы с вами не поджигали, — говорил он мягко, — и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму.

И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем всё лето провел я в Софьиной безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.

Позднее осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю — рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых, ласковых глаз, и опять то же чувство близости.

Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.

— Вы похудели, — сказала она. — Вы были больны?

— Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю.

— У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.

И она засмеялась.

— Но сегодня у вас вялый вид, — повторила она. — Это вас старит.

На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин и молодая мать всё уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.

— Кто там? — слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным.

— Это Павел Константиныч, — отвечала горничная или няня.

Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала:

— Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?

Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос,

шаги всякий раз производили на меня всё то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик.

Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:

— Если вы, Павел Константиныч, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.

И уши краснели у него от волнения. А случалось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил:

— Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок.

И подавал запонки, портсигар или лампу, и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. И? первое время я часто брал займы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом!

Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей, — понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей; и я всё старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.

А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг друга?

И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, — и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка.

Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне,

что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.

В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.

Мы молчали и всё молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:

— Поздравляю вас.

Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:

— Я так и знала, что вы забудете.

К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.

Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, — о, как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было всё то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.

Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались — навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, — оно было пусто, — и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком...

Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.

Пересолил

Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию «Гнилушки». До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать-сорок. (Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет, а коли возница с мухой да кони наморены, то целых пятьдесят наберется.)

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? — обратился землемер к станционному жандарму.

— Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовых... Да вам куда ехать?

— В Девкино, имение генерала Хохотова.

— Что ж? — зевнул жандарм. — Ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров.

Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти.

— Чёрт знает какая у тебя телега! — поморщился землемер, влезая в телегу. — Не разберешь, где у нее зад, где перед...

— Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад...

Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой, когда же он выбранился и

стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места.

— Этак мы всю дорогу поедем? — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашую езду с душой выворачивающей тряской.

— До-о-едем! — успокоил возница. — Кобылка молодая, шустрая... Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь... Но-о-о, прокля...тая!

Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная, замерзшая равнина, без конца и краю... Поедешь по ней, так наверно заедешь к чёрту на кулички. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря... Налево от дороги в темнеющем воздухе высились какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны всё поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно.

«Какая, однако, здесь глушь! — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. — Ни кола ни двора. Не ровен час — нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек пали... Да и возница ненадежный... Ишь, какая спина! Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон! И морда у него зверская, подозрительная».

— Эй, милый, — спросил землемер, — как тебя зовут?

— Меня-то? Клим.

— Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?

— Ничего, бог миловал... Кому ж шалить?

— Это хорошо, что не шалят... Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера, — соврал землемер. — А с револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться...

Стемнело. Телега вдруг закрипела, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево.

«Куда же это он меня повез? — подумал землемер. — Ехал всё прямо и вдруг налево. Чего доброго, завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу и... и... Бывают ведь случаи!»

— Послушай, — обратился он к вознице. — Так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль... Я люблю с разбойниками драться... На вид-то я худой, болезненный, а силы у меня, словно у быка... Однажды напало на меня три разбойника... Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что... что, понимаешь, богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю... Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, вроде тебя, и... и сковырнешь.

Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке.

— Да, брат... — продолжал землемер. — Не дай бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит... Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я казенный, нужный... Я вот еду, а начальству известно... так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худа не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники да сотские понатыканы... По... по...постой! — заорал вдруг землемер. — Куда же это ты въехал? Куда ты меня везешь?

— Да нешто не видите? Лес!

«Действительно, лес... — подумал землемер. — А я-то испугался! Однако, не нужно выдавать своего волнения... Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь... Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь как мчится!»

— Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?

— Я ее не гоню. Сама разбежалась... Уж как разбежится, так никаким средством ее не остановишь... И сама она не рада, что у ней ноги такие.

— Врешь, брат! Вижу, что врешь! Только я тебе не советую так быстро ехать. Попритерди-ка лошадь... Слышишь? Попритерди!

— Зачем?

— А затем... затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтоб они нас догнали... Они обещали догнать меня в этом лесу... С ними веселей будет ехать... Народ здоровый, коренастый... у каждого по пистолету... Что это ты всё оглядываешься и движешься, как на иголках? а? Я, брат, тово... брат... На меня нечего оглядываться... интересного во мне ничего нет... Разве вот револьверы только... Изволь, если хочешь, я их выну, покажу... Изволь...

Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще.

— Караул! — заголосил он. — Караул! Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей души! Караул!

Послышались скорые, удаляющиеся шаги, треск хвороста — и всё смолкло... Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобней на телеге и стал думать.

«Убежал... испугался, дурак... Ну, как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что

дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл... Как быть?» — Клим! Клим!

— Клим!.. — ответило эхо.

От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фыркание тощей кобылки, землемера стало коробить вдоль спины, словно холодным терпугом.

— Климуска! — закричал он. — Голубчик! Где ты, Климуска?

Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон.

— Клим! Это ты, голубчик? Поедем!

— У... убьешь!

— Да я пошутил, голубчик! Накажи меня господь, пошутил! Какие у меня револьверы! Это я от страха врал! Сделай милость, поедем! Мерзну!

Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадей и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру.

— Ну, чего, дура, испугался? Я... я пошутил, а ты испугался... Садись!

— Бог с тобой, барин, — проворчал Клим, влезая в телегу. — Если б знал, и за сто целковых не повез бы. Чуть я не помер от страха...

Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.

По делам службы

Исправляющий должность судебного следователя и уездный врач ехали на вскрытие в село Сырню. По дороге их захватила метель, они долго кружили и приехали к месту не в полдень, как хотели, а только к вечеру, когда уже было темно. Остановились на ночлег в земской избе. Тут же, в земской избе, по случайности, находился и труп, труп земского страхового агента Лесницкого, который три дня назад приехал в Сырню и, расположившись в земской избе и потребовав себе самовар, застрелился совершенно неожиданно жля всех; и то обстоятельство, что он покончил с жизнью как-то странно, за самоваром, разложив на столе закуски, дало многим повод заподозрить тут убийство; понадобилось вскрытие.

Доктор и следователь в сених стряхивали с себя снег, стуча ногами, а возле стоял сотский Илья Лошадин, старик, и светил им, держа в руках жестяную лампочку. Сильно пахло керосином.

— Ты кто? — спросил доктор.

— Цоцкай... — ответил сотский.

Он и на почте так расписывался: цоцкай.

— А где же понятия?

— Должно, чай пить пошли, ваше высокоблагородие.

Направо была чистая комната, «приезжая», или господская, налево черная, с большой печью и полатями. Доктор и следователь, а за ними сотский, держа лампочку выше головы, вошли в чистую. Здесь на полу, у самых ножек стола, лежало неподвижно длинное тело, покрытое белым. При слабом свете лампочки, кроме белого покрывала, ясно были видны еще новые резиновые калоши, и все тут было нехорошо, жутко: и темные стены, и тишина, и эти калоши, и неподвижность мертвого тела. На столе был самовар, давно уже холодный, и вокруг него свертки, должно быть с закусками.

— Стреляться в земской избе — как это бестактно! — проговорил доктор. — Пришла охота пустить себе пулю в лоб, ну и стрелялся бы у себя в доме, где-нибудь в сарае.

Он, как был, в шапке, в шубе и в валенках, опустился на скамью; его спутник, следователь, сел напротив.

— Эти истерики и неврастеники большие эгоисты, — продолжал доктор с горечью. — Когда неврастеник спит с вами в одной комнате, то шуршит газетой; когда он обедает с вами, то устраивает сцену своей жене, не стесняясь вашим присутствием; и когда ему приходит охота застрелиться, то вот он стреляется в деревне, в земской избе, чтобы наделать всем побольше хлопот. Эти господа при всех обстоятельствах жизни думают только о себе. Только о себе! Потому-то старики так и не любят этого нашего «нервного века».

— Мало ли чего не любят старики, — сказал следователь зевая. — Вы вот укажите старикам на то, какая разница между прежними и теперешними самоубийствами. Прежний, так называемый порядочный человек стрелялся оттого, что казенные деньги растратил, а теперешний — жизнь надоела, тоска... Что лучше?

— Жизнь надоела, тоска, но, согласитесь, можно было бы застрелиться и не в земской избе.

— Уж такое горе, — заговорил сотский, — такое горе, чистое наказание. Народ очень беспокоится,

ваше высокоблагородие, уж третью ночь не спят. Ребята плачут. Надо коров доить, а бабы в хлев не идут, боятся... Как бы в потемках барин не примерещился. Известно, глупые женщины, но которые и мужики тоже боятся. Как вечер, мимо избы не ходят в одиночку, а так, все табуном. И понятия тоже...

Доктор Старченко, мужчина средних лет, с темной бородой, в очках, и следователь Лыжин, белокурый, еще молодой, кончивший только два года назад и похожий больше на студента, чем на чиновника, сидели молча, задумавшись. Им было досадно, что они опоздали. Нужно было теперь ждать до утра, оставаться здесь ночевать, а был еще только шестой час, и им представлялись длинный вечер, потом длинная, темная ночь, скука, неудобство их постелей, тараканы, утренний холод; и, прислушиваясь к метели, которая выла в трубе и на чердаке, они оба думали о том, как все это не похоже на жизнь, которой они хотели бы для себя и о которой когда-то мечтали, и как оба они далеки от своих сверстников, которые теперь в городе ходят по освещенным улицам, не замечая непогоды, или собираются теперь в театр, или сидят в кабинетах за книгой. О, как дорого дали бы они теперь, чтобы только пройтись по Невскому или по Петровке в Москве, послушать порядочного пения, посидеть час-другой в ресторане...

— У-у-у-у! — пела метель на чердаке, и что-то снаружи хлопало злобно, должно быть вывеска на земской избе. — У-у-у-у!

— Как вам угодно, а я не желаю тут оставаться, — сказал Старченко, поднимаясь. — Еще шестой час, спать рано, я поеду куда-нибудь. Тут недалеко живет фон Тауниц, всего три версты от Сырни. Поеду к нему, проведу там вечер. Сотский, ступай скажи ямщику, чтобы не распрягал. А вы как? — спросил он у Лыжина.

— Не знаю. Должно быть, спать лягу.

Доктор запахнул шубу и вышел. Слышно было, как он разговаривал с ямщиком, как на озябших лошадях вздрагивали бубенчики. Уехал.

— Тебе, барин, здесь ночевать не годится, — сказал сотский, — иди в ту половину. Там не чисто, да уж одну ночь ничего. Я сейчас самовар возьму у мужика, заставлю, потом этого навалю тебе сена, спи, ваше высокоблагородие, с богом.

Немного погодя следователь сидел в черной половине за столом и пил чай, а сотский Лошадин стоял у двери и говорил. Это был старик за шестьдесят лет, небольшого роста, очень худой, сгорбленный, белый, на лице наивная улыбка, глаза слезились, и все он почмокивал, точно сосал леденец. Он был в коротком полушубке и в валенках и не выпускал из рук палки. Молодость следователя, повидимому, вызывала в нем жалость, и потому, вероятно, он говорил ему «ты».

— Старшина Федор Макарыч приказывал, как приедет становой или следователь, чтобы ему доложить, — говорил он. — Значит, такое дело, надо идти теперь... До волости четыре версты, метель, снегу намело страсть, пожалуй, придешь туда не раньше, как в полночь. Ишь гудет как.

— Старшина мне не нужен, — сказал Лыжин. — Ему тут нечего делать.

Он с любопытством посматривал на старика и спросил:

— Скажи, дед, сколько лет ты ходишь сотским?

— Сколько? Да уж лет тридцать. После воли через пять лет стал ходить, вот и считай. С того времени каждый день хожу. У людей праздник, а я все хожу. На дворе Святая, в церквах звон, Христос воскрес, а я с сумкой. В казначейство, на почту, к становому на квартиру, к земскому, к податному, в управу, к господам, к мужикам, ко всем православным христианам. Ношу пакеты, повестки, окладные листы, письма, бланки разные, ведомости, и значит, господин хороший, ваше высокоблагородие, нынче такие бланки пошли, чтобы цифры записывать, желтые, белые, красные, — и всякий барин, или батька, или богатый мужик беспрерывно записать должен раз десять в год, сколько у него посеяно и убрано, сколько у него четвертей или пудов ржи, сколько овса, сена и какая, значит, погода и разные там насекомые. Конечно, пиши что хочешь, тут одна форма, а ты ходи, раздавай листки, а потом опять ходи и собирай. Вот, к примеру сказать, барина потрошить не к чему, сам знаешь, пустое дело, только руки поганить, а ты вот потрудился, ваше высокоблагородие, приехал, потому форма; ничего тут не поделаешь. Тридцать лет хожу по форме. Летом оно ничего, тепло, сухо, а зимой или осенью оно неудобно. Случалось, и утопал и замерзал — всего бывало. И в лесу сумку отнимали недобрые люди, и в шею били, и под судом был...

— За что под судом?

— За мошенничество.

— То есть как за мошенничество?

— А так, значит, писарь Хрисанф Григорьев подрядчику чужие доски продал, обманул, значит. Я был при этом деле, меня за водкой в трактир посылали; ну, со мной писарь не делился, даже стаканчика не поднес, но как я по нашей бедности, по видимости, значит, человек ненадежный, не стоящий, то нас обоих судили; его в острог, а меня, дал бог, оправдали по всем правам. В суде такую бумагу читали. И все в мундирах. На суде-то. Я так тебе скажу, ваше высокоблагородие, наша служба для непривычного — не приведи бог, погибель сущая, а для нас ничего. Когда не ходишь, так даже ноги болят. И дома для нас хуже. Дома в волости писарю печь затопи, писарю воды принеси, писарю сапоги почисть.

— А сколько ты получаешь жалованья? — спросил Лыжин.

— Восемьдесят четыре рубля в год.

— Небось ведь и доходишки есть. Не без того?

— Какие наши доходишки! Нынешние господа на чай дают редко когда. Господа нынче строгие, обижаются все. Ты ему бумагу принес — обижается, шапку перед ним снял — обижается. Ты, говорит, не с того крыльца зашел, ты, говорит, пьяница, от тебя луком воняет, болван, говорит, сукин сын. Есть, конечно, и добрые, да что с них возьмешь, только насмежаются и разные прозвания. К примеру, барин Алтухин; и добрый и, глядишь, чверезый, в своем уме, а как увидит, так и кричит, сам не понимает что. Прозвание мне такое дал. Ты, говорит...

Сотский проговорил какое-то слово, но так тихо, что нельзя было разобрать.

— Как? — спросил Лыжин. — Ты повтори.

— Администрация! — громко повторил сотский. — Давно уж так зовет, лет шесть. Здравствуй, администрация! Но я ничего, пускай, бог с ним. Случается, какая барыня вышлет стаканчик водочки и кусок пирога, ну, выпьешь за ее здоровье. А больше мужики подают; мужики — те душевней, бога боятся: кто хлебца, кто щец даст похлебать, кто и поднесет. Старосты чайком потчуют в трактире. Вот сейчас понятия пошли чай пить. «Лошадин, говорят, побудь тут за нас, постереги», — и по копейке дали. Страшно им с непривычки. А вчера дали пятиалтынничек и стаканчик поднесли.

— А тебе разве не страшно?

— Страшно, барин, да ведь наше дело такое — служба, никуда от ней не уйдешь. Летось веду арестанта в город, а он меня — по шее! по шее! по шее! А кругом поле, лес, — куда от него уйдешь? Так и тут вот. Барина, Лесницкого, я еще эканького помню, и отца его знал, и мамашу. Я из деревни Недощотовой, а они, господа Лесницкие, от нас не больше, как в версте, и того меньше, межа с межой. И была у господина Лесницкого сестра девица, богобоязливая и милосердная. Помяни, господи, душу рабы твоей Юлии, вечная память. Замуж не пошла, а когда помирала, то все свое добро поделила; на монастырь записала сто десятин, да нам, обществу крестьян деревни Недощотовой, на помин души, двести, а братец ейный, барин-то, бумагу спрятал, сказывают, в печке сжег и всю землю себе забрал. Думал, значит, себе на пользу, ан — нет, погоди, на свете неправдой не проживешь, брат. Барин потом на духу лет двадцать не был, его от церкви отшибало, значит, и без покаяния помер, лопнул. Толстючий был. Так и лопнул вдоль. Потом у молодого барина, у Сережи-то, все за долги забрали, все как есть; ну, в науках далеко не пошел, ничего не может, и председатель земской управы, дядя его, «возьму-ка, думает, его, Сережу-то, к себе в агенты, пускай страхует, дело немудрое». А барин молодой, гордый, тоже хочется, да пошире, да повидней, да повольготней, ну, обидно, значит, в тележке трепаться по уезду, с мужиками разговаривать; ходит и все в землю глядит, глядит и молчит; окликнешь его у самого уха: «Сергей Сергеич!» — а он оглянется этак: «А?» — и опять глядит в землю. А теперь, видишь, руки на себя наложил. Нескладно, ваше высокоблагородие, неправильно это самое и не поймешь, что оно такое на свете, господи милостивый. Сказать, отец был богатый, а ты бедный, обидно, это конечно, ну, да что ж, привыкать надо. Я тоже жил хорошо, у меня, ваше высокоблагородие, были две лошади, три коровы, овец штук двадцать держал, а пришло время, с одной сумочкой остался, да и та не моя, а казенная, и теперь, в нашей Недощотовой, ежели говорить, мой дом что ни на есть хуже. У Мокея было четыре лакея, а теперь Мокей сам лакей. У Петрака было четыре батрака, а теперь Петрак сам батрак.

— Отчего же ты обеднял? — спросил следователь.

— Сыны мои водку пьют шибко. Так пьют, так пьют, что сказать нельзя, не поверишь.

Лыжин слушал и думал о том, что вот он, Лыжин, уедет рано или поздно опять в Москву, а этот старик останется здесь навсегда и будет все ходить и ходить; и сколько еще в жизни придется встречать таких истрепанных, давно нечесанных, «не стоящих» стариков, у которых в душе каким-то образом крепко сжились пятиалтынничек, стаканчик и глубокая вера в то, что на этом свете неправдой не проживешь. Потом наскучило слушать, и он приказал принести сена для постели. В приезжей стояла железная кровать с подушкой и одеялом, и ее можно было принести оттуда, но возле нее почти три дня лежал покойник (который, быть может, сидел на нее перед смертью), и теперь на ней было бы неприятно спать...

«Еще только половина восьмого, — подумал Лыжин, взглянув на часы. — Как это ужасно!»

Спать не хотелось, но от нечего делать, чтобы какнибудь скоротать время, он лег и укрылся пледом. Лошадин, убирая посуду, выходил и входил несколько раз, почмокивая и вздыхая, все топтался у стола, наконец взял свою лампочку и вышел; и, глядя сзади на его длинные седые волосы и согнутое тело, Лыжин подумал: «Точно колдун в опере».

Стало темно. Должно быть, за облаками была луна, так как ясно были видны окна и снег на рамах.

— У-у-у-у! — пела метель. — У-у-у-у!

— Ба-а-а-тюшки! — провыла баба на чердаке или так только слышалось. — Ба-а-а-тюшки мои-и!

— Ббух! — ударились что-то снаружи о стену. — Трах!

Следователь прислушался: никакой бабы не было, был ветер. Было прохладно, и он сверх пледа

накрылся еще шубой. Греясь, он думал о том, как все это — и метель, и изба, и старик, и мертвое тело, лежавшее в соседней комнате, — как все это было далеко от той жизни, какой он хотел для себя, и как все это было чуждо для него, мелко, неинтересно. Если бы этот человек убил себя в Москве или где-нибудь под Москвой и пришлось бы вести следствие, то там это было бы интересно, важно и, пожалуй, даже было бы страшно спать по соседству с трупом; тут же, за тысячу верст от Москвы, все это как будто иначе освещено, все это не жизнь, не люди, а что-то существующее только «по форме», как говорит Лошадин, все это не оставит в памяти ни малейшего следа и забудется, едва только он, Лыжин, выедет из Сырни. Родина, настоящая Россия — это Москва, Петербург, а здесь провинция, колония; когда мечтаешь о том, чтобы играть роль, быть популярным, быть, например, следователем по особо важным делам или прокурором окружного суда, быть светским львом, то думаешь непременно о Москве. Если жить, то в Москве, здесь же ничего не хочется, легко миришься со своей незаметной ролью и только ждешь одного от жизни — скорей бы уйти, уйти. И Лыжин мысленно носился по московским, заходил в знакомые дома, виделся с родными, товарищами, и сердце у него сладко сжималось при мысли, что ему теперь двадцать шесть лет и что если он вырвется отсюда и попадет в Москву через пять или десять лет, то и тогда еще будет не поздно и останется еще впереди целая жизнь. И, впадая в забытие, когда уже у него стали путаться мысли, он воображал длинные коридоры московского суда, себя, говорящего речь, своих сестер, оркестр, который почему-то все гудит:

— У-у-у! У-у-у!

— Бух! Трах! — раздалось опять. — Бух!

И он вдруг вспомнил, как однажды в земской управе, когда он разговаривал с бухгалтером, к конторке подошел какой-то господин с темными глазами, черноволосый, худой, бледный; у него было неприятное выражение глаз, какое бывает у людей, которые долго спали после обеда, и оно портило его тонкий, умный профиль; и высокие сапоги, в которых он был, не шли к нему, казались грубыми. Бухгалтер представил: «Это наш земский агент».

«Так это был Лесницкий... вот этот самый...» — соображал теперь Лыжин. Он вспомнил тихий голос Лесницкого, вообразил его походку, и ему показалось, что возле него ходит теперь кто-то, ходит точно так же, как Лесницкий.

Вдруг стало страшно, похолодела голова.

— Кто здесь? — спросил он с тревогой.

— Цоцкай.

— Что тебе тут нужно?

— Я, ваше высокоблагородие, спроситься. Вы сказали давеча, старшина не нужен, да я боюсь, не осерчал бы. Приказывал прийти. Сходить нешто?

— Ну тебя! Надоел... — проговорил с досадой Лыжин и опять укрылся.

— Не осерчал бы... Пойду, ваше высокоблагородие, счастливо оставаться.

И Лошадин вышел. В сенях покашливали и говорили вполголоса. Должно быть, понятые вернулись.

«Завтра отпустим этих бедняков пораньше... — думал следователь. Начнем вскрытие, как только рассветет».

Он стал забываться, как вдруг опять чьи-то шаги, но не робкие, а быстрые, шумные. Хлопнула дверь, голоса, чирканье спичкой...

— Вы спите? Вы спите? — спрашивал торопливо и сердито доктор Старченко, зажигая спичку за спичкой; он был весь покрыт снегом, и от него веяло холодом. — Вы спите? Вставайте, поедem к фон Тауницу. Он прислал за вами своих лошадей. Поедемте, там по крайней мере поужинаете, уснете по-человечески. Видите, я сам за вами приехал. Лошади прекрасные, мы в двадцать минут докатим.

— А который теперь час?

— Четверть одиннадцатого.

Лыжин, сонный, недовольный, надел валенки, шубу, шапку и башлык и вместе с доктором вышел наружу. Мороза большого не было, но дул сильный, пронзительный ветер и гнал вдоль улицы облака снега, которые, казалось, бежали в ужасе; под забором и у крылец уже навалило высокие сугробы. Доктор и следователь сели в сани, и белый кучер перегнулся к ним, чтобы застегнуть полость. Обоим было жарко.

— Трогай!

Поехали по деревне. «Бразды пушистые взрывая...» — вяло думал следователь, глядя, как пристыжная работала ногами. Во всех избах светились огни, точно был канун большого праздника: это крестьяне не спали, боялись покойника. Кучер молчал угрюмо; должно быть, соскучился, пока стоял около земской избы, и теперь тоже думал о покойнике.

— А у Тауница, — сказал Старченко, — когда узнали, что вы остались ночевать в избе, то все набросились на меня, почему я это вас с собой не взял.

На выезде из деревни, на повороте, кучер вдруг крикнул во все горло:

— С дороги!

Промелькнул какой-то человек; он стоял по колена в снегу, сойдя с дороги, и смотрел на тройку; следователь видел палку крючком и бороду и на боку сумку, и ему показалось, что это Лошадин, и даже показалось, что он улыбается. Мелькнул и исчез.

Дорога шла сначала по краю леса, потом по широкой лесной просеке; мелькали и старые сосны, и молодой березняк, и высокие молодые, корявые дубы, одиноко стоявшие на полянах, где недавно срубили лес, но скоро все смешалось в воздухе, в облаках снега; кучер говорил, что он видит лес, следовательно же не было видно ничего, кроме пристяжной. Ветер дул в спину.

Вдруг лошади остановились.

— Ну, что еще? — сердито спросил Старченко.

Кучер молча слез с козел и стал бегать вокруг саней, наступая на пятки; делал он круги все больше и больше, все удаляясь от саней, и было похоже, что он танцует; наконец, вернулся и стал сворачивать вправо:

— С дороги сбился, что ли? — спросил Старченко.

— Ничего-о-о...

Вот какая-то деревушка, ни одного огонька в ней. Опять лес, поле, опять сбились с дороги и кучер слезал с козел и танцевал. Тройка понесла по темной аллее, понесла быстро, и горячая пристяжная била по передку саней. Здесь деревья шумели гулко, страшно, и не было видно ни зги, точно неслись куда-то в пропасть, и вдруг ударил в глаза яркий свет подъезда и окон, раздался добродушный, залихватый лай, голоса... Приехали.

Пока внизу в передней снимали шубы и валенки, наверху играли на рояле «Un petit verre de Cliquot»³⁷, и было слышно, как дети топали ногами. На приезжих сразу пахло теплом, запахом старых барских покоев, где, какая бы ни была погода снаружи, живется так тепло, чисто, удобно.

— Вот и прекрасно, — говорил фон Тауниц, толстяк с невероятно широкой шеей и с бакенами, пожимая следователю руку. — Вот и прекрасно. Милости прошу, очень рад познакомиться. Мы ведь с вами немножко коллеги. Когда-то я был товарищем прокурора, но не долго, всего два года; приехал сюда хозяйничать и здесь состарился. Старый хрен, одним словом. Милости прошу, — продолжал он, очевидно сдерживая свой голос, чтобы не говорить громко; он и гости поднимались наверх. — Жены у меня нет, умерла, а это, рекомендую, мои дочери. — И, обернувшись, он крикнул вниз громовым голосом: — Скажите там Игнату, чтобы завтра подавал к восьми часам!

В зале находились его четыре дочери, молодые девушки, хорошенькие, все в серых платьях и одинаково причесанные, и их кузина с детьми, тоже молодая и интересная. Старченко, который был знаком с ними, тотчас же стал просить спеть что-нибудь, и две барышни долго уверяли, что они не умеют петь и что у них нет нот, потом кузина села за рояль, и они спели дрожащими голосами дуэт из «Пиковой дамы». Опять заиграли «Un petit verre de Cliquot», и дети запрыгали, топая в такт ногами. И Старченко запрыгал. Все хохотали.

Потом дети прощались, уходя спать. Следователь смеялся, танцевал кадрили, ухаживал, а сам думал: не сон ли все это? Черная половина земской избы, куча сена в углу, шорох тараканов, противная нищенская обстановка, голоса понятых, ветер, метель, опасность сбиться с дороги, и вдруг эти великолепные светлые комнаты, звуки рояля, красивые девушки, кудрявые дети, веселый, счастливый смех — такое превращение казалось ему сказочным; и было невероятно, что такие превращения возможны на протяжении каких-нибудь трех верст, одного часа. И скучные мысли мешали ему веселиться, и он все думал о том, что это кругом не жизнь, а клочки жизни, отрывки, что все здесь случайно, никакого вывода сделать нельзя; и ему даже было жаль этих девушек, которые живут и кончат свою жизнь здесь в глуши, в провинции, вдали от культурной среды, где ничего не случайно, все осмысленно, законно и, например, всякое самоубийство понятно, и можно объяснить, почему оно и какое оно имеет значение в общем круговороте жизни. Он полагал, что если окружающая жизнь здесь, в глуши, ему непонятна и если он не видит ее, то это значит, что ее здесь нет вовсе.

За ужином шел разговор о Лесницком.

— Он оставил жену и ребенка, — говорил Старченко. — Неврастеникам и вообще людям, у которых нервная система не в порядке, я запретил бы вступать в брак; я отнял бы у них право и возможность размножить себе подобных. Производить на свет нервных детей — это преступление.

— Несчастный молодой человек, — говорил фон Тауниц, тихо вздыхая и покачивая головой. — Сколько надо прежде передумать, выстрадать, чтобы наконец решиться отнять у себя жизнь... молодую жизнь. В каждой семье может случиться такое несчастье, и это ужасно. Трудно это переносить, нестерпимо...

И все девушки слушали молча, с серьезными лицами, глядя на отца. Лыжин чувствовал, что ему тоже со своей стороны нужно сказать что-нибудь, но он ничего не мог придумать и сказал только:

37 «Стаканчик Клико».

— Да, самоубийства — явление нежелательное.

Он спал в теплой комнате, в мягкой постели, укрытый одеялом, под которым была тонкая свежая простыня, но почему-то не испытывал удобства; быть может, это оттого, что в соседней комнате долго разговаривали доктор и фон Тауниц и вверху над потолком и в печке метель шумела так же, как в земской избе, и так же выла жалобно:

— У-у-у-у!

У Тауница года два назад умерла жена, и он до сих пор еще не помирился с этим и, о чем бы не говорил, всякий раз вспоминал о жене; и в нем уже не осталось ничего прокурорского.

«Неужели и я когда-нибудь могу дойти до такого состояния?» думал Лыжин, засыпая и слушая сквозь стену его сдержанный, точно сиротский голос.

Следователь спал беспокойно. Было жарко, неудобно, и ему казалось во сне, что он не в доме Тауница и не в мягкой чистой постели, а все еще в земской избе на сене, и слышит, как вполголоса говорят понятия; ему казалось, что Лесницкий близко, в пятнадцати шагах. Ему опять вспомнилось во сне, как земский агент, черноволосый, бледный, в высоких запыленных сапогах подходит к конторке бухгалтера. «Это наш земский агент...» Потом ему представилось, будто Лесницкий и сотский Лошадин шли в поле по снегу, бок о бок, поддерживая друг друга; метель кружила над ними, ветер дул в спины, а они шли и подпевали:

— Мы идем, мы идем, мы идем.

Старик был похож на колдуна в опере, и оба в самом деле пели, точно в театре:

— Мы идем, мы идем, мы идем... Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в метель, по глубокому снегу... Мы не знаем покоя, не знаем радостей... Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей и вашей... У-у-у! Мы идем, мы идем, мы идем...

Лыжин проснулся и сел в постели. Какой смутный, нехороший сон! И почему агент и сотский приснились вместе? Что за вздор! И теперь, когда у Лыжина сильно билось сердце и он сидел в постели, охватив голову руками, ему казалось, что у этого страхового агента и у сотского в самом деле есть что-то общее в жизни. Не идут ли они и в жизни бок о бок, держась друг за друга? Какая-то связь, невидимая, но значительная и необходимая, существует между обоими, даже между ними и Тауницем, и между всеми, всеми; в этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно, все полно одной общей мысли, все имеет одну душу, одну цель, и чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь, дар, который дается, очевидно, не всем. И несчастный, надорвавшийся, убивший себя «неврастеник», как называл его доктор, и старик мужик, который всю свою жизнь каждый день ходит от человека к человеку, — это случайности, отрывки жизни для того, кто и свое существование считает случайным, и это части одного организма, чудесного и разумного для того, кто и свою жизнь считает частью этого общего и понимает это. Так думал Лыжин, и это было его давней затаенною мыслью, и только теперь она развернулась в его сознании широко и ясно.

Он лег и стал засыпать; и вдруг опять они идут вместе и поют:

— Мы идем, мы идем, мы идем... Мы берем от жизни то, что в ней есть самого тяжелого и горького, а вам оставляем легкое и радостное, и вы можете, сидя за ужином, холодно и здраво рассуждать, отчего мы страдаем и гибнем и отчего мы не так здоровы и довольны, как вы.

То, что они пели, и раньше приходило ему в голову, но эта мысль сидела у него как-то позади других мыслей и мелькала робко, как далекий огонек в туманную погоду. И он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни — как это ужасно! Мириться с этим, а для себя желать светлой, шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни — это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой, или людей слабых, заброшенных, о которых только говорят иногда за ужином, с досадой или с усмешкой, но к которым не идут на помощь... И опять:

— Мы идем, мы идем, мы идем...

Точно кто стучит молотком по вискам.

Утром проснулся он рано, с головною болью, разбуженный шумом; в соседней комнате фон Тауниц говорил громко доктору:

— Вам невозможно теперь ехать. Посмотрите, что делается на дворе! Вы не спорьте, а спросите лучше у кучера: он не повезет вас в такую погоду и за миллион.

— Но ведь только три версты, — говорил доктор умоляющим голосом.

— Да хоть полверсты. Коли нельзя, так и нельзя. Выедете только за ворота, там ад кромешный, в одну минуту собьетесь с дороги. Ни за что не отпущу, как вам угодно.

— Надо быть, к вечеру утихнет, — сказал мужик, топивший печь.

И доктор в соседней комнате стал говорить о суровой природе, влияющей на характер русского человека, о длинных зимах, которые, стесняя свободу передвижения, задерживают умственный рост людей, а

Лыжин с досадой слушал эти рассуждения, смотрел в окна на сугробы, которые намело на забор, смотрел на белую пыль, заполнявшую все видимое пространство, на деревья, которые отчаянно гнулись то вправо, то влево, слушал вой и стуки и думал мрачно:

«Ну, какую тут можно вывести мораль? Метель и больше ничего...»

В полдень завтракали, потом бродили по дому без цели, подходили к окнам.

«А Лесницкий лежит, — думал Лыжин, глядя на вихри снега, которые кружились неистово на сугробах. — Лесницкий лежит, понятия ждут...»

Говорили о погоде, о том, что метель продолжается обыкновенно двое суток, редко более. В шесть часов обедали, потом играли в карты, пели, танцевали, наконец ужинали. День прошел, легли спать.

Ночью под утро все успокоилось. Когда встали и поглядели в окна, голые ивы со своими слабо опущенными ветвями стояли совершенно неподвижно, было пасмурно, тихо, точно природе теперь было стыдно за свой разгул, за безумные ночи и волю, какую она дала своим страстям. Лошади, запряженные гусем, ожидали у крыльца с пяти часов утра. Когда совсем рассвело, доктор и следователь надели свои шубы и валенки и, простившись с хозяином, вышли.

У крыльца рядом с кучером стоял знакомый цоцкай, Илья Лошадин, без шапки, со старой кожаной сумкой через плечо, весь в снегу; и лицо было красное, мокрое от пота. Лакей, вышедший, чтобы посадить гостей в сани и укрыть им ноги, посмотрел на него сурово и сказал:

— Что ты тут стоишь, старый черт? Пошел вон отсюда!

— Ваше высокоблагородие, народ беспокоится... — заговорил Лошадин, улыбаясь наивно, во все лицо, и, видимо, довольный, что наконец увидел тех, кого так долго ждал. — Народ очень беспокоится, ребята плачут... Думали, ваше благородие, что вы опять в город уехали. Явите божескую милость, благодетели наши...

Доктар и следователь ничего не сказали, сели в сани и поехали в Сырню.

1899

Попрыгунья

I

На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые.

— Посмотрите на него: не правда ли, в нем что-то есть? — говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека.

Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в другой — прозектором. Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и всё. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать; певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя: если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица; затем несколько художников и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский, очень красивый белокурый молодой человек, лет 25, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за пятьсот рублей; он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет толк; затем виолончелист, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былинку и эпос; на бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов, — среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой

фраг и что у него приказчицкая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Золя.

Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами.

— Нет, вы послушайте! — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. — Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка-отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования! Слушайте, Рябовский... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего участия! Я тоже не спала ночи и сидела около отца, и вдруг — здравствуйте, победила добра молодца! Мой Дымов врезался по самые уши. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг бац! сделал предложение... как снег на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нем есть что-то сильное, могучее, медвежье? Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим! крикнула она мужу. — Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вот так. Будьте друзьями.

Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал:

— Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш?

II

Ольге Ивановне было 22 года, Дымову 31. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий... В столовой она оклеила стены лубочными картинками, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок.

Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояли или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и Дымова денег было очень немного, в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе, чтобы узнать театральные новости и кстати похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку, потом к кому-нибудь из знаменитостей — приглашать к себе, или отдать визит, или просто поболтать. И везде ее встречали весело и дружелюбно и уверяли ее, что она хорошая, милая, редкая... Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее, как свою, как ровню, и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояли, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но всё это не как-нибудь, а с талантом; делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому галстук — всё у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее умение быстро знакомиться и коротко сходить с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружилась и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?

В пятом часу она обедала дома с мужем. Его простота, здравый смысл и добродушие приводили ее в умиление и восторг. Она то и дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцелуями.

— Ты, Дымов, умный, благородный человек, — говорила она, — но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку, и живопись.

— Я не понимаю их, — говорил он кротко. — Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мне некогда было интересоваться искусствами.

— Но ведь это ужасно, Дымов!

— Почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины, однако же ты не ставишь им

этого в упрек. У каждого свое. Я не понимаю пейзажей и опер, но думаю так: если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь, а другие умные люди платят за них громадные деньги, то, значит, они нужны. Я не понимаю, но не понимать не значит отрицать.

— Дай, я пожму твою честную руку!

После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр или на концерт и возвращалась домой после полуночи. Так каждый день.

По средам у нее бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекали себя разными художествами. Актер из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество, виолончелист играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала. В промежутках между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе, театре и живописи. Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица: «Это он!», разумея под словом «он» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова в гостиной не было, и никто не вспоминал об его существовании. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своею добродушною кроткою улыбкой и говорил, потирая руки:

— Пожалуйте, господа, закусить.

Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином.

— Милый мой метр-д'отель! — говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга. — Ты просто очарователен! Господа, посмотрите на его лоб! Дымов, повернись в профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальского тигра, а выражение доброе и милое, как у оленя. У, милый!

Гости ели и, глядя на Дымова, думали: «В самом деле, славный малый», но скоро забывали о нем и продолжали говорить о театре, музыке и живописи.

Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла как по маслу. Впрочем, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. Дымов заразился в больнице рожей, пролежал в постели шесть дней и должен был остричь догола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надела на его стриженую голову беленький платок и стала писать с него бедуина. И обоим было весело. Дня через три после того, как он, выздоровевши, стал опять ходить в больницы, с ним произошло новое недоразумение.

— Мне не везет, мама! — сказал он однажды за обедом. — Сегодня у меня было четыре вскрытия, и я себе сразу два пальца порезал. И только дома я это заметил.

Ольга Ивановна испугалась. Он улыбнулся и сказал, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытий делать себе порезы на руках.

— Я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным.

Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения и по ночам молилась богу, но всё обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь без печалей и тревог. Настоящее было прекрасно, а на смену ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обещающая тысячу радостей. Счастью не будет конца! В апреле, в мае и в июне дача далеко за городом, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потом, с июля до самой осени, поездка художников на Волгу, и в этой поездке, как непрменный член сосьете, будет принимать участие и Ольга Ивановна. Она уже сшила себе два дорожных костюма из холстинки, купила на дорогу красок, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил:

— Так-с... Это облако у вас кричит: оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то сжеван, и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит... надо бы угол этот потемнее взять. А в общем недурственно... Хвалю.

И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала.

III

На второй день Троицы после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он всё время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбица.

Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха-горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, оне скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками,

оклеенными писчею бумагой, и с неровными щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы, а в третьей Дымов застал трех каких-то незнакомых мужчин. Двое были брюнеты с бородками, и третий совсем бритый и толстый, по-видимому — актер. На столе кипел самовар.

— Что вам угодно? — спросил актер басом, нелюдимо оглядывая Дымова. Вам Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчас придет.

Дымов сел и стал дожидаться. Один из брюнетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил:

— Может, чаю хотите?

Дымову хотелось и пить и есть, но, чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех; хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке, а вслед за нею с большим зонтом и со складным стулом вошел веселый, краснощекий Рябовский.

— Дымов! — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости. Дымов! — повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки. — Это ты! Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего?

— Когда же мне, мама? Я всегда занят, а когда бываю свободен, то все случается так, что расписание поездов не подходит.

— Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю, всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если б ты знал, как ты мил, как ты кстати приехал! Ты будешь моим спасителем. Ты один только можешь спасти меня! Завтра будет здесь преоригинальная свадьба, — продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук. — Женится молодой телеграфист на станции, некто Чикельдеев. Красивый молодой человек, ну, неглупый, и есть в лице, знаешь, что-то сильное, медвежье... Можно с него молодого варяга писать. Мы, все дачники, принимаем в нем участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе... Человек небогатый, одинокий, робкий, и, конечно, было бы грешно отказать ему в участии. Представь, после обедни венчанье, потом из церкви все пешком до квартиры невесты... понимаешь, роцца, пение птиц, солнечные пятна на траве и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов. Но, Дымов, в чем я пойду в церковь? — сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо. — У меня здесь ничего нет, буквально ничего! Ни платья, ни цветов, ни перчаток... Ты должен меня спасти. Если приехал, то, значит, сама судьба велит тебе спасти меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поезжай домой и возьми там в гардеробе мое розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое... Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там всё тюль, тюль, тюль и разные лоскутки, а под ними цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся, дуся, не помять, их потом я выберу... И перчатки купи.

— Хорошо, — сказал Дымов. — Я завтра поеду и пришлю.

— Когда же завтра? — спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. — Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в 9 часов, а венчанье в 11. Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришли с рассыльным. Ну, иди же... Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, дуся.

— Хорошо.

— Ах, как мне жаль тебя отпускать, — сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах. — И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер.

IV

В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде — не тени, а сон, что в виду этой колдовской воды с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и не интересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью — зачем же жить?

А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где-то там за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа... Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки

музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник... Всё, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы.

— Становится свежо, — сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.

Рябовский окутал ее в свой плащ и сказал печально:

— Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?

Он всё время глядел на нее, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.

— Я безумно люблю вас... — шептал он, дыша ей на щеку. — Скажите мне одно слово, и я не буду жить, брошу искусство... — бормотал он в сильном волнении. — Любите меня, любите...

— Не говорите так, — сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. — Это страшно. А Дымов?

— Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова... Ах, я ничего не знаю... Не нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение... один миг!

У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотела думать о муже, но всё ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким... В самом деле: что Дымов? почему Дымов? какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе и не сон ли он только?

«Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже, получил, — думала она, закрывая лицо руками. Пусть осуждают там, проклинают, а я вот на зло всем возьму и погибну, возьму вот и погибну... Надо испытать всё в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!»

— Ну что? Что? — бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. — Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!

— Да, какая ночь! — прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слез, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы.

— К Кинешме подходим! — сказал кто-то на другой стороне палубы.

Послышались тяжелые шаги. Это проходил мимо человек из буфета.

— Послушайте, — сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья, — принесите нам вина.

Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь:

— Я устал.

И прислонился головою к борту.

V

Второго сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после девяти часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись — самое неблагодарное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант, и вдруг, ни с того, ни с сего, схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он, мрачный, сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Всё, всё напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазные отражения лучей, прозрачную синюю даль и всё щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая! голая!» Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что всё на этом свете условно, относительно и глупо и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной... Одним словом, он был не в духе и хандрил.

Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа; воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они подельывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов? Милый Дымов! Как кротко и детски-жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой! Каждый месяц он высылал ей по рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам сто рублей, то он прислал ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человек! Путешествие утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она

испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до 20 сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо!

— Боже мой, — простонал Рябовский, — когда же наконец будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца!..

— А у тебя есть этюд при облачном небе, — сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки. — Помнишь, на правом плане лес, а на левом стадо коров и гуси. Теперь ты мог бы его кончить.

— Э! — поморщился художник. — Кончить! Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать!

— Как ты ко мне переменялся! — вздохнула Ольга Ивановна.

— Ну, и прекрасно.

У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла к печке и заплакала.

— Да, недоставало только слез. Перестаньте! У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу.

— Тысячи причин! — всхлипнула Ольга Ивановна. — Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да! — сказала она и зарыдала. — Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы всё стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя этого скрыть нельзя, и им всё давно уже известно.

— Ольга, я об одном прошу вас, — сказал художник умоляюще и приложив руку к сердцу, — об одном: не мучьте меня! Больше мне от вас ничего не нужно!

— Но поклянитесь, что вы меня всё еще любите!

— Это мучительно! — процедил сквозь зубы художник и вскочил. Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума! Оставьте меня!

— Ну, убейте, убейте меня! — крикнула Ольга Ивановна. — Убейте!

Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол, потом с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы.

По уходе его, Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвою, потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой и как вечером сидит в театре и слушает Мазини. И тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами, рассматривали этюды и говорили себе в утешение, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке: тик-тик-тик... Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат, и слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки...

Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку и, бледный, замученный, в грязных сапогах, опустился на лавку и закрыл глаза.

— Я устал... — сказал он и задвигал бровями, силясь поднять веки.

Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его.

— Что такое? — спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза. — Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас.

Он отстранил ее руками и отошел, и ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со щами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила во щих свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, которые стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно:

— Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду.

— На чем? На палочке верхом?

— Сегодня четверг, значит, в половине десятого придет пароход.

— А? Да, да... Ну что ж, поезжай... — сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем. — Тебе здесь скучно и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай, а после двадцатого увидимся.

Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. Неужели это правда, — спрашивала она себя, — что скоро она будет писать в гостиной, а спать в спальне и обедать со скатертью? У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника.

— Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша, — говорила она. — Что останется, привезешь... Смотри же, без меня тут не ленись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.

В девять часов Рябовский, на прощанье, поцеловал ее для того, как она думала, чтобы не целовать на пароходе при художниках, и проводил на пристань.

Подошел скоро пароход и увез ее.

Приехала она домой через двое с половиной суток.

Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сюртука, в расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку; перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть всё от мужа и что на это хватит у нее уменья и силы, но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить, и она в одно мгновение решила рассказать ему всё, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо.

— Что? Что, мама? — спросил он нежно. — Соскучилась?

Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду.

— Ничего... — сказала она. — Это я так...

— Сядем, — сказал он, поднимая ее и усаживая за стол. — Вот так... Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка.

Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся.

VI

По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею и, чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелева, маленького стриженного человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывши труп с диагностикой «злокачественная анемия», нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, т. е. не лгать. После обеда Коростелев садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ому:

— Эх, брат! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.

Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал», а Дымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался.

В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит и что, слава богу, всё уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского; потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова, отчего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг; но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием и вообще, благодаря ее влиянию, он сильно изменился к лучшему. Влияние ее так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле, он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив (или, быть может, так показалось) и был ласков с ней.

Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставляла его веселым и восхищенным своею, в самом деле, великолепную картину; он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо:

— Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно.

Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя

себя униженной, она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета.

Если она не заставляла его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придет к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствием мужа, он говорил ей дерзости, она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны и что даже стриженный Коростелев понимает всё. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти.

— Куда вы идете? — спрашивала его Ольга Ивановна в передней, глядя на него с ненавистью.

Он, морщась и щуя глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель; от ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Коростелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо:

— Не плачь громко, мама... Зачем? Надо молчать об этом... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.

Не зная, как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в висках ломило, и думая, что еще можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у нее Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей... Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла, и случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали это.

Однажды она сказала Рябовскому про мужа:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил:

— Пожалуйста, господа, закусить.

По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь.

Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло.

— Я сейчас диссертацию защищал, — сказал он, садясь и поглаживая колена.

— Защитил? — спросила Ольга Ивановна.

— Ого! — засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу. Ого! — повторил он. — Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет.

Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей всё, и настоящее и будущее, и всё бы забыл, но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала.

Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел.

VII

Это был беспокойнейший день.

У Дымова сильно болела голова; он утром не пил чаю, не пошел в больницу и всё время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна, по обыкновению, в первом часу отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд *nature morte* и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только затем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику.

Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало, по-женски шурша платьем, и когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большой картиной, занавешенной вместе с мольбертом до пола черным коленкором. Сомневаться нельзя было, это пряталась женщина. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной! Рябовский, по-видимому, очень смущенный, как бы удивился ее приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь:

— А-а-а! Очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не

согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуньи, которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала.

— Я принесла вам этюд... — сказала она робко, тонким голоском, и губы ее задрожали, — nature morte.

— А-а-а... этюд?

Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату. Ольга Ивановна покорно шла за ним.

— Nature morte... первый сорт, — бормотал он, подбирая рифму, курорт... чёрт... порт...

Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значит, она ушла. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела сквозь слезы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уж не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

— Я устал... — томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. — Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд... Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, как я устал! Я сейчас скажу, чтоб дали чаю... А?

Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтоб не прощаться, не объясняться, а главное не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовский, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от живописи, и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. Всё кончено!

Она поехала к портнихе, потом к Барнаю, который только вчера приехал, от Барная — в нотный магазин, и всё время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо и как весною или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рябовский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет всё одно и то же и каждый день говорит одно и то же, что он застыл и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картину.

— Мама! — позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери. — Мама!

— Что тебе?

— Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери. — Вот что... Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь... мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии; его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур: «Осип охрип, а Архип осип». Теперь же она вскрикнула:

— Осип, это не может быть!

— Пошли! Мне нехорошо... — сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошел к дивану и лег. — Пошли! — глухо послышался его голос.

«Что же это такое? — подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса. — Ведь это опасно!»

Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню, и тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке, она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели, на которой он давно уже не спал, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII

Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна, с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением, вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черною бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правой рукой крутил левый ус.

— К нему, извините, я вас не пущу, — угрюмо сказал он Ольге Ивановне. — Заразиться можно. Да и не к чему вам, в сущности. Он всё равно в бреду.

— У него настоящий дифтерит? — спросила шёпотом Ольга Ивановна.

— Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему под суд отдавать надо, пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. — Знаете, отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо... Так, сдуру...

— Опасно? Очень? — спросила Ольга Ивановна.

— Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать, в сущности.

Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона, потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, отдежурив свое время, не уходил домой, а оставался и, как тень, бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло.

Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева: он знает всё и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная, настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься...

«Ах, как я страшно солгала! — думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским. — Будь оно всё проклято!..»

В четыре часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верною женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала: «Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами?» То ей казалось, что ее сию минуту убьет бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем было тупое унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь...

После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. «Кхи-пуа... — храпел он, — кхи-пуа».

И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одета — всё это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех, даже жутко сделалось.

Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил.

— У него дифтерит носовой полости, — сказал он вполголоса. — Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела.

— А вы пошлите за Шреком, — сказала Ольга Ивановна.

— Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос. Э, да что Шрек! В сущности, ничего Шрек. Он Шрек, я Коростелев — и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в неубранной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова.

«Nature morte, порт... — думала она, опять впадая в забытье, спорт... курорт... А как Шрек? Шрек, грек, врек... крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси... избави. Шрек, грек...»

И опять железо... Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки; приходили доктора... Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила:

— Барыня, постель прикажете постлать?

И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.

— Который час? — спросила она.

— Около трех.

— Ну что?

— Да что! Я пришел сказать: кончается...

Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься.

— Кончается... — повторил он тонким голоском и опять всхлипнул. Умирает, потому что пожертвовал собой... Какая потеря для науки! — сказал он с горечью. — Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек! Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем! — продолжал Коростелев, ломая руки. — Господи боже мой, это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал! Ай-ай, боже мой!

Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.

— А какая нравственная сила! — продолжал он, всё больше и больше озлобляясь на кого-то. — Добрая, чистая, любящая душа — не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти... подлые тряпки!

Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и серdito рванул, как будто она была виновата.

— И сам себя не щадил, и его не щадили. Э, да что, в сущности!

— Да, редкий человек! — сказал кто-то басом в гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним, от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: «Прозевала! прозевала!» Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиную мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых; и только по лбу, по черным бровям да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло.

— Дымов! — позвала она громко. — Дымов!

Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не всё еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх...

— Дымов! — звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется. — Дымов, Дымов же!

А в гостиной Коростелев говорил горничной:

— Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богаделки. Они и обмоют тело и уберут — всё сделают, что нужно.

Поцелуй

20-го мая, в 8 часов вечера, все шесть батарей N-ой резервной артиллерийской бригады, направлявшейся в лагерь, остановились на ночевку в селе Местечках. В самый разгар суматохи, когда одни офицеры хлопотали около пушек, а другие, съехавшись на площади около церковной ограды, выслушивали квартирьеров, из-за церкви показался верховой в штатском платье и на странной лошади. Лошадь буланая и маленькая, с красивой шеей и с коротким хвостом, шла не прямо, а как-то боком и выделявала ногами маленькие, плясовые движения, как будто ее били хлыстом по ногам. Подъехав к офицерам, верховой приподнял шляпу и сказал:

— Его превосходительство генерал-лейтенант фон Раббек, здешний помещик, приглашает господ офицеров пожаловать к нему сию минуту на чай...

Лошадь поклонилась, затанцевала и попятилась боком назад; верховой еще раз приподнял шляпу и через мгновение вместе со своею странною лошадью исчез за церковью.

— Чёрт знает что такое! — ворчали некоторые офицеры, расходясь по квартирам. — Спать хочется, а тут этот фон Раббек со своим чаем! Знаем, какой тут чай!

Офицерам всех шести батарей живо припомнился прошлогодний случай, когда во время маневров они, и с ними офицеры одного казачьего полка, таким же вот образом были приглашены на чай одним помещиком-графом, отставным военным; гостеприимный и радушный граф обласкал их, накормил, напоил и не пустил в деревню на квартиры, а оставил ночевать у себя. Всё это, конечно, хорошо, лучшего и не нужно, но беда в том, что отставной военный обрадовался молодежи не в меру. Он до самой зари рассказывал офицерам эпизоды из своего хорошего прошлого, водил их по комнатам, показывал дорогие картины, старые гравюры, редкое оружие, читал подлинные письма высокопоставленных людей, а измученные, утомленные офицеры слушали, глядели и, тоскуя по постелям, осторожно зевали в рукава; когда наконец хозяин отпустил

их, спать было уже поздно.

Не таков ли и этот фон Раббек? Таков или не таков, но делать было нечего. Офицеры приделались, почистились и гурьбою пошли искать помещичий дом. На площади, около церкви, им сказали, что к господам можно пройти низом — за церковью спуститься к реке и идти берегом до самого сада, а там аллеи доведут куда нужно, или же верхом — прямо от церкви по дороге, которая в полуверсте от деревни упирается в господские амбары. Офицеры решили идти верхом.

— Какой же это фон Раббек? — рассуждали они дорогой. — Не тот ли, что под Плевной командовал N-й кавалерийской дивизией?

— Нет, тот не фон Раббек, а просто Раббе, и без фон.

— А какая хорошая погода!

У первого господского амбара дорога раздваивалась: одна ветвь шла прямо и исчезала в вечерней мгле, другая — вела вправо к господскому дому. Офицеры повернули вправо и стали говорить тише... По обе стороны дороги тянулись каменные амбары с красными крышами, тяжелые и суровые, очень похожие на казармы уездного города. Впереди светились окна господского дома.

— Господа, хорошая примета! — сказал кто-то из офицеров. — Наш сеттер идет впереди всех; значит, чует, что будет добыча!..

Шедший впереди всех поручик Лобытко, высокий и плотный, но совсем безусый (ему было более 25 лет, но на его круглом, сытом лице почему-то еще не показывалась растительность), славившийся в бригаде своим чутьем и умением угадывать на расстоянии присутствие женщин, обернулся и сказал:

— Да, здесь женщины должны быть. Это я инстинктом чувствую.

У порога дома офицеров встретил сам фон Раббек, благообразный старик лет шестидесяти, одетый в штатское платье. Пожимая гостям руки, он сказал, что он очень рад и счастлив, но убедительно, ради бога, просит господ офицеров извинить его за то, что он не пригласил их к себе ночевать; к нему приехали две сестры с детьми, братья и соседи, так что у него не осталось ни одной свободной комнаты.

Генерал пожимал всем руки, просил извинения и улыбался, но по лицу его видно было, что он был далеко не так рад гостям, как прошлогодний граф, и что пригласил он офицеров только потому, что этого, по его мнению, требовало приличие. И сами офицеры, идя вверх по мягкой лестнице и слушая его, чувствовали, что они приглашены в этот дом только потому, что было бы неловко не пригласить их, и при виде лакеев, которые спешили зажигать огни внизу у входа и наверху в передней, им стало казаться, что они внесли с собою в этот дом беспокойство и тревогу. Там, где, вероятно, ради какого-нибудь семейного торжества или события съехались две сестры с детьми, братья и соседи, может ли понравиться присутствие девятнадцати незнакомых офицеров?

Наверху, у входа в залу, гости были встречены высокой и стройной старухой с длинным чернобровым лицом, очень похожей на императрицу Евгению. Приветливо и величественно улыбаясь, она говорила, что рада и счастлива видеть у себя гостей, и извинялась, что она и муж лишены на этот раз возможности пригласить гг. офицеров к себе ночевать. По ее красивой, величественной улыбке, которая мгновенно исчезала с лица всякий раз, когда она отворачивалась за чем-нибудь от гостей, видно было, что на своем веку она видела много гг. офицеров, что ей теперь не до них, а если она пригласила их к себе в дом и извиняется, то только потому, что этого требуют ее воспитание и положение в свете.

В большой столовой, куда вошли офицеры, на одном краю длинного стола сидело за чаем с десяток мужчин и дам, пожилых и молодых. За их стульями, окутанная легким сигарным дымом, темнела группа мужчин; среди нее стоял какой-то худощавый молодой человек с рыжими бачками и, картавя, о чем-то громко говорил по-английски. Из-за группы, сквозь дверь, видна была светлая комната с голубою мебелью.

— Господа, вас так много, что представлять нет никакой возможности! — сказал громко генерал, стараясь казаться очень веселым. — Знакомьтесь, господа, сами попросту!

Офицеры — одни с очень серьезными и даже строгими лицами, другие натянуто улыбаясь и все вместе чувствуя себя очень неловко, кое-как раскланялись и сели за чай.

Больше всех чувствовал себя неловко штабс-капитан Рябович, маленький, сутуловатый офицер, в очках и с бакенами, как у рыси. В то время как одни из его товарищей делали серьезные лица, а другие натянуто улыбались, его лицо, рысьи бакены и очки как бы говорили: «Я самый робкий, самый скромный и самый бесцветный офицер во всей бригаде!» На первых порах, входя в столовую и потом сидя за чаем, он никак не мог остановить своего внимания на каком-нибудь одном лице или предмете. Лица, платья, граненые графинчики с коньяком, пар от стаканов, лепные карнизы — всё это сливалось в одно общее, громадное впечатление, вселявшее в Рябовича тревогу и желание спрятать свою голову. Подобно чтецу, впервые выступающему перед публикой, он видел всё, что было у него перед глазами, но видимое как-то плохо понималось (у физиологов такое состояние, когда субъект видит, но не понимает, называется «психической слепотой»). Немного же погодя, освоившись, Рябович прозрел и стал наблюдать. Ему, как человеку робкому и необщественному, прежде всего бросилось в глаза то, чего у него никогда не было, а именно —

необыкновенная храбрость новых знакомых. Фон Раббек, его жена, две пожилые дамы, какая-то барышня в сиреневом платье и молодой человек с рыжими бачками, оказавшийся младшим сыном Раббека, очень хитро, точно у них ранее была репетиция, разместились среди офицеров и тотчас же подняли горячий спор, в который не могли не вмешаться гости. Сиреневая барышня стала горячо доказывать, что артиллеристам живется гораздо легче, чем кавалерии и пехоте, а Раббек и пожилые дамы утверждали противное. Начался перекрестный разговор. Рябович глядел на сиреневую барышню, которая очень горячо спорила о том, что было для нее чуждо и вовсе не интересно, и следил, как на ее лице появлялись и исчезали неискренние улыбки.

Фон Раббек и его семья искусно втягивали офицеров в спор, а сами между тем зорко следили за их стаканами и ртами, все ли они пьют, у всех ли сладко и отчего такой-то не ест бисквитов или не пьет коньяку. И чем больше Рябович глядел и слушал, тем больше нравилась ему эта неискренняя, но прекрасно дисциплинированная семья.

После чая офицеры пошли в зал. Чутье не обмануло поручика Лобытко: в зале было много барышень и молодых дам. Сеттер-поручик уже стоял около одной очень молоденькой блондинки в черном платье и, ухарски изогнувшись, точно опираясь на невидимую саблю, улыбался и кокетливо играл плечами. Он говорил, вероятно, какой-нибудь очень неинтересный вздор, потому что блондинка снисходительно глядела на его сытое лицо и равнодушно спрашивала: «Неужели?» И по этому бесстрастному «неужели» сеттер, если бы был умен, мог бы заключить, что ему едва ли крикнут «пиль!».

Загремел рояль; грустный вальс из залы полетел в настесь открытые окна, и все почему-то вспомнили, что за окнами теперь весна, майский вечер. Все почувствовали, что в воздухе пахнет молодой листвой тополя, розами и сиренью. Рябович, в котором под влиянием музыки заговорил выпитый коньяк, покосился на окно, улыбнулся и стал следить за движениями женщин, и ему уже казалось, что запах роз, тополя и сирени идет не из сада, а от женских лиц и платьев.

Сын Раббека пригласил какую-то тощую девицу и сделал с нею два тура. Лобытко, скользя по паркету, подлетел к сиреневой барышне и понесся с нею по зале. Танцы начались... Рябович стоял около двери среди нетанцующих и наблюдал. Во всю свою жизнь он ни разу не танцевал, и ни разу в жизни ему не приходилось обнимать талию порядочной женщины. Ему ужасно нравилось, когда человек у всех на глазах брал незнакомую девушку за талию и подставлял ей для руки свое плечо, но вообразить себя в положении этого человека он никак не мог. Было время, когда он завидовал храбрости и прыти своих товарищей и болел душою; сознание, что он робок, сутуловат и бесцветен, что у него длинная талия и рысьи бакены, глубоко оскорбляло его, но с годами это сознание, стало привычным, и теперь он, глядя на танцующих или громко говорящих, уже не завидовал, а только грустно умилялся.

Когда началась кадрили, молодой фон Раббек подошел к нетанцующим и пригласил двух офицеров сыграть на бильярде. Офицеры согласились и пошли с ним из залы. Рябович от нечего делать, желая принять хоть какое-нибудь участие в общем движении, поплелся за ними. Из залы они прошли в гостиную, потом в узкий стеклянный коридор, отсюда в комнату, где при появлении их быстро вскочили с диванов три сонные лакейские фигуры. Наконец, пройдя целый ряд комнат, молодой Раббек и офицеры вошли в небольшую комнату, где стоял бильярд. Началась игра.

Рябович, никогда не игравший ни во что, кроме карт, стоял возле бильярда и равнодушно глядел на игроков, а они, в расстегнутых сюртуках, с киями в руках, шагали, каламбурили и выкрикивали непонятные слова. Игроки не замечали его, и только изредка кто-нибудь из них, толкнув его локтем или зацепив нечаянно кием, оборачивался и говорил: «Pardon!» Первая партия еще не кончилась, а уж он соскучился, и ему стало казаться, что он лишний и мешает... Его потянуло обратно в залу, и он вышел.

На обратном пути ему пришлось пережить маленькое приключение. На полдороге он заметил, что идет не туда, куда нужно. Он отлично помнил, что на пути ему должны встретиться три сонные лакейские фигуры, но прошел он пять-шесть комнат, эти фигуры точно сквозь землю провалились. Заметив свою ошибку, он прошел немного назад, взял вправо и очутился в полутемном кабинете, какого не видал, когда шел в бильярдную; постояв здесь полминуты, он нерешительно отворил первую попавшуюся ему на глаза дверь и вошел в совершенно темную комнату. Прямо видна была дверная щель, в которую бил яркий свет; из-за двери доносились глухие звуки грустной мазурки. Тут так же, как и в зале, окна были открыты настесь и пахло тополем, сиренью и розами...

Рябович остановился в раздумье... В это время неожиданно для него послышались торопливые шаги и шуршанье платья, женский задыхающийся голос прошептал: «наконец-то!» и две мягкие, пахучие, несомненно женские руки охватили его шею; к его щеке прижалась теплая щека и одновременно раздался звук поцелуя. Но тотчас же целовавшая слегка вскрикнула и, как показалось Рябовичу, с отвращением отскочила от него. Он тоже едва не вскрикнул и бросился к яркой дверной щели...

Когда он вернулся в залу, сердце его билось и руки дрожали так заметно, что он поторопился спрятать их за спину. На первых порах его мучили стыд и страх, что весь зал знает о том, что его сейчас обнимала и